

Наша жизнь от земли
отлетает, на землю падает!..
Неутомимость любви —
здесь... Выше, выше!
Выше неутоленности —
неутомимость...
Неутоленная любовь — выше
утоленной?
Отчего же так мил человек,
так драгоценен...
что в мгновенном затмении
кажется драгоценней всего...

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

НЕИСЧЕРПАЕМОЕ

МОСКВА „ОТЕЧЕСТВО“ 1992 ББК 84Р7-4 Ц27

Дизайн обложки А. Логеина
Составление и предисловие
Станислава Айдиняна

Цветаева А.И.

Ц27 Неисчерпаемое. — М.: Отечество, 1992. — 320 с., ил.

“Неисчерпаемое” — новая книга-эссе русской писательницы А. И. Цветаевой. Она открывает нам мир талантливого сердца, широкой души, христианской любви и добра. Ее произведения написаны “языком сердца”.

А. И. Цветаева в импрессионистской манере, с присущими ей блеском и наблюдательностью рассказывает о людях, среди которых жили сестры Марина и Анастасия Цветаевы (П. Антокольский, Т. Чурилин, И. Рукавишников, С. Парнок, М. Волошин, П. Романов и др.). С некоторыми, может быть, читатели познакомятся впервые.

В книгу вошел рассказ “Маринин дом”, где Анастасия Ивановна вспоминает о счастливых годах жизни сестры, о которых написано мало. Почти неизвестны мистические рассказы. Книга интересна и примечаниями, составленными при участии автора, иллюстрирована фотографиями из ее архива.

Ц 4702010201-007
Д88(03)-92
Без объявл.
ISBN 5-7072-0008-8

ПРЕДИСЛОВИЕ

Судьба Анастасии Ивановны Цветаевой от самых истоков чудесна. Младшая Цветаева выросла рядом со старшей — Мариной.

Детство сестер насыщено — мягкой провинциальностью летней Тарусы, городка на Оке, и таинственностью, уютом старой Москвы.

От матери, Марии Александровны, сестры восприняли мечтательность, гордую волю — “стать”. От отца, Ивана Владимировича, — огромную трудоспособность, упорство, демократичность и начала религиозности. Последнее качество особенно развилось с годами у младшей Цветаевой.

Духовное начало — определяющая черта биографий и творчества обеих сестер.

У Марины Цветаевой струи духовного “потока” омывают душу индивидуальности, преобразуются в художественный вымысел.

У Анастасии Ивановны сила индивидуальности устремлена в жизнь «по истине»; корни ее творчества прочно вросли в реальность. Она считает, что реальность богаче вымысла, и произведениями своими подтверждает столь парадоксальное мнение. Ведь от известнейших ее “Воспоминаний”, от “Сказа о звонаре московском”, от романа “Апог” — не оторвешься, хотя все эти произведения автобиографические.

В мемуарном жанре многие привыкли замечать больше хроникальной документальности, чем художественности. Разгадка феномена противоположного раскрывается в собственных Анастасии Ивановны словах, как-то оброненных в беседе. Она сказала: “Я пишу во весь душевный мах”. И истинно — огромная, без преувеличения, эмоциональность Цветаевых, глубокий интеллект, европейская образованность, знание мировой культуры вкупе с наблюдательностью и духовными качествами дают человеческую и писательскую талантливость.

Обе сестры — личности большой воли, оттого в них — резкая энергичность жеста, резкая энергичность пера, у каждой своеобразного, заостренного в свою тему.

Мне всегда было интересно, как воспринимают Анастасию Ивановну люди, знавшие Марину Ивановну. В этой связи вспоминается встреча Анастасии Ивановны с вернувшейся из эмиграции Ириной Одоевцевой, которая, хотя и не была близкой подругой М. Цветаевой, тем не менее встречалась с ней в Париже, хорошо ее помнила.

Встреча интересна и тем, что обе писательницы перешагнули 90-летний возраст, обе сохранили при этом полную ясность ума, обе продолжали выпускать книги.

В Переделкине, в доме творчества, познакомившись с Одоевцевой, Анастасия Ивановна, со свойственным ей блеском, рассказала об одном эпизоде детства. Вспомнила, как Яков Горбов, муж Одоевцевой, в незапамятно-далекое время учился в одном с сестрами танцклассе и остался в памяти как “мальчик-сфинкс”, по-взрослому серьезный и тем загадочный...

Ирина Владимировна была покорена яркостью, интенсивностью рассказа и самой личностью Анастасии Ивановны, растрогана памятью о неизвестных ей ранних годах близкого человека. В следующий мой приезд в Переделкино я зашел к Одоевцевой побеседовать, она сказала:

— Я думала, ну — сестра Марины... А она — замечательная, замечательная! (При этом присутствовала приятельница Ирины Владимировны, поэтесса Дина Терещенко.) Одоевцева принадлежала к изысканному литературному кругу, близко знала Н. Гумилева, Д. Мережковского, К. Бальмонта, И. Бунина, Г. Иванова, Жоржа Батая... Ей было с кем сравнивать.

Что до устного рассказа о Я. Горбове, тоже ставшем, уже в эмиграции, писателем, то Анастасия Ивановна в тот же вечер написала о нем очерк и посвятила Одоевцевой. Та обещала ввести этот очерк в новое издание своей книги «На берегах Сены» и сдержала слово...

О творчестве Марины Цветаевой написаны тома. Об Анастасии Ивановне тоже много писали в периодике, но всех статей, томов стоит письмо к ней ее друга Бориса Пастернака в ответ на посланную ему

машинопись первых глав “Воспоминаний”. Вот фрагмент из этого письма, не так давно опубликованного: “Только что получил и прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я вовсе не ждал дальше такой сжатости и силы”.

“Воспоминания”, о которых столь восторженно отзывался Пастернак, в сущности возродили имя А. И. Цветаевой в литературе. Первое же издание “Воспоминаний” (предваренное небольшим фрагментом, появившимся в “Новом мире”) вышло в “Советском писателе” в 1971 году. Оно сразу окружило Анастасию Ивановну ореолом известности, не стучавшейся в ее двери с 1916 года, когда к ней приходили читательницы второй ее книги — “Дым, дым, дым”, приходили за советом “Как жить?” Такова уж, традиционно, роль русского писателя — быть в глазах публики учителем жизни, если не пророком...

Анастасия Ивановна не пророк, хотя в той же книге 1916 года есть пророческие строки: “Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим — слов нет — горем моей жизни... Больше смерти всех, всех, кого я люблю”. (*Это сбывшееся пророчество Анастасия Ивановна повторит и в Зимнем старческом Коктебеле*, и в очерке “О Марине, сестре моей”).

При переиздании “Дыма” (в сборнике “Только час”, М., “Современник”, 1988) она сделала к сбывшемуся пророчеству примечание: “Написано за 25-27 лет до смерти Марины. Точно я знала, что она умрет раньше меня”.

Что ж, Memento mori! помни о смерти, о смерти ближних и еще более — о неизбежно грядущей — своей...

Тогда же, в 1988 году, у “Дыма...” появилось окончательное завершение — послесловие, в нем — мудрый, будто с орлиного полета — духовный анализ существа человеческой жизни и ее психологической эволюции:

“Одиночество детства! Оглушительная новизна окружающего! Не с чем сравнить — и потому невозможность оценки... Ежемгновенное восприятие неизведанного — и у кого просить помощи, когда ты не можешь выразить своих затруднений от неумения их осознать. Человек рождается в лес без путей и без признаков познаваемости. Бессловесный, он задыхается от невыразимости с ним случившегося.

С первых дней жизни он оказывается заблудившимся в лесу неназываемых чувств. С утра и до ночи захлебывается ежеминутным восприятием ребенок, кроме крика — нет у него средств самозащиты, ибо мать, такая большая, так всем овладевшая, не имеет путей к его отчаянной молчаливости — первых дней, недель, месяцев. А когда приходят слова — это слова не те, они мало чему помогают, они не выводят из леса, они еще усложняют общение, потому что выражают конкретное и случайное, а душа полна непонятого и огромного, и ребенок только и делает, что отгребает мешающее, не соглашается на предлагаемое упрощение, борется с убожеством названного, “слыша” мир, а не вещь плюс вещь...

И за годом идет год, идут годы. Маленький человек научается привыкать к своему одиночеству, примиряется с тем, что не понят, устает от плача и крика и находит уют и веселье в трудном своем дне, отвыкает от требовательности, научается жить как все. И на этом пути привыкания перед ним в тумане брезжится отрочество, за ним тот рассвет, который называется — молодость.

Трагическая пора — молодость!

Весь мир звучит ей таким многоголосьем, с которым не сравнится знаменитейший в мире хор. И все чувства ее отзываются на разноголосые зовы, отдавая все силы свои — неизвестному, только на силу зова!

Молодость отдана чувствам. И они мучительны. Ибо им не сопутствует понимание. Понимание приходит позднее, и когда оно настает — начинается освобождение от заколдованности чувствования; когда пробуждается анализ вокруг сущего, а затем благодетельность самоанализа — это приблизилась блаженная пора зрелости, овладения миром! Пора, когда ты не слушаешь призывы того, что зовется жизнью, не обольщаешься, не ошибаешься, когда тебе принадлежит все, — оттого, что тебе ничего не нужно, когда ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым..." (с. 582-583).

Равный по “сжатости и силе” текст, действительно, в литературе нашей при всем ее богатстве встретить трудно.

Так все же откуда основы духовного потенциала, который привлекает к книгам Цветаевых, почему чтение, впадение в их ритм — “сплошной запой”? Почему — не оторвешься, почему “закружит”, увлечет в серебряную эпоху, по которой сегодня тоскует Россия?

Дело, по-моему, в самом, с детства воспринятом, отношении к жизни. Из поколения в поколение передавалась способность человека сострадать, молиться, то есть признавать над собой духовное главенство Вселенского Сострадательного Верховного Существа — Бога, у него просить защиты, перед ним преклонять колени. Даже когда уходила религиозность, вера в Высшую Сущность над миром подсознательно оставалась.

Вот, например, эпизод из романа Анастасии Ивановны “Amor”, эпизод опять-таки автобиографический, когда героиня идет на коленях к церкви — вымаливает своему первому мужу (к тому времени они уже расстались!) выздоровление; вымаливает ему жизнь. И это во время ее неверия, в годы отступления от христианства, к которому она в свои 27 лет убежденно и окончательно вернулась... Только вера помогла перенести страшные провалы — в аресты, в тюрьмы, в лагеря, в ссылку.

От дня второго ареста в 1937-м через Дальний Восток и Сибирь — к реабилитации в 1959 году! Это, фактически, еще одна жизнь. Жизнь-испытание, жизнь-подвиг, жизнь-искупление.

Годы лишений, годы несвободы, нужды — трагические “доминант-аккорды” в судьбе писательницы, и, пока Симфония длилась, звучал суровый, безжалостный мотив...

Сколько ее произведений-рукописей пропало в 1937-м! Анастасия Ивановна мне рассказывала о большом числе сказок, новелл, которые она начала писать еще в отрочестве; о том, что было несколько совсем готовых книг. Романы, повести. Документальная проза. Были и новаторские вещи — с элементом фантастики, как незаконченный роман “Музей”. Пухлая тетрадь с массой исписанных, вложенных в нее, листков, канула в неизвестность, как и весь ценнейший творческий архив.

Судьбу архива можно представить по ответу, который дал чиновник МГБ Анастасии Ивановне, когда она после реабилитации пыталась отыскать документальную книгу о М. Горьком, тоже “арестованную” бесследно. Чиновник сказал:

— Книга о Горьком? А зачем она?! Ведь Леонов о нем уже все написал...

Несмотря на длившиеся “тяжелолетия”, Марина Цветаева на Западе печаталась. Выходили ее стихи, проза. В Советской России Анастасии Цветаевой, идеалисту, человеку верующему, не скрывающему своих убеждений, печататься было нельзя. Да и темы она выбирала “неактуальные”. Например, написала книгу (по типу книги А. Федорченко — народ о войне), в которой собрала высказывания народа о голоде. Назвала “Голодная эпопея”. В предисловии к “Эпопее” были такие слова: “Сегодня, когда хлеб победил бесхлебье, мы можем вспомнить, что народ говорил в годы трудностей”. Закончила книгу и в 1927 году повезла к Горькому в Сорренто.

— Опоздали Вы с этой книгой, — сказал Горький.

Видимо, знал, что разрабатывается уже система хлебных карточек, что надвигается новый голод?... И точно, “Эпопея” была сначала принята в “Красную новь”, в журнале даже выдали аванс, на который Анастасия Ивановна с сыном поехала отдохнуть на юг.

“Я выехала в Сочи с Андреем, — рассказывала она, — потом Борис Пастернак прислал мне денег на обратный путь — из собственного кармана, сообщил, что моя «Голодная эпопея» в “Красной Нови” не пойдет...”

“Красная Новь” предполагала печатать и другую книгу А. И. Цветаевой, роман “SOS, или Созвездие Скорпиона”. (Интересно, что прототипом главного героя был реальный человек, астроном Михаил Евгеньевич Набоков, двоюродный брат Владимира Набокова-Сирина, известного писателя.) Роман было решено печатать, но при условии, что автор должна “выпрямить” судьбы героев под “оптимистическую” линию.

По этому поводу сегодня Анастасия Ивановна говорит:

— Это то же самое, что потребовать у Гамсуна сделать благополучным конец его «Виктории» или «Пана», чтобы он снял трагизм! Нелепость!

Анастасия Ивановна грустно пожала руку главному редактору, Николаю Ивановичу Замошкину, который ее столь любезно принимал, восхищался романом, уговаривал... И больше не пришла в редакцию. Такие компромиссы — не для Цветаевых! Ценой молчания доставалась тогда писателям творческая свобода. А потом и молчание сочли опасным — это когда Анастасия Ивановна годы подряд отказывалась от «творческих встреч», которые для члена Союза писателей считались обязательными. Долго за нее заступался Пастернак, говорил:

— Если ее исключите, то и меня исключайте!...

Так, ко времени своего ареста она тихо выбыла из Союза, в который по рекомендации друзей — Н. Бердяева и М. Гершензона — была принята в 1921 году...

Были тогда, в 20–30-х годах, некоторые «подробности», которые нам теперь трудно представить. Например, к Анастасии Ивановне заходил один писатель. Приходил редко, выпить чаю. Сидел и предупреждал:

— Вы должны понимать, что когда будет решаться социальный состав жителей столицы, Вы, как идеалист, не будете в Москве жить.

Предупреждал! Считал естественным, что если человек идеологически «не подходит», то должен куда-нибудь исчезнуть. Такие были времена и нравы.

Высланы из Москвы самые близкие друзья — те, кто выделялся, «смел свое суждение иметь».

Политикой ни Анастасия Ивановна, ни люди ее круга категорически не занимались. Они признавали только духовную работу. Например, Б. М. Зубакин, ближайший друг Анастасии Ивановны, скульптор, художник, поэт, читал в своем — очень узком — кругу лекции по «этическому герметизму», тонко-метафизические, «отвлеченные». Их записывала Анастасия Ивановна семь лет. Этот ее друг, личность яркости и качеств необычайных, знаток искусств и наук, религий, обрядов, был арестован, сослан в Архангельск, позднее в лагере расстрелян...

Гибли люди, гибли рукописи, гибли книги.

Уже вернувшись после, как она это называет, «приключений», Анастасия Ивановна стала восстанавливать некоторые свои труды по памяти. Расширила и включила в «Воспоминания» главу о Горьком, взяв ее из единственной своей довоенной публикации в «Новом мире» (1930); восстановила полностью и по-новому «Сказ о звонаре московском», повесть о звонаре-яснослышащем, Котике Сараджеве. Позже написано близкое к первым дневниковым книгам повествование «Моя Сибирь». И если первые книги — богоборческие, отмечены обаянием, юной, но ищущей философской мысли, то в «Моей Сибири» — сама простота, тонкое чувство Природы, человечность, сердечная теплота... И — апофеозом простоты в творчестве младшей Цветаевой повесть «Старость и молодость» в одной книге с «Моей Сибирью» (1988). Кроме того, она выправила переданный на папиросных тонких листочках из лагеря на волю роман «Амор». Над ним была долгая работа. И все это, когда ей за 70, за 80, за 90!

Собственно, к 70-м годам века А. И. Цветаева вошла полноправно (а не как сестра классика) в отечественную литературу и с тех пор остается мастером автобиографической прозы. За последнее двадцатилетие ею опубликовано очерков, рассказов, рецензий, книг больше, чем за все предыдущее время.

Книга, которая лежит перед Вами, возникла из рассыпанных по газетам и журналам россыпей памяти А. И. Цветаевой.

Очерк первый, «Детское Рождество», мог бы полностью войти в книгу «Воспоминаний», он составлен из фрагментов, которые по условиям времени в печать не могли попасть. Когда я читаю «Детское рождество», мне вспоминаются слова одного из величайших французских писателей XX столетия — Алена Фурнье, сказанные о главном герое его знаменитого в 40-х годах романа «Большой Мольн»: «Герой моей книги — человек, у которого было слишком хорошее детство. Всю жизнь он несет его с собой».

То же можно сказать о “лирических героинях” сестер Цветаевых, которым с детства был свойственен ностальгически-грустный взгляд в прошлое, как и у Мольна, и так же, как у него, детство их претворялось, обращалось в почти фантастическую сказочность — от полноты чувств, от их пламенности. У Анастасии Ивановны, конечно, сказочность более реальная, у Марины — больше вымысла.

Анастасия Ивановна — “прозаический поэт” детства. Мало кто, как она, может и умеет войти в психологию ребенка, его глазами взглянуть на мир и тут же вдруг отстраниться, посмотреть на давние образы и чувства со стороны...

Я не случайно упомянул о Фурнье, французском писателе. Именно во Франции существует огромная “воспоминательная” литература о детстве, целая вереница имен — от Стендаля и Пруста до Марселя Паньоля и Робэра Андре.

Во Франции же писался юношеский “Дневник” Марии Башкирцевой, который некогда вдохновлял сестер Цветаевых. “Блестящей памяти Марии Башкирцевой” посвящен первый сборник стихов М. Цветаевой.

И еще — “Детское Рождество” заключается описанием образа Христа, иконы, которая потом столь явственно вспоминалась Анастасии Ивановне, что судьба послала ей такую же, точь в точь как в детстве...

Об образе том подробнее в книге ее “О чудесах и чудесном” (1991) — “Благословляющая рука, волосы по плечам, в тебя глядящие синие глаза! Алая и голубая одежда, какой нигде не видишь”. Умерла старушка, от нее остались иконы, которые многие тогда боялись хранить у себя, Анастасия Ивановна не побоялась принять иконы, и ей неожиданно принесли то самое, столь дорогое ей с детства, священное изображение.

За “Детским Рождеством” следом — “История моей двойки”. Это грациозная новелла, овеянная задором ранней юности. В ней — озорной случай: гимназистка не знает алгебры и свое отчаяние претворяет в выпад — не против учителя, а против собственного незнания, против собственного бессилия. Бессилия Цветаевы не выносят. Это не их “стиль”. Их “девиз”, напротив, сила во всем, до конца.

Посвящение ее учителю математики Голубеву Анастасия Ивановна помещает своевольно в конце текста. В посвящениях — неумолима, она “вплавляет” их в текст, чтобы редакторы, которые не любят посвящений, не могли без ее согласия снять.

“Аделаида и Евгения Герцык” — мемуарный очерк о двух сестрах, больше о старшей, поэтессе Аделаиде Каземировне Герцык-Жуковской (1874–1925) и о младшей, Евгении Каземировне (1878–1944).

Крымские жительницы, Герцык были, как и Цветаевы, близкими друзьями М. Волошина. Трудно перечислить, сколько раз их, сестер, имена упомянуты у М. Цветаевой. Скажем только, что у Анастасии Ивановны облики эти даны в несколько ином, более серьезном ключе, чем ностальгически теплые, чуть ироничные образы тех же сестер у Марины Ивановны в ее “Живое о живом”.

“Чтение стихов Софии Парнок” тоже, как и “Детское рождество”, переработанный фрагмент, не введенный в “Воспоминания”. София Парнок (1885–1933) — заметное имя на “серебряном” небосводе. О ней в Волошинских “Лицах творчества” сказано: “Как бы глубоко сознательный, успокоенный в себе и неожиданно переходящий от шепота до крика страсти голос, о котором хочется сказать словами Т. Готье: ”Мне нравится это слияние”.

Софии Парнок М. Цветаева посвятила цикл увлеченных стихов “Подруга”.

Дальше — Тихон Чурилин. Марина Цветаева в очерке “Наталья Гончарова ” говорит о нем как о гениальном поэте, о его единственности она пишет и Б. Л. Пастернаку (14 февраля 1923 года).

К сожалению, в наше время, когда “воскресают” имена, Чурилин все еще в забвении, и очерк Анастасии Ивановны восполняет несправедливый литературно-исторический пробел. Ведь еще Н. Гумилев в своих “Письмах о поэзии» сказал о Чурилине: “Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны ”.

Удивительно, что в расширительном плане статьи “Голоса поэтов”, кроме сестер Герцык, С. Парнок и М. Цветаевой Максимилиан Волошин отметил и Т. Чурилина, и М. Шагинян, о которой речь впереди. Так

что можно поддасться соблазну сказать, что в какой-то мере А. И. Цветаева частично выполнила желание ее друга Макса: написала о тех, о ком он не успел...

Далее — воспоминания о П. Антокольском, близком друге М. Цветаевой. В облике, ею воссозданном, звучит поэтическое и жизненное горение, мощь, с которой Антокольский читал свои и Маринины стихи... Скажем еще, что П. Антокольский написал большую, исключительно положительную рецензию о “Воспоминаниях” А. И. Цветаевой, что вышла в “Новом мире” (1972, № 6).

На “Воспоминаниях о писателе И. С. Рукавишникове» (1887-1930) “волошинское” наваждение продолжается, оно вновь кладет светлую тень на страницу — ведь о Рукавишникове тоже упоминает Волошин... Анастасия Ивановна повернута к Рукавишникову ее излюбленной темой — его книгой о детстве, а впоследствии — дружбой, которая могла стать чем-то большим, если бы не свободолюбие писательницы, заставляющее ее и в девяносто семь лет жить одной, самостоятельно вести хозяйство.

В очерке о И. Рукавишникове мелькают, как бы невзначай, трагические подробности — например, о том, что в годы нужды не в силах обеспечить сыну полноценное питание она с одиннадцати до четырнадцати лет (с 1923 по 1926 годы) определила его в приют, где, как она мне рассказывала, “детей недурно кормили, жили они у Девичьего поля, где был большой сад”. Раз в неделю возила в приют усиленное питание, зарабатывала тем, что писала по ночам специальным, “библиотечным” почерком карточки для библиотеки музея, основанного ее отцом. Анастасия Ивановна говорит, что вовремя взяла сына из приюта, пока он не попал к “переросткам” и не испытал дурных влияний. Как не вспомнить в этой связи судьбу дочерей М. Цветаевой — Ариадны и Ирины. Обе они содержались в самом начале двадцатых годов в приюте. Ариадну мать забрала и из последних сил выкормила, Ирина погибла. У Анастасии Ивановны в 1919 году в Крыму умер от дизентерии второй сын Алсша от ее второго брака. Но в 1923-1926 годах уже, конечно, не было столь беспощадного голода.

В бывшем имении писателя А. И. Эртеля Анастасия Ивановна познакомилась с Пантелеймоном Романовым, о котором она пишет как о писателе “милостью Божьей”. Но в его прозе она находит то, что Н. Гумилев находил в стихах Рукавишникова — то есть талантливость, индивидуальность при недостатке вкуса.

Анастасия Ивановна (сенсационная для истории литературы подробность!) становится добровольным редактором И. Романова. Его фундаментальный роман “Русь” был ими совместно отредактирован заново и обрел небывалую дотоле смысловую и стилистическую цельность.

Очерки о Рукавишникове и Романове написаны один за другим. О них были созданы, правда, очень краткие, зарисовки в главке “Несколько слов о друзьях-писателях”, опубликованной в журнале “Даугава” (1986, № 11). В “Даугаве” в 1984 году (№ 9), то есть несколько ранее, вышли еще два ее очерка, посвященные Марии Волошиной, второй жене М. А. Волошина, и Мариэтте Шагинян.

М. Волошина до самых последних лет жизни была близким другом А. Цветаевой. Их соединяли воспоминания о юности, о Максе и религиозность. Им была присуща удивительная черта, неподвластная старости, — способность очаровываться, восхищаться тем немногим, что давала жизнь. Уже в шестидесятые годы А. И. Цветаева ездила к подруге в Коктебель. Сохранилась фотография, сделанная в день восьмидесятипятилетия Марии Степановны. На фотографии все “костюмированы”, а Анастасия Ивановна снята в смешной “маске” — в темных очках и ... с накладной бородой из морских водорослей.

Неугасимость юмора, молодость сердца, то, что так восхищало Анастасию Ивановну в Антокольском, жила в них — в М. Волошиной и старых подругах ее круга.

Привожу здесь одно из сохранившихся писем М. С. Волошиной к А. И. Цветаевой от 22 июня 1972 года. Привожу потому, что оно звучит в унисон очерку о Марусе Волошиной, которая, кроме всего прочего, фигурирует эпизодически и в романе “Амор”. Это она, Мария, в главе “Коктебель” “становится на колени перед Поэтом и кладет истовый земной поклон” (“Амор”, М., Современник; 1991, с. 274). Итак, письмо.

“Милая Асенька, письмо твое грустное расстроило и тронуло меня. Конечно, мы очень одиноки, конечно, на каждой из нас бремя и ответственности, и забот, каждый знает про себя. И что ответственнее и что больше, никто не может судить. Всем тяжела своя ноша. Я не ропщу, но часто изнемогаю, потому что прежде всего слепну, немощна и завишу почти целиком от людей. А это и унижает, и раздражает, и делает подчас очень тяжким существование.

Конечно, приезжай, только дай телеграмму, дня за два, что приедешь. Конечно, всегда для тебя найдется место. Приезжай с внучкой, но больше никого не привози (...) Целую тебя и жду. Маруся”.

Письмо это нигде и никогда раньше не публиковалось. Оно продиктовано кому-то из друзей. Но последняя фраза и подпись — рукой Марии Степановны, чем и объясняется в “целую”, ибо писала она, пользуясь старой, дореволюционной орфографией.

Шагинян М. С. — фигура противоречивая. С одной стороны, певец советского образа жизни, писатель “государственного” направления. С другой стороны... как ни старалась она быть при всей “злобе дня”, как ни старалась соответствовать ведущей, “прямой” партийной линии и написать все, что можно и даже нельзя о Вл. Ленине, все же не было в ней того “массового”, что делало неотличимыми друг от друга советских писателей. В ней чувствовалась упрямая, уверенная в себе индивидуальность. Кроме того, М. Шагинян отличалась настоящей образованностью — читала западноевропейскую литературу в подлинниках! И тем была, несомненно, сродни Анастасии Ивановне, знавшей свободно три европейских языка.

Анастасия Ивановна хвалила при мне ее “Зарубежные письма”. Шагинян несколько раз принимала у себя Анастасию Ивановну, приводившую к ней литературную поэтическую молодежь. В молодости, в 1911 году, Шагинян написала о первой книге М. Цветаевой, о “Вечернем альбоме”, и потом, через годы, М. Цветаева вспоминала о той старой рецензии в письме Б. Пастернаку, как о дорогой ей.

В Шагинян и в младшей Цветаевой — их несогбенность, живость в преклонных годах, но... Есть и нечто литературно-общее. При разности тем и убеждений общее в них — воля. Во-вторых, резкость, твердость писательской манеры, максимальная утвержденность в написанном.

Среди очерков и рассказов А. И. Цветаевой немало о Коктебеле. В этом гористом, морском, ветровом уголке Северного Крыма происходит действие “Маруси Волошиной”, “Чтения стихов Софии Парнок”, чрезвычайно близко географически стоят к Коктебелю и новеллы “Сон наяву, а может быть, явь во сне” и “Ночи безумные”. Но основной в ряду — большой очерк, почти повесть, скромное название коей — “Зимний старческий Коктебель”. Правда, есть подзаголовок — “История пяти дней, дневниковые записи 10-15 января 1988 года”. По правде, Анастасия Ивановна в строгом смысле дневник давно уже не ведет.

Дневник сосредоточен на своем “я”, и Анастасия Ивановна, став на путь веры, на путь христианства, ушла от подобной сосредоточенности.

“Зимний старческий Коктебель” — это и очерк событий современных — 1988 года и “перешаг” в далекую юность — в 1911 год и оттуда — в 60-е, которые в Коктебеле памятны для Анастасии Ивановны тем, что она тогда испытала свое “последнее земное очарование” — большое чувство к А. Шадрину.

Я же хорошо помню 1985 год — за три года до Коктебеля зимнего и “старческого”. То был осенний и солнечный Коктебель. Туда я поехал по просьбе и приглашению Анастасии Ивановны — поработать над ее рукописями.

Не забуду, как с Анастасией Ивановной пришли мы в Дом-музей, как прошли по комнатам, вошли в мастерскую, поднялись по лестнице выше, к балкону, к которому нельзя было выйти: дверь заперта. Анастасия Ивановна сказала:

— Откройте.

Ей принялись объяснять, что не положено, что опечатано, что нет ключа. Но она так твердо, таким тоном повторила: «Откройте!» — что откуда-то появился ключ, сняты были печати. Анастасия Ивановна с несколькими окружавшими ее людьми — родственниками по первому мужу — матерью и сыном Трухачевыми и давно знакомым ей экскурсоводом музея Борисом, — все мы вышли на балкон, залитый

солнцем, откуда крутая деревянная лестница вела еще выше, на плоскую крышу башни, на смотровую площадку.

Анастасия Ивановна обернулась ко мне:

— Станислав! Семьдесят пять лет назад я сюда поднималась без трости и сейчас без нее поднимусь.

Протягивает мне трость, я беру. И — взлет энергии — ступенями вверх, она уже любит “падающим в море” горным Карадагом, одна из скал которого почти повторяет профиль ее друга, Макса Волошина. А с неба, с гребней скалистых гор ярко струятся солнечные лучи...

Тогда Анастасия Ивановна рассказала нам, как при Максе было солнечное затмение и все поднялись на башню. Маленький Андрей, сын Анастасии Ивановны, тоже хотел идти, но нянька не пускала, считала, что такое видеть — грешно. Анастасия Ивановна приказала няньке ребенка пустить, и, взобравшись на балкон, он детским голоском повторял за взрослыми: “Какая класота! Какая класота!” Красота же состояла в том, что в полнеба раскинулся день, с солнцем и облаками, в другой половине неба чернела ночь с луной и звездами...

В “Зимнем старческом Коктебеле” особенно, на мой взгляд, замечательна молитва спутницы: “Господи! Ты, который все можешь, Чье Сердце (...) бьется чудесами (побеждая законы природы), Ты, который из грешника можешь сделать праведника, Биением Твоего Сердца — неизбежными, неисчислимыми чудесами, самую суть всего составляющими ... Сделай со мной маленькое чудо — чтобы не искушалась я искушением, ничего не хотела бы для себя, чтобы я легко делала то, что я трудно делаю. Чтобы я боролась! Я ведь знаю — не это ли в юности моей толковал Волошин, — что мы получаем, только когда отдаем, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая — в ответ!

Научи меня побеждать себя...”

Не желать ничего для себя, побеждать свои желания — один из важнейших “порогов” христианства, за которым — осознание Вечности.

Сколько рукой Анастасии Ивановны записано старинных молитв, завещанных старцами и святыми!... Молитва — тоже путь к преодолению, к чистой, бескорыстной, возвышенной любви к земному и небесному. Об этой сокровенности молится Цветаева. Основной лейтмотив все тот же, религиозный: “Наша жизнь от земли отлетает, на землю падает!... Неутомимость любви — здесь. Выше, выше!

Выше неутоленности — неутомимость! Ибо выше всего — Образ и Подобие Божие, данное нам”.

Без этого взлета в духовность не представишь прозы Цветаевой.

Еще нужно сказать о Коктебеле старческом и зимнем, что мне приходилось не раз встречать у Анастасии Ивановны лирического Спутника. Вместе с ним Анастасия Ивановна там, в Киммерии, читала стихи, к нему в Москве она обращена полным доверием как к врачу, спасителю от любой подкравшейся немочи. Юрий Ильич Гурфинкель кардиолог, заведующий отделением реанимации в одной из столичных клиник. Он не стар, но в нем есть тональность настоящей старой врачебной интеллигенции. Если Анастасия Ивановна — писатель милостью Божьей, то Юрий Ильич Гурфинкель милостью Божьей — врач.

В “Зимнем старческом...” Анастасия Ивановна тепло, тонко описала их “вдвоем” на фоне Коктебеля — это лирика “странничества” ...

«Маринин Дом» — не просто описание жилища, это целое культурно-историческое и биографическое эссе о людях, событиях, временах. Дома в нем — живые, как люди — найденные, утерянные. В них — счастье и горе, встречи и расставания.

“Маринин Дом” — дом шесть в Борисоглебском переулке, становящийся ныне музеем поэта, на нем установлена мемориальная доска. Мне же помнится время, когда там жила Н. И. Катаева-Лыткина. Уютом антикварных вещей и вещей, картин, икон была полна ее квартира на первом этаже полуразрушенного и протекающего дома. Горящие все четыре конфорки газовой плиты “догревали” жилище единственной, отказавшейся выехать жилицы — Хранительницы угасающего, тогда казалось, навеки, очага культуры. Дом представлял собою полуразрушенную фантазмагорию — лабиринт, где бы заблудился Тезей и где давно оборвалась нить Ариадны ...

В августе 1991 года Анастасия Ивановна выступала при открытии мемориальной доски, установленной на доме сестры, и говорила о том, что было здесь пережито.

“Сравнение двух домов” — тематическое продолжение “Маринино Дома”. Краткая фрагментарная “главка” интересна прежде всего цветоведом, которым ценна каждая, даже малая, подробность жизни семьи Цветаевых.

“Непонятная история о венецианском дожде и художнике Иване Булатове” описывает нечто необычайное: художник, потеряв в болезни сознание, “вспомнил” тосканское наречие, которого никогда не знал. А будучи в Венеции, узнал себя явственно на портрете, где он — в костюме дожа. Более того, он “помнил” расположение зал во дворце, в котором не бывал.

Анастасия Ивановна точно придерживается фактов, и перед нами разворачивается теософическое приключение — прыжок из “плоскости” XX века в иную реинкарнацию, иное воплощение. Но Анастасия Ивановна, следуя православию, не принимает «догмата» о реинкарнации (хотя до одного из ранних вселенских соборов его признавала христианская церковь...). Но даже Рудольф Штейнер, основатель антропософии, утверждающий, что многократные проживания — это реальность, в лекциях своих предупреждает, что с вопросом о реинкарнации много сложностей, и люди, впадая в свои «прошлые» воплощения, могут впасть и в иллюзии...

В очерке “О Марине, сестре моей” — тоже чудесный эпизод: любимое М. Цветаевой растение (серолист из отряда бегоний) дало знать Анастасии Ивановне о смерти сестры: оно всколыхнулось, зашумело листвой при безветрии в лагерном бараке и на глазах изумленных женщин плавно успокоилось.

Быть может, когда М. Цветаева, обладавшая талантливой душой, очень астральной, очень пылкой, вышла за пределы физического тела, она через «родственную» ей живую субстанцию растения дала знать о себе. Она уже была “развоплощенной” (одно из любимых слов Анастасии Ивановны), бестелесной.

Не раз рассказывали мне, что умерший человек давал знать о себе в момент своей смерти — будто голубь забился в окно и пришло внелогически четкое осознание: “этого человека не стало”. Есть в жизни место чуду.

Место чуду нашлось и в рассказе Анастасии Ивановны «Родные сени». Описан дивный всплеск интуиции: автору, героине, рассказчице — из воздуха, совершенно невероятным образом спускается забытое или, скорее, ранее неизвестное имя. Заметим, Анастасия Ивановна находилась в крайней степени усталости, ее сознание было на пороге меж сном и явью. И сначала ее «вынесло» в далекое прошлое, и произошло, как в сказке, узнавание. Оказалось, ей знаком дом этот, знакома комната. Здесь некогда жила сестра Марина. Но самое важное то, что Анастасия Ивановна и женщина, к которой она приехала в тот самый “забытый” дом сообщить о смерти друга, вдруг обе в один момент ощутили присутствие умершего. Он был рядом, это — непререкаемо — ясно. Совершилась победа сознания над материей. Духа над плотью. И присутствие человека, давшего о себе знать из иного мира, придавало женщинам “чувство огромной полноты, тепла и покоя, держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии”. Слияние ума и сердца — путь к Богу Единому, гармония, воспетая в старинных легендах розенкрейцеров.

“Две встречи” — рассказ о разном отношении людей друг к другу, о разной градации совести, о полярно разнородных пониманиях жизни. Книжечку, которую описывает Анастасия Ивановна, я держал в руках. Помню автограф Марины Ивановны, надпись, обращенную к сестре, и авторскую правку черными чернилами “поверх” книжного текста. Правки было немного, но она была.

“Зиновики” — рассказ почти бытовой тональности, он характерен времени, когда создавался, — 1968-му году. Время это было если не легкое, то облегченное, но потерянное, растворенное в ожидании... В “Зиновиках” тоже есть доля чудесного. Убегая от общения с Зиновием, человеком, общаться с которым было откровенно нудно, героиня наткнулась в метро на потерявшегося мальчика с таким же именем и на его маленькую сестру. И на встречу, на которую боялась опоздать из-за одного “зиновика”, опоздала из-за другого. Так судьба учит одних — фатализму, других, более мудрых — иронии и одолению. На одном и том же примере.

Действие новеллы “Валовая, №7” происходит в 1928 году. Отправившись по ответственному делу — отвезти рукопись, Анастасия Ивановна, зачитавшись “Аэлитой” Толстого, так и вернулась домой, совершенно забыв о цели поездки, хотя она человек обязательный. Когда поняла, что в «помрачении “Аэлитой”» не передала рукописи, бросилась вновь в дорогу и поручение выполнила. Удивительно, что при этом Анастасия Ивановна не ставит высоко художественных качеств «Аэлиты». Напротив, к творчеству А. Толстого она достаточно критична, говорит, что рассказчик он был много лучший, чем писатель, вспоминала, как давным-давно, в Коктебеле, они целой компанией стояли на берегу, над морем всходила какая-то жуткая луна и он, Алексей Толстой, говорил:

— Вообразите, что мы последние люди на земле, и это конец света... — и слушавшие замирали от его слов...

Очерк-воспоминание, близкий к новелле — “Сон наяву, а может быть, явь во сне”, — из созданных недавно, в 1990 году. Речь в ней идет о некоем полковнике генерального штаба белой армии в Крыму. Полковник — поэт. Не названо имя, а звали его — как сказала Анастасия Ивановна, — Александр Цигальский, Поэтический псевдоним полковника был Ал. Цигал. Анастасия Ивановна рассказывала, что он слыл народным трибуном, говорил о Единой и Неделимой России, хорошо владел речью, зажигал. Потом его отозвали, он исчез, где-то “погас”. Остался сборник его стихов, изданных в Крыму. Там было одно стихотворение, Анастасии Ивановне посвященное, заключительной строкой которого было — “сгинет гнойный дракон”. Полковник довольно красив был, — продолжала Анастасия Ивановна, — он отразился в своем старшем сыне. Широколобый, большеглазый, очень выразительные черты лица. Жену его, о которой тоже речь в очерке-воспоминании, звали Любовь Александровна, сыновей — старшего — Витя, младшего — Игорь.

Очерк, что не характерно для писательницы, написан “в третьем лице”, как если бы не с самим автором происходили действия, события, а с кем-то другим. Намеренная отстраненность только подчеркивает — сколь опасно было все тогда происходившее. Есть в очерке и повторяющийся поэтический рефрен — «Кто знает будущее? Будущего не знает никто!»

Ужас и явь этого очерка и ныне и во все времена — это легкость убийства одного человека другим. Одни обещали жизнь, другие принесли смерть. И женщина в широкополой шляпе разносит прощальные записки. Конечно, будущего не знает никто. Но, к сожалению, наше будущее может стать похожим на такое прошлое, ибо природа человеческая эгоистична, большинство хочет блага лишь для себя, а гибель от этого — всем. И лишь избранные не погибнут — праведники, схимники, далекие от мира, те, что идут высокими путями.

В творчестве, как в чуде, есть сокрытая героика жертвенности. Сестры Цветаевы ради него жертвуют собой, “сжигают себя”. Их творчество потому и неопалимо временем, что в нем есть “огненное” чудо — героический взлет духовного начала, оно лучами Истинного Солнца освещает лица, события, подробности жизни. Солнце Истины дано узреть лишь тем, кто в сердце своем — в молитве или прозрении — поднялся через страдания и одоление к Вечности... Неизреченно высок тот путь...

Вторая часть книги посвящена музыке. Здесь собраны все небольшие произведения Анастасии Ивановны, посвященные певцам, музыкантам. Большая часть их публиковалась в 1989-1991 годах в “Музыкальной жизни”.

Все очерки — это воспоминания под знаком музыкального ключа. Строки здесь подобны аккордам.

О предположительном родстве со знаменитой певицей Аделиной Патти, потрясавшей залы и салоны Европы в XIX столетии, очерк “Соловьиная кровь”. Он написан жемчужно-легко, блестяще, будто — взмахами веера. Впрочем, Анастасия Ивановна не настаивает на родстве Цветаевых с Патти. Просто есть основания предполагать...

В “Бедном певце”, трогательном рассказе о потомке композитора Глинки, описаны гипнотические качества того же друга А. И. Цветаевой — Зубакина.

“Детские французские песенки ” — о восприятии музыки в детстве, о детских песенках семьи Цветаевых. И о силе воздействия ритма, мелодии на душу ребенка.

«Под “Клеветой” Россини» — трагическое повествование о встрече в лагере с певцом, солистом Большого театра Сладковским. Очерк этот, несколько видоизмененный, вошел в роман “Амор”.

В книгу вошли также “впечатления” Анастасии Ивановны от встреч с певицей Анной Герман, знаменитой пианисткой М. В. Юдиной, с крымским скрипачом Ягья Эфенди.

В завершение — два очерка о художниках, написанных А. И. Цветаевой в Эстонии, — о ныне здравствующем и творящем Олаве Маране и Ирине Бржеской, недавно нашедшей свой последний приют на кладбище при женском монастыре в Пюхтице.

Вообще, Эстония занимает особое место в жизни и творчестве писательницы. Сюда она приезжает 25 лет подряд. Этой земле и ее людям посвящено замечательное произведение “Моя Эстония”. Здесь написано много рассказов, очерков, воспоминаний.

Эстония для Анастасии Ивановны неразрывно связана с Пюхтицким монастырем, который она всегда посещает, чтобы окунуться в холодные воды священного источника.

Станислав АЙДИНЯН

ДЕТСКОЕ РОЖДЕСТВО

В снегом — почти ярче солнца — освещенной зале, сбегав вниз по крутой лесенке мимо янтарных щелок прикрытых печей, — мы впивались во вдруг просверкавшее слово “Рождество”, как девушка в сверкнувшее ожерелье.

Как хрустело оно, произносясь в душном коридоре затаенным сиянием разноцветных своих “р”, “ж”, “д”, своим “тв” ветвей, жарко-прохладным гуденьем повторившегося сквозного “о” (точно оно насквозь него прохрустело, как прохладные осколки только что жаром пылавшей бусины, надетой на убегающую нить). И оно пахло — и лепестком мандарина, и воском, горячим, и давно потухшей, навек, дедушкиной сигарой; и оно звучало его звонком в парадную дверь, и маминой (ее детства) полькой, желто-красными кубиками прыгавшей из-под клавиш на квадраты паркета и уносившейся с нами вместе по анфиладе комнат таким разбегом, что лет сорок спустя, в годы заключения в лагере, — в час утешающей через репродуктор дошкольной радиопередачи, услышав внезапно те самые желто-красные мамы музыкальные кубики, — я вскочила, ошалев, из-за своего арифмометра и, боюсь, понеслась бы вскачь меж чертежных столов конторы, если бы не запнулась о свой стол...

И, как снежный ком, катясь, растет — так росло, росло Рождество, подвигаясь, как горящий куст, как зимняя радуга, — пока не подходило так близко, что опрокидывалось над залой — сверкающей елкой...

Уют дома, где родился и где шло детство. Он кажется вечным.

Рождественский вечер — ожидание — елка — погасание ее — мир подарков... разложенных на сине-зеленом коленкоровом небе с золотыми бумажными звездами. В углу — образ, которым дедушка благословил маму перед свадьбой... Зала уже темна. Только отблеск далекой лампы — в трюмо. Как пахнет хвоей, мандаринами, воском. Какие предстоят чудные утра — просыпание с мыслью — Рождество. Мы кружимся, взявшись за руки — вцепившись согнутыми четыремя пальцами в такие же две руки, ноги — к центру кружения, тела — резко откинутае, образуют с полом залы острый угол. О, как чудно так кружиться — голова летит, уж ничего не видно, так страшно и так ужасно — приятно.

— А я тебя сейчас отпущу! — ...испытывающе-лукаво, громким шепотом кричит Муся. Я судорожно вцепляюсь в ее пальцы, ошпаренная ужасом — хоть знаю, что она дразнит, не сделает. Зала кружится — окна летят, сливаясь в светлую полосу. “Дети, опять!.. — кричит мама, — перестаньте сейчас же!”. Все так на свете кончается. Приходится перестать.

И рдеет в сердце под всей толщей новизн и подарков ночной, всегдашний рождественский огонек, когда, позвав нас к себе в спальню — папа в столовой еще беседовал с тетей о чем-то дедушкином и музейном, — мама вновь, только раз в год, зажгла на комодке свечу, спрятав подсвечник за чем-то, и в этом тихом уголке высоко перед иконой, тлевшей темно-красным лампадкой, на бабушкином комодке затрепетало скрытое за маленьким картонным сооружением пламя, освещающее темную внутренность ясель, окошко (впускаящее лучик звезды), рыжую коровью голову, старца с седой головой и Святую Деву, которым кланялись пастухи и волхвы перед желтой соломой кормушки, где лежал, сияя, Младенец.

Впивая картонное детское раскрашенное Рождество, озаренное свечкой, мы — уже с мамой, трое детей и она, пели *Stille Nacht*... Там же, опустив тонкую руку с обручальным кольцом на шелк черной кофты, тускло светясь в темноте спальни локоном и нежной щекой, юная бабушка из рамы смотрела на свою дочь и на нас печальной улыбкой темных глаз с тяжелыми веками, с кистью проведенными бровками. И польское ее сердце, как и немецкая песенка, радовалось над портретом, как наши, — потому что Младенец — общий, ему поют славу все языки... Мама как в раннем детстве говорила нам о значении слов, выведенных золотой бумагой на зеленой елочной завесе под ангелами и звездами: “Слава в вышних Богу, и на земли — мир, в человецех — благоволение”...

Рождество Младенца... Бог... И — надо всем, и прежде всего наставшее в таком младенчестве, что и довоспомнить нельзя, слово *Спаситель*. Слово — такое странное и родное, как бывает *собственное* имя — как Маруся, Андрюша, Ася — полным кругом вокруг детства. Слитое с ликом на образе — поднятая благословляющая рука, волосы по плечам, глядящие в тебя глаза; сине-голубая одежда и пурпур длинного “плата”, какого не видишь в жизни. Образ из мглы над “бабушкиным” комодом в папиной и маминой спальне — той самой бабушки, которую мы никогда не видели и которая умерла методом — все это, ее красота, ее смерть — пронизано тою таинственной силой, которая идет от Спасителя — и перед ней огонек красной лампы *тоже* об этом, точно он сам загорелся, *сердце* тайны, которая *есть*. К молчит о себе. И — зовет...

Когда я читаю Маринино “Мой Пушкин”, где она настойчиво, нарастающими примерами говорит о том, что все в детском дне меняется и летит, а Пушкин, чугунный, держа за спиной шляпу, — стоит — я чувствую с ответной силой, что только по пути к тому углу с лампадой принадлежит Пушкину тот детский пафос — он веет дальше, глубже и выше. *Semper Idem* (извечно тот же) сверху, на нас — и вокруг... От непонятного когда-то слова “Спаситель” — которое не на Тверском бульваре стояло, а везде реяло и дышало — спасало... от темноты, от дурного желания, от злости (с которыми надо бороться?). Не слушать его, если непременно хотел посмеяться над кем-нибудь, отомстить старшим детям за их обиды — и тогда, сделав это — наступала тоска, ныло сердце и было нельзя взглянуть на Спасителя в синей одежде, потому что он глядел на тебя — и все знал... И звали Спасителя — Христос. Это слово, буквы его, звук их был золотой, и казалось, что не только первая его буква — крестик, но что все буквы — из золотых косых перекладин, как салфеточное кольцо, и еще — как подставка на столе в столовой, которая раздвигалась, как ножницы, вся из косых крестиков и светящаяся насквозь. Имя Спасителя было тоже от всех отличное, светлое, весеннее, потому и говорили на Пасху “Христос воскрес” — и начальный высокий крестик и все “р” этих слов имели в себе какой-то золотой хруст, как когда бьешь кончик крашеного яйца, и по зале — лучи солнца...

ИСТОРИЯ МОЕЙ ДВОЙКИ

Это, собственно, пьеска с двумя актерами, и 6-ой класс женской гимназии, как фон.

Время действия — годы Прошлого, когда учителя женских гимназий вызывали ученика старших классов не просто по фамилии, а предваряя фамилию обращением “Господа”. “Свежо предание, а верится с трудом”? Да, так *было*. Шестой класс (7-ой и 8-ой) считались старшими.

“Мне минуло шестнадцать лет,
Но сердце было в воле...” — поется в старинной песне.

А учитель — фамилия его была Голубев — был, может быть, вдвое старше.

Он преподавал нам математику.

О, он любил ее! Он преподавал ее так медлительно-увлеченно, словно протягивал нам руку — войти в эту волшебную лодку, которая поплывет в Океан, в Кладезь Познания... И он явно отмечал тех из нас, кому она начинала звучать. Я среди них не числилась, хотя я старалась, — но я так любила СТИХИ.

Голубев, видимо, понимал, что я люблю стихи больше, чем Алгебру и Геометрию, и мне казалось, что он *через силу* ставит мне 4-ку по геометрии. Геометрия! В ней все было ясно, зримо, конкретно, и я очень редко, но *было!* по геометрии получала 5, как обычно по всем предметам, в то время как Алгебра была непостижимо-Далеко, и *мне* — неуловимо — воздушна. Она витала над классом, вылетая, как Голубь, из рук, ее нам даривших... И в самом дарителе было нечто с ней сходное. Он был очень высок, очень худ, как-то бесплотен, хотя и носил вицмундир, тем отличаясь от других преподавателей, позволявших себе в те предреволюционные годы ходить в простых пиджаках...

Большеглаз. Темноглаз, учтив и чуть ироничен, что придавало к очарованию, от него веявшему, таинственность, как Сама Математика. И множество моих подруг были увлечены им, что придавало сил их усердию.

И, как на беду, когда Алгебра все усложнялась — мне случилось заболеть инфлюенцией, и я пропустила много учебных дней... Просить папу взять репетитора мне по ложной гордости было стыдно, и я переоценила свои силы: придя в класс, я не поняла, что делается на доске... Подруги пылко принялись мне объяснять, и я что-то туманное поняла. (“ Попрошу папу! — решила я, — и к следующему уроку уже пойму все — яснее!”...). На доске я видела радикал и под его крышей подкоренное количество, и что-то писали слева, отчерчивая вертикальными и горизонтальными черточками — было некое сходство с очертанием простого арифметического деления.

Но что же, что же случилось?

Голубев, оглядев класс, нагнулся над раскрытым журналом. (И раньше, чем он произнес 1-й звук — я с ужасом поняла: меня...).

— Госпожа Цветаева! — сказал он с полным бесстрашием.

Худшего быть не могло!

С отвагой отчаяния я, полумертвая, легким шагом подошла к доске.

Так: радикал, подкоренное количество, и я обезьяньим жестом — черточки: так — и так: $\sqrt{\dots}$. И мел замер в руке.

— Ну, а дальше? — сказал учитель предельно-насмешливо...

Этого ученица стерпеть не смогла!

— Ну, а дальше, — сказала я неуязвимо-громко, и неожиданно — и для себя! — ставя мелом на углах вертикальных и горизонтальных палочек буквы, голосом в совершенстве отважным: — мы соединяем точку А с точкой С и получаем равнобедренный треугольник!

(Крик о пощаде — ведь этот же человек преподавал нам и геометрию? Или это была предельная дерзость погибающей ученицы? По-русски слов — нет. Так ответим же по-испански: *qui lo sa?**. (Кто же знает? Кто скажет?) Пораженное молчание класса длилось — мгновение. Грохот хохота рухнул лавиной. Но я не сдавалась: я играла Недоумение. Лицо выражало вопрос. Легкие кудри касались плечей — победно: и шаг, которым я предприняла возвращение на свое место, был своевременен — больше сообщить Алгебре было нечего.

Но учитель не сдался (поединок длился): карающая рука поднялась в воздух — тишайше! Он призывал класс — к Порядку. Он готовился произнести — диагноз.

— Тише! — сказал он с уверенностью врача и с сожалением к больному, и хотя в этой роли голос был преувеличенно тих, он был — громок:

— Госпожа Цветаева — б-р-едит!

Драгоценное грассирующее “р” дрогнуло неумолимо, и, опуская поднятую руку к глади журнала, он вывел у моей фамилии — 2-ку. Двойка плыла по глади журнала, как Лебедь по озеру, вырисованная медленно. Она плыла над классом, успокаивающимся, как озеро после ливня, и не было никакого сомнения классу в невидимой ему цифре!

А теперь, вырвав из Прошлого этот час, я — ибо в нем все навыворот, напишу в конце —
Посвящение:

Профессору математики Голубеву
и моей Отлетевшей Юности —
ибо мне 96-ой год.

*Утро 31 июля 1990 г.,
в Кясму (Эстония), в 24-ое лето, в доме Марии Эйнхольм.*

ОБ АДЕЛАИДЕ И ЕВГЕНИИ ГЕРЦЫК

С того часа, когда, впервые придя к нам с Мариной в наш московский отцовский дом в Трехпрудном и восхитясь его стариной, взойдя к нам на антресоли, в нашу бывшую детскую, тронув обрывок валявшегося ситца своими легкими творческими перстами, она радостно воскликнула: “И как идет к вашему дому этот блеклый кусок атласа...” — с этого часа душа Аделаиды Герцык накрепко стала нашей...

В те годы встретились не только сердца Марины и Аделаиды, но и сборники их стихов, вышедшие почти одновременно, перекликнулись, хотя и в различной манере, но близкими темами любви к детству, страстной привязанности к природе, твердым служением поэтической мечте, чуждавшейся застоявшихся форм жизни, ярко оставленных нам — Чеховым.

Возраст их различился — сильно, — Аделаида Казимировна Герцык, по мужу Жуковская, была на целое поколение старше Марины. И это нисколько не мешало тесноте их общения, сразу меж них вспыхнувшей дружбе. Я мысленно вижу их вместе и, не чувствуя права пользоваться этим воспоминанием наедине с собой, попытаюсь его воплотить — для других, для всех, кто только может прочесть мое описание, — пусть оно в них оживет.

Я не сказала важного, что Аделаида (Каз.) была глуха. Это придавало некую призрачность общению с ней. И выражение неуверенности в ее беседах — поняла ли, услышала ли? А о ее глухоте, хотя и есть утверждение, что она была немного и в детстве, упорно держался слух: что у нее был жених и что перед свадьбой она с отцом своим была за границей, ожидая приезда туда (в Германию? я не знаю) своего жениха. И туда пришла весть о его скоропостижной смерти. Рассказывали, что, получив эту весть, она, что-то передвинув на столе, утром, уронила тяжелый шендал — и звука падения не услышала.

Было ли это так или это была легенда, но ее молчанье — горе, о котором она при мне (при Марине — не знаю) никогда не упоминала, придавало ее облику какую-то тишину, скромность, особый и, может быть, важный штрих ее одиночества...

Что вижу я, произнося слово: “Аделаида?” Взгляд ее светлый, широкий, скользкий, все душевно охватывающий и в то же время проникающий в того, на кого направлен, необычным теплом входя в собеседника и в нем поселяясь добрым даром интимности, волшебством понимания, принятия человека таким, каким он есть, мгновенной приспособляемостью ума и сердца — с полным отсутствием критики, в органической неспособности поучать. Впивая эту *сущность*, с готовностью оказать помощь на любом повороте трудности, радуясь любой светлой точке, штриху в рисунке данной встречи. Неудивительно, что Аделаида стала прочным другом Максимилиана Волошина — человека, поэта, художника, другом его, принимавшего каждого, кто встречался, с желанием — изучив умом, принять — сердцем. (Как же жадно рванулась навстречу им 18-летняя Марина, жившая в доме нашем, в маленькой, ею избранной комнатке, обособленно с любимыми книгами и портретами. В этих 2-х людях Сама Жизнь вышла к ней!)

Ничего примечательного не было в наружности Аделаиды Казимировны: начавшее увядать лицо, неяркость черт, не особое внимание к одежде, к прическе — но голос, на других непохожий (легкий, еле трогающий слово, с польским акцентом — тоже не характерно-польским, а только слегка иначе называющим свойства и вещи), сразу входил в вас ласкающим движением задумчивости; его было нельзя позабыть. В нем была тень готовности отступить сейчас же, если надо, не настоять ни на чем, уступить дорогу, и была такая глубина деликатности, такое прислушивание, такая даже привычка восхититься — другим, не собой... Как это перекликалось с застенчивостью юной Марины, с ее таким восторгом к неведомому, с жадной поклоном к чему-то...

Совсем светлыми были глаза Ади, как близкие ее звали, а Маринины — цвета винограда, часто близоруко-сощуренные. Четкость Марининых черт, правильных, нежная розоватость розового лепестка, волевой, стеснявший себя рот. Мне кажется, их первая встреча была состоянием счастья, которому, знали, что обрадуется — как мы его звали — Макс. (Его наружность? Зевсова голова в кудрях, но не высокий он был, нет, а мощный. Руно волос было из темного золота. Голос вкрадчив, готовый к шутливости. Тон — очень серьезный.)

И слабый этот голосок, словно не в мощь свою, от застенчивости, звучащий, чуть — надтреснутый? Коим она, по просьбе Макса, по настойчивой просьбе Марины, начинает очередные стихи, и, затем, на просьбу *еще!* — уклоняясь в такт, ожидая большого от других, добро глянув светлыми ласковыми глазами в скромном оперении бледных ресниц и бровей: — “Я больше не помню, — миллая...” Сдваивание согласных букв у какого-то перегиба слова было ей свойственно. Это придавало речи ее нечто интимное, почти детское, сходное с голосом ее сына, трогательное.

Марина вступила в дружбу с Аделаидой очарованным шагом, поступью признания и отдохновения, выйдя из своего одиночества, шагом, коим она выходила со мной на ежедневное хождение вниз по Тверской, к Кремлю. В знакомое, извечное, родное общение со своей кровью. Для Аделаиды же вход в ее жизнь Марины, нашего дома и, немножко, меня, впридавок к Марине, все чувшего подростка, было радостным обогащением. Как с детства ее отношения с младшей сестрой, Евгенией, той же крови и душевного сродства, как Марина и я, — на два года моложе. Так сплелись, волей Макса Волошина, наши семьи, Герцыков и Цветаевых, в прочный многолетний узел.

И когда, целую жизнь спустя, я по воле судьбы оказалась в Крыму, с обеими сестрами, с нашими подрастающими детьми, вблизи Макса, тогда комиссара искусства по Крыму, далеко от Марины, Москвы — как жарко мы вспоминали их в наших беседах, Москву и Марину, как ждали okazji, письма, вести о ней, ее детях, друге и муже ее, утерянном в гражданской войне...

Я читала воспоминания родной внучки Аделаиды Герцык — Тани Жуковской, к которым написала предисловие, как пишут старшие участники войны подтверждения к воспоминаниям молодых. Мой долг был сделать это потому, что мне много лет и мало кто уцелел от того времени, которое воскрешала Таня Жуковская. Тем более тронувшая меня еще тем, что похожа на Аделаиду Казимировну, — а сходство наружности редко бывает неоправданным.

И в ее тоне о бабушке, которую она знает только по рассказам семьи, есть та родственная теплота, та кровная струйка сродства, которая ничем не заменима, и, следовательно, внушает добавочное внимание к написанному, делая воспоминания драгоценнее.

Вот все, что я, отрываясь от других работ своих, обратясь к прошлому, могу и хочу сказать.

Нет, еще одно — о Евгении. Физического сродства между Мариной и мной было больше, чем между сестрами Герцык: Евгения была красивей сестры, черты — четки, и горбоносость придавала ее сходству с сестрой — большую жизненность — как теперь говорят, активность. Она была, как вся семья их, хорошо зная языки, превосходной переводчицей, дружила с Вячеславом Ивановым, печаталась. И она одна из всех умела говорить с глухой сестрой — совсем тихо, у ее уха, не повышая резко и ненужно голос, как делали многие, отчего та, вздрогнув, отшатывалась, улыбаясь беспомощно. Сходство сестер было психофизическое, основанное на сродстве их душ. Друг друга они обожали.

ЧТЕНИЕ СТИХОВ СОФИИ ПАРНОК

Лето 1915 года. Лето войны и, странно сказать, лето стихов. Съехались в Коктебель — Марина, позднее — Мандельштам, София Парнок.

Макса Волошина, в доме которого все мы собрались, не было в Крыму. Он в самом начале войны оказался за границей и смог вернуться лишь в 1916-ом; от него в письмах к матери из Парижа шли стихи — антивоенные, страждущие, негодующие. Голос Макса был одним из первых в России, звучавших стихом против братоубийства. Поэзии и прессе тех лет более свойственны были ультрапатриотические настроения, — это после успешного для русской армии начала войны в 1914 году, после побед на Карпатах, даже и после последовавших потом поражений, когда дрогнул патриотический пыл, но еще только — дрогнул.

Слышался и другой страстный голос, звучавший против войны — голос Ромена Роллана.

Лето... Мы сидим на террасе максиного дома, на открытом воздухе. Было нас — не помню точно — двенадцать-пятнадцать человек. Сегодня будет читать Соня Парнок. Марина высоко ставила поэзию Парнок, ее кованый стих, ее владение инструментровкой. Мы все, тогда жившие в Коктебеле, часто просили ее стихов.

— Ну хорошо, — говорит Соня Парнок, — буду читать, голова не болит сегодня. — И, помедлив: — Что прочесть? — произносит она своим живым, как медленно набегающая волна голосом (нет, не так — какая-то пушистость в голосе, что-то от движенья ее тяжелой от волос головы на высокой шее и от смычка по пчелиному звуку струны, смычка по виолончели...).

— К чему узор! — говорит просяще Марина. — Мое любимое!

И, кивнув ей, Соня впадает в ее желание:

*К чему узор расцвечивать пестро?
Нет упоения сильней, чем в ритме.
Два такта перед бурным болеро
Пускай оркестр гремучий повторит мне.
Не поцелуй, — предпоцелуйный миг,
Не музыка, а то, что перед нею, —
Яд предвкушений в кровь мою проник,
И загораюсь я и леденею.*

Меняется Сонин голос, “стал черным”, — определяю я; и пока она говорит, в эту черноту вливается синева. Голос — как вороненая сталь!

*К нам долетит ли бранный огонь?
Крылаты лихие дела!
Ржет конь,
Грозный конь
Грызет удила.*

И когда она говорит их до конца, не меняется голос, крепчает, но как изменился — ритм...

Фридриху Круппу

*На грани двух веков стоишь ты, как уступ,
Как стародавний грех, который нераскаян,
Господней казнию недоказанный Каин,
Братоубийственный, упорный Фридрих Крупп!
На небе зарево пылающих окраин.
На легкую шинель сменяя свой тулуп,
Идет кто сердцем щедр и мудро в речи скуп,
Расцветов будущих задумчивый хозяин...*

Мерный звук моря, взрывы волн — служат аккомпанементом стихам. Соня стоит и смотрит вдаль. И, из нее зачерпнув:

*Я не знаю моих предков — кто они?
Где прошли, из пустыни выйдя?
Только сердце бьется взволнованней —
Чуть беседа зайдет о Мадриде.*

Когда она дошла до последней строки — О, — говорю я, — чудесно! Но как же это сходно с твоим, Марина, — “Какой-нибудь предок”...

— Скажите вдвоем! — голос Сони.
— Ася, иди сюда! — мне — Марина.

Прохожу мимо кого-то сидящего и, встав рядом со вставшей Мариной (мы никогда не читаем стихов сидя, а Соня — читает, но это Соне идет):

*Какой-нибудь предок мой был скрипач,
Разбойник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром?*

Но больше, несмотря на похвалы, просьбы, удивления нашим совпадающим — до мельчайшей интонации! — голосам, Марина не соглашается читать:

— Сегодня Соня читает! Мы — слушаем!

Смотрю — каким контрастом с сестрой тоненький силуэт младшей, Лизы. Она меньше Сони ростом, легкая, подвижная, часто смеющаяся. Головка ее в черных, крупно-вьющихся кудрях грациозно наклонена. Большие ясные глаза — вниманием — устремлены на Соню. Узкое, смуглое личико Лизы — в последних лучах падающего на террасу солнца. (Нет, мы не знали тогда, что и она тоже пишет стихи. Позднее Лиза Тараховская стала автором известных книг для детей. Но это — годы спустя). А сейчас — Соня, как гадалка, с легкой улыбкой в голосе:

*Я люблю в романах все пышное и роковое —
Адский смех героинь, наполненный ядом клинок.
А наша повесть о том, что всегда нас — двое,
Что, друг к другу прильнув, я одна и ты — одиночок...*

Но мы просим еще.

Как струна, задетая пальцем: — Еще одно? — говорит Соня. — И хватит... Помедлив, голосом, от нее отплывающим, легким:

*С пустынь доносятся
Колокола.
По полю, по сердцу
Тень проплыла.
Час перед вечером
В тихом краю.
С деревцем встреченным
Я говорю.
Птичьему посвисту
Внемлет душа.
Так бы я по свету
Тихо прошла.*

— Соня, еще одно! — говорит Марина. — Нас еще не зовут, скажите еще одно!

Тогда Соня, встав, бегло поправив “шлем” темно-рыжей прически, тем давая знать, что последнее, на ходу, в шутку почти что:

*Окиньте беглым мимолетным взглядом
Мою ладонь:
Здесь две судьбы, одна с другою рядом,
Двойной огонь.
Двух жизней линии проходят остро,
Здесь “да” и “нет” —
Вот мой ответ, прелестный Калиостро,
Вот мой ответ.
Блеснут ли мне спасительные дали,
Пойду ль ко дну —
Одну судьбу мою Вы разгадали,
Но лишь одну.*

Щелкнул портсигар. Соня устала? Ее низкий голос, чуть хриплый: — Идем ужинать?

Тонкие пальцы с перстнем несут ко рту мундштук с папиросой — затяжка, клуб дыма. (А как часто над высоким великолепным лбом, скрыв короной змею косы, — белизна смоченного в воде полотенца — от частой головной боли!) Больше читать не будет.

Маринина дружба с Софьей Яковлевной Парнок продолжалась. Они появлялись вместе на литературных вечерах, увлекались стихами друг друга, и каждое новое стихотворение одной из них встречалось двойной радостью. Марина была много моложе Сони, но Соня прекрасно понимала, какой поэт вырастает из Марины.

Как эффектно, как хороши они были вдвоем: Марина — выше, стройнее, с пышной, как цветок, головой, в платье старинной моды — узком в талии, широком внизу. Соня — чуть ниже, тяжелоглазая, в вязаной куртке с отложным воротником. И помню я Соню не в тот вечер, а позже, в другие дни, когда она читала свое “Гадание”:

*Я — червонная дама. Другие, все три,
Против меня заключат тайный союз.
Над девяткой, любовною картой, смотри:
Книзу лежит острием пиковый туз.
(...)
Будет любовь поединком двух воль.
Кто же он, кто же он, грозный король?..*

Я была в восторге от Сони. И не только стихами ее я, как и все вокруг, восхищалась, вся она, каждым движением своим, заразительностью веселья, необычайной силой сочувствия каждому огорчению рядом, способностью войти в любую судьбу, все отдать, все повернуть в своем дне, с размаху, на себя не оглядываясь, неумная страсть — помочь. И сама Соня была подобна какому-то произведению искусства, словно — оживший портрет первоклассного мастера, — сживший, — чудо природы! Побыв полдня с ней, в стихии ее понимания, ее юмора, ее смеха, ее самоотдачи — от нее выходил как после симфонического концерта, потрясенный тем, что есть на свете — такое...

О ТИХОНЕ ЧУРИЛИНЕ

Однажды, переступив порог Марининой комнаты, — жила она тогда в Борисоглебском переулке, — я увидела в первый раз поэта Тихона Чурилина. Он встал навстречу, долго держал мою руку, близко глядел в глаза — восхищенно и просто, в явной обнаженности радости, проникания, понимания, — человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, черноволосый и — не смуглый, нет — сожженный. Его глаза в кольце темных воспаленных век казались черными, как ночь, а были зелено-серые. Марина о тех глазах:

*А глаза, глаза на лице твоём
Два обугленных прошлолетних*

круга...

Тихон улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал Марину и меня целую уже жизнь, и голос его был глух. И Марина ему: “Я вас очень прошу, Тихон, скажите еще раз “Смерть принца” — для Аси! Эти стихи — чудные! И вы чудно их говорите...” И не вставая, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес:

*Ах, в одной из стычек
под Нешавой
Был убит немецкий офицер
Неприятельской державы
Славный офицер.
Схоронили гера, гера офицера
Под канавой, без музыки,
Под глухие пушек зыки...*

К концу стихотворения голос его стихал. Прочтя, Чурилин сидел, опустив голову, свесив с колени руки, может быть, позабыв о нас. Но встал тут же, прошел по комнате — три шага вперед, три — назад — от шарманки к дивану с чучелами лис, мимо синей хрустальной люстры. Мимо маленькой картины, маслом, в тяжелой раме — лунная ночь, на снегу — волк (мамина когда-то работа). Позади, под луной, под всей высотой небесной, в немыслимом голубом безлюдье — волчьи следы.

Наша жизнь! Огни дружбы и любви, страсть к старинным вещам, любимые книги... И стоит между нас затравленный человек, нищий, душою больной поэт.

Как-то отступила дружба Марины с Соней Парнок. Еще не бывал у нее тогда Осип Манделштам. Все заполнил и заполонил собою Чурилин. Мы почти не расставались ту — может быть — неделю, те — может быть — десять дней, что я провела в Москве в начавшейся околдованности всех нас вокруг Чурилина. Он читал свои стихи одержимым голосом, брал за руки, глядел непередаваемым взглядом: рассказывал о своем детстве — о матери, которую любил страстно и страдальчески, об отце-трактирщике. И я писала в дневник: “Был Тихон Чурилин и мы не знали, что есть Тихон Чурилин — до марта 1916 года. Он был беден, одинок, мы кормили его, ухаживали за ним.”

Помню книгу стихов его — “Весна после смерти” — большого формата с рисунками Наталии Гончаровой.

Уже после Марининого отъезда за границу я вновь встретила в Москве с Тихоном Чурилиным. Как же изменилась его судьба! Вместо нищего, заброшенного поэта, вышедшего из клиники, я увидела человека в его стихии: его уважали, печатали, он где-то числился, жил с женой в двух больших комнатах, кому-то звонил по телефону по делу, — метаморфоза была разительна. Жена его, горбатая пожилая художница Бронислава Иосифовна Корвин-Каменская (прозванная им “Броккой”), была по-матерински заботлива и, как человек искусства, понимала его немного бредовые стихи. Это было корнем их единства. Я была счастлива, видя его счастливым, — это в нашу первую встречу в 1916 году казалось совсем невозможным. В стихах его тоже произошла перемена, — то были какие-то заповки, заговоры, заклинания. В них проснулся некий сказочный дух.

Он еще болел, но его, видимо, лучше лечили, и когда наступали у него обострения и он боялся оставаться без Бронки, она звонила мне и уезжала по делам, считаясь с часами моего сколько-нибудь свободного времени. Тогда я ехала к Тихону, сидела с ним во все время ее отсутствия, кормила его, утешала, что Бронка скоро придет, отвлекала его рассказами о Марине, которую он жарко, преданно читал.

Бронку художники отмечали как талант, ее работы брали на выставки. Эта пара — Тихон и Бронка — были трогательны, они напоминали двух птенцов на ветке. Как было радостно не видеть нужды вокруг них! Достаток их дней казался почти богатством в сказочно изменившейся судьбе Тихона. Я писала о нем Марине. Человек, вышедший из народа, нашел свою среду и признание.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПАВЛИКЕ АНТОКОЛЬСКОМ

Так он назвался во мне потому, что так его называла мне Марина, сестра моя, весной 1921 года, когда мы после долгой разлуки свиделись и в маленькой ее комнатке в Борисоглебском, на ее нешироком диване, лежа, проговорили всю ночь. За время гражданской войны письма не шли, мы ничего друг о друге не знали. Я вернулась из Крыма в Москву в Николин день, майский ливень. Уложив наших 8-летних детей Андрюшу и Алю, мы уже побывали у нашего друга Евгения Ланна и теперь рассказывали друг другу события последних лет. У Марины в голодный 1920 год умерла от истощения трехлетняя дочь Ирина и тяжело болела Аля. У меня в 1917 году, после смерти моего второго мужа Маврикия Александровича, умер в Коктебеле во время эпидемии дизентерии годовалый сын Алеша. Но росли наши старшие дети, жизнь побеждала смерть, требовала напряжения всех сил, чтобы бороться за них.

Вот на этом фоне тяжелого пережитого мне впервые прозвучало имя Павлика Антокольского, друга Марины, поэта, и ее тон о нем, тон признания его необычайности, его мужества, его таланта, тон восхищения романтизмом его поэзии звучит во мне до сих пор.

Была майская ночь. Из окошка, распахнутого в стихший двор, шли прохлада и тишина, дети наши — в огромной Алиной детской спали, доносился кашель Андрюши, простудившегося за многодневный путь в теплушке из Феодосии. Там я зиму проработала в наробразе, откуда Марина вызовом на работу по ликбезу заполучила меня в Москву.

В эту первую нашу ночь мы праздновали свидание почти четырех лет неизвестности, и каждое ее слово падало мне драгоценностью в эту безмолвную весеннюю ночь. Я слушала всею собой рассказ Марины о Павлике, бывшем ей другом в тяжкие дни, дружбой укреплявшем ее на продолжении творческого пути и крепнувшем на нем рядом с нею. Она упоминала и о Юре Завадском, актере, друге его, но вновь переходила вниманием к Павлику, и вот что запомнилось мне наряду со стихами, ему посвященными. Голос Марины той ночи все еще звучит в моей памяти:

— Ты понимаешь, он ни на кого не похож. Нет, похож, но в другом цвете на Павла Первого. Такие же огромные глаза. Тяжелые веки. И короткий нос. Ему бы шла напудренная коса, он бы мог играть Павла I в пьесе о нем. Он был актером, но в нем режиссер побеждает актера — он чувствует, как надо играть. Он чувствует, что не так играют. Он чувствует — за всех. Но он прежде всего — поэт. Романтик. Он пронизан историей. Я достану тебе стихи его — ты поймешь. Он умен. Он очень умен. Он все понимает. Он приходил ко мне — и мы не могли расстаться, ночь напролет говорили, как сейчас с тобой. Женат, дочь. Его очень ценят в театре Вахтангова, это лучший театр Москвы, самый творческий. Как Андрюша кашляет!

Он с компрессом спит. Жаль будить, чтобы дать лекарство.

— Спит — не буди. Сколько ночей Аля прометалась с круговыми компрессами, с домашними горчичниками во время воспаления легкого! С тремя болезнями я вывезла ее из детдома, меня вызывали: малярия, чесотка и воспаление.

— И выходила! Ты молодец!..

Отводя похвалу, рассеянно и задумчиво:

— У Павлика — красавица дочка. Наташа... Смотри, уж совсем светло... Скоро дети проснутся...

Мы заснули, как две уставшие собаки, — одна голову о плечо другой.

Через год, в мае 1922 года Марина, узнав от Ильи Эренбурга, что Сережа, ее муж, жив, в Чехии, выехала к нему с 9-летней дочерью Ариадной.

Я не видала Павлика Антокольского — при Марине. Я встретила с ним поздней, познакомилась через общего друга, поэта-импровизатора Бориса Зубакина. Они тесно дружили. Вместе бывали на собраниях в Союзе писателей — тогда он помещался в доме Герцена на Тверском бульваре, я там вместе встречала их.

Как забыть невысокую легкую фигуру Павлика — на эстраде, в позе почти полета читающего стихи, как забыть его пламенные интонации, его манеру чтения стихов, нисколько не походившую на манеру

тогдашних юных поэтов, подражавших Есенину. Его особенный жест, изнутри тела идущий, не быть не могущий, нечто легчайшее, как слово из уст исходящее, переламывание стана у талии, а рука уже поднялась в воздух, уже чертит узор ритма, и цветут над залом имена Робеспьера, Марата, с их зловещей и грозной судьбой. И так уже перелетел Павлик в тот век, что будто не в России мы, а во Франции! И уже зарождался будущий его “ток высокого напряжения”, и чем мы можем ответить ему, как не громом рукоплесканий... Зал гремит. Павлик кланяется смущенно.

Это память не об одном, а о многих его выступлениях. Затем — сборники стихов его. И любовь к нему всех, кого я тогда любила и признавала. А затем — даты сохранившихся к нему моих писем: о помощи в переводческих и литературных кругах — достать работу, поручиться за мое знание языков — и всегдашний отзыв его, жар дружеской помощи (до конца его жизни, невзирая на болезни, на возраст).

Годы шли. И вот он в кругу семьи, в их арбатской квартире, чайный стол, маленький сын Вова, дочка постарше, бабушка, дедушка, привет и почтенность, веками благословенный уют.

Много лет моего отсутствия отделили меня от них и от многих. Столько лет, что, когда я вновь увидела Павлика, он был почти уже не узнаваем.

Он переступал порог дома друзей моих С. И. и Ю. М. Каган, где я остановилась в Москве тогда, — это был уже другой Павлик — старый. Он был сед, и следы болезни ясно виделись на его чуть уже одрябших щеках. Он, быть может, тоже старался узнать меня, вспомнить, сравнить, убедиться в другой Асе, но вот он улыбнулся смущенно, протянул обе руки — и четыре руки, как на рояльных клавишах, встретились в веселом — надо всем, через все, — радостном, крепком пожатии.

— А глаза те же, совсем те же! — сказал кто-то во мне.

А когда он ушел, мне дали прочесть поэму Антокольского “Сын”. По России она пролетела, как стон, стон всех отцов, матерей, вслед погибшему мальчику — прямо со школьной скамьи — под снаряж... Тот самый Вова, игравший под кровом семьи, у чайного стола; в нашу молодость...

И снова, как и тогда, потекли годы. С редкими встречами. Но, как всегда, он был действенным другом: Павлик говорил обо мне в отделе прозы издательства, торопя публикацию книги, кого-то в промедлении стыдил, высоко оценивая мои Детство и Отрочество, рекомендуя их поскорее в печать.

И уже стояли в моем книжном шкафу не прежние тонкие сборники, а томики и двухтомники стихов Антокольского, готовясь к собранию сочинений. И великолепная проза в журнале — статья Павлика о Марине, о книге ее стихов, почти четверть века после ее смерти вышедшей в “Советском писателе”.

И идет год за годом переписка. Привожу одно из моих писем (14-15 февраля 1966 года).

Дорогой Павлик!

Ночь, тишина. Это письмо — наспех, чтобы отозваться на Ваше, ибо Вы мне — близкий человек, один из малого числа уцелевших — с тех лет.

И я не могу промолчать на Ваше, сердцем движимое, и на книгу, за которую благодарю, хоть не смогу скоро ее прочитать, так устают глаза от мелкой печати, несоблюдения глазного режима, в суете дней при не могущем быть налаженном быте, — который, хоть и с меньшим зубовным скрежетом, чем Марине, кротче и терпеливее несу, но не умею, да и не очень хочу последние силы — на его налаживание — да и поздно всему.

Очень хочется прочесть Вашу статью о Марине. И очень жалею, что Вы в суете лет не возобновили чтения моих воспоминаний, прочтя только Детство, когда упорным трудом с тех пор до некоторой степени доблестно взяты высоты Отрочества, Юности, Молодости и Зрелости, ее кончаю 22 годом (отъездом Марины к Сереже), нашими 29 и 27 годами. Далее мою встречу и дружбу с В. М. до поездки к Горькому я пропускаю, и след. часть — то, что будет во 2-м номере “Нового мира” — свидание с Алекс. Максим, в Сорренто, с Мариной в Париже, с Элюаром и Галей, его женой, моей подругой (“Зрелость”).

Затем, пропустив с 1927 по 1960 год, — я даю Елабугу, поездку мою туда с Соней Каган. Еще дам те дни на ДВК, когда услышала два года спустя о Марине, о 41-м годе в 43 году. И это будет уже “Старость” — и все.

Проектирую, если не возражаете, да и как возражать, когда это же Ваши “токи высокого напряжения”, хоть нам и 70 лет. Мне с осени — 72-й год, Марине бы теперь — 74-й. Думаю, я просто приеду к Вам и захвачу Вам и Зое продолжение. Если это неудобно, — черкните, чтобы я не торопилась с просмотром глав. Но чувство необходимости торопиться — в крови, Павлик, — и так годы упущены. Это чувство — по существу природы моей (маминой и Мариной — спешившей с самых юных лет. На том и стоим — не так ли?).

А Галя, которую Вы знали, Дьяконова — Вы учились с ее братом Колей в гимназии Кирпичниковой, единственной, где мальчики и девочки учились вместе, с ней я виделась в Париже, когда она уже 13-14 лет была женой поэта Поля Элюара. Поздней они разошлись (их дочери Сесиль было 15 лет). Галя стала женой художника Сальвадора Дали. Сказка? О ней будет в первой же главе “Отрочества”.

Страшно сказать: 3 часа ночи.

Жму руку, Ваша Ася Цветаева.

Из ответа мне Павлика на мое письмо о его статье о Марине:

Дорогая Ася!

Увы, я хорошо знал о том, что в статье есть, не могут не быть, неточности. Наверно, их еще больше, чем указали вы. Но мне предстоит еще работа над статьей — в сторону расширения и более полного охвата всего творчества Марины. Поэтому будет возможность уточнить сказанное. Спасибо Вам большое за Ваши замечания!

Из моего письма 1971 года:

Дорогой Павлик!

Чудно у Вас в Вашей статье обо мне (VII — 71 г.) — (о м. книге) написано о смерти мамы. Я не могла удержаться от слез. Плакала. “И слезы текли по идиотски каменному лицу” (Марина о себе в последние годы). Фамильное. Так Вы написали, что мама еще раз ушла, заново. Это что-то превосшедшее искусство — вновь воплощенная жизнь.

Обнимаю Вас и благодарю всем сердцем и умом.

Ваша Ася.

И еще одно письмо от 10 июля 1977 года:

Дорогой Павлик!

Прочла 2-ю часть повести о Сонечке Марины.

У меня к Вам вопросы, после чего я Вам напишу мои мысли об этой вещи, о Марине в ней.

Во-первых: читали ли Вы вторую часть? Если нет — я в сентябре, вернувшись из Эстонии, попрошу ее перепечатать и Вам ее передам. Написано замечательно. Горько, что Юра (Завадский), прочтя в “Новом мире” I часть, где М. о нем критически отзывается, был, говорят, расстроен — и так незадолго до своего конца!

Знаю, что он Вам друг и что это — утрата — сочувствую Вам и буду о нем молиться. В этой вещи есть опечатки и неверны даты о Вашем рождении (1891, а надо 1895-6?). Вы же моложе меня, мне в сентябре должно минуть 83, и неверна дата смерти Юры.

И есть в стихах (это книга, где юношеские и др. стихи) опечатки, ошибки.

Павленька! Скажите мне, — если М. верно описывает (воссоздала) Сонечку — она в Вас живет до сих пор, не может не жить! Но — 1) Такая ли у нее была речь (I часть Вы читали)? 2) и такая ли речь была у Володи Алексеева? 3) не одарила ли Марина их обоих своей речью?

Мне М. много говорила (весна 21 года — мой приезд с юга) о Вас и Юре. И ничего о Володе.

Такой ли он был Вам, как ей? Речь! Всему остальному поверю. Хотя Марина изобретала людей... Но такое родство речи Володи с Марикиной и такое родство речи Сонечки с Мариной? Поразительно...

И м. б. Марина — там узнав от Али о кончине Сонечки (узнала в 37-м) — на океане, во весь мах волн его и своих, подарила им обоим свою речь, которой там, вдали от Родины, некуда было деться?..

Я не помню теперь, до какого года писала Павлику на его квартиру на улицу Щукина, на квартиру, как я слышала, его счастья — счастья зрелости его и, быть может, начала старости, в годы его брака со второй женой — Зоей Бажановой. Я не знаю, когда она умерла, но знаю, что случилось с Павликом после ее смерти, — он рухнул. Это началась уже не жизнь — доживание. Тот мир, который они любили вдвоем, еще цел и шумел кругом, но ему уже не было в нем прежнего места. Как-то сразу настал последний его возраст: годы наслаивались беззвучно — и только одно еще звучало ему — стих. Как только загорался звук стиха, — годы сгорали, как мотыльки над костром, старческий стан выпрямлялся, глаза под желтыми веками полыхали, как прежде, и голос поэта гремел с почти неестественной силой над притихшим кругом слушающих.

Так было в тот вечер, когда я, после отказа выступить приехавшей ко мне в Голицино Беллочке Ахмадулиной, увидев ее огорчение, дала согласие прочесть три стихотворения Марины, как мы читали их — в унисон, на вечере, где прочтут свое о ней и ее стихи Антокольский и Ахмадулина. Это было в помещении бывшего Петровского монастыря, вечер Литературного музея.

— Я потому согласилась прочесть стихи, чтобы показать, как мы читали. По ритмической волне — и все. Мы ненавидели актерское чтение. Хуже, чем читал стихи Василий Иванович Качалов, — никто никогда не читал. Но его ученики и последователи — актеры, актрисы стараются его превзойти.

Смех, раздавшийся, был дружественен. Я еще сказала о том, что, пользуясь случаем, так как больше выступать не буду (мне шел уже 84 и 85 год), — сказать, что Марина не была никогда эмигранткой: в 1922 году выехала в Чехию к мужу, а в 1939 году вернулась в Москву к мужу. И что последнее, что мне хочется сказать, вспоминая Маринину молодость, что лет 5-7 своей жизни она была настоящей красавицей, — первые годы замужества, до разрухи. Затем я прочла стихи. Последним из них — одно из моих любимых:

*... Над синевую подмосковных роц
накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы калужскою дорогой,
Калужской — песенной — привычной,
и она
Смывает и смывает имена
Смиранных странников, во тьме
поющих бога.
И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, —
Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.*

Тихо падали ритмические интонации. Я смолкла. И тогда, пресекая, преодолевая аплодисменты, даря акустику бывшего храма громом своего голоса, возражал мне Павлик:

— Нет, не таким мне помнится чтение Марины! Я другие стихи вспоминаю!

И, выйдя на авансцену, он выпрямился, вырастая, помолодев на полвека. Из недр истории он гремит голосом Жанны д'Арк:

*...И я вошла и сказала: Здравствуй,
Пора, король, во Францию, домой,
И я опять зову тебя на царство,
И ты опять обманешь, Карл Седьмой!
Не жди, мой принц, скупой и невеселый,
Мой скудный принц, не распрямивший плеч...*

Да, это истинный пафос поэта! Но Марина так никогда не читала — думаю я. Это сама история вопиет о себе. Жанна жива, еще не сожгли англичане героическую крестьянскую девушку, но в голосе поэта уже загорается пламя ее костра, и акустика сводов отвечает ему громом эха...

Кто сказал, что Антокольский состарился? Это — лютая ложь... Он молод! Разве в старости могут так сверкать очи? Так взлетать над головой руки?!

Он верит, что так читала Марина, он хочет, чтобы все запомнили эти стихи в таком ее чтении, отвергая нашу ритмику, а я стою и всею собою, как тогда Марину, теперь слушаю ее Павлика Антокольского, и мои старческие глаза расширяются во всю их прежнюю ширину... Восторгом перед мощью поэта, своим восторгом сумевшего перечеркнуть целую жизнь! И вдруг из погасших лет прошлого я вижу тот миг, когда, после отъезда Марины, я в хаосе оставленного, среди кем-то разрытых писем, увидела твердый, тонкий листок кремового цвета бумаги, а на ней — прямым, изысканным и простым, крупно, как из сердца рвалось: “Марина! Золотая птица моей судьбы”.

А! Сказала я и сложила листок, и спрятала его, не читая, навеки, и, если сохранилось где-то все это, что у меня при моем отъезде пропало, то и этот листок восклицает прочтенные мною слова.

Худ и стар, почти лишен тела, желт, как воск, он сидел рядом со мной в задней комнате до и после своего выступления о Марине. Молчанием мудрости горят его черные очи из-под полуопущенных старых век. И он ласково мне кивает, утверждая дружбу навек.

Дом Союза писателей. Здание много нас старше. Когда-то Дворец искусств. На возвышении, среди толпы, лежит Павел Антокольский.

Уже не прочтет нам стихов.

Меня ставят в почетный караул. Стоим четверо. Последний долг Другу. Смотрю и не узнаю. Очень белый, словно вылеплен из алебаstra. Где его живой воск? Легкость его?..

Торжественность, отсутствие.

И как сказано о другом умершем в стихах у Евгении Купиной:

*“А нам остается
утраты таинственный труд”.*

Но искусство не так легко отдает служившего ему человека. Поэта. Певца. Кончились речи. И из глубины зала раздается пение. Это Козловский поет! Старый певец, старый мастер. Не моложе нас с Павликом! Но — “Старый конь борозды не портит”. Как он поет!

Сменяется караул вокруг неподвижного тела...

Всю жизнь жил Павлик с людьми. Толпой окруженный. Но Лермонтова строками провожает певец поэта:

*Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу.
И звезда с звездой говорит.*

Голос певца над тишью смолкнувшего зала провожает Павлика в путь.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ РУКАВИШНИКОВЕ

Как давно это было! Помнится, — в 1924 году. А сейчас — 1987 г. Но те зимние дни в доме отдыха ЦКБу “Узком”, в бывшем имении Трубецких, верст 12, должно быть, по Калужской дороге, помню отлично.

Тяжелые заснеженные еловые ветви, мохнатые. Разметенные дорожки в глубоком снегу. Но завтрак — позади, до обеда — далеко, и мне основное, для чего я сюда приезжаю, — воздух, зимний воздух, от вдруг в первый раз вспыхнувшего процесса в легких — воздух — главное лечение.

Наша с Мариной мать, в 37 лет ушедшая от туберкулеза, зимой в санатории Санкт-Блезен Шварцвальд (Чернолесье) в 1904-05 годах, часами, как все больные, укутанная в одеяла, лежала (веранда посреди зимнего сада) и дышала морозным целебным воздухом. И температуру измеряли, держа во рту градусник, под языком. Но наша мать была очень больна, я — немного, я температуру не меряю, а выхожу в сад, с веселым моим спутником, известным в те годы писателем, Иваном Сергеевичем Рукавишниковым. Увы, все забывается, даже известные люди...

У одного поэта, немецкого, сказано:

*...Dunkle Cypressen!
Die Welt ist gar zu lustig, —
Es wird doch Alles vergessen...
...Темные кипарисы,
мир куда как весел, —
ведь все забывается...*

Эти стихи любила повторять наша мать...

Да, Рукавишников забыт. И немудрено, с тех пор появилось столько писателей — тысячи! В подаренной мне телефонной книге писательской толстой, столько имен — и почти все незнакомые. Но ведь есть люди, их знающие. И эту тему не здесь поднимать. Имени и фамилии моего спутника я давно не слыхала в устах читателей, и давайте я о нем расскажу.

Представляю.

Когда человек входит в комнату, мы обращаем внимание на его внешность, наружность, манеру говорить, голос, смех. Со мной из тяжелых дверей гостеприимного дома “Узкое” выходит много выше меня (а я чуть ниже среднего роста), длиннородый, еще не седой человек в высокой меховой шапке и, уступая *дорогу* моим валенкам, полурядом со мной, потому что тропинка между сугробов — узкая.

Он шутлив, он галантен. Он много старше меня. По его заостренной бороде длинным клином, серебристые брызги седины. На нем полудлинный коричневый тулупчик с меховым воротом (а на мне — черная плюшевая шубка, о которой речь впереди). Мы смеемся. Тон беседе задает Рукавишников, и этот тон — шутливость. Он — шутлив, он очень шутлив. Его галантность подчеркнута, оттого мы смеемся. Мы стремимся к выходу из сада, это естественно, и это — одна из тем нашего смеха, потому что мы предчувствуем, что там — столько снега, что... собственно, сплошной сугроб! — Поле... И нам придется повернуть назад, и мы будем кружиться, как белка в колесе?

Беседа не умолкает. О том, как вчера наш “хозяин”, поляк, блистательный исполнитель, под звуки рояля, вывел “классическую мазурку”, но он не молод (но разве поляку это мешает в его родном танце?), и супруга его немолода, и ему в этом не пара, а пару, судьбой подброшенную, поляк ведет церемонно, с подчеркнутым уважением, хотя видит отлично, что пара его танцевать мазурку не может, но ведь в том и состоит душа галантности, неувядающая и в наше время, чтобы дама не заметила критики своего кавалера. А может быть, он надеялся, что дама загорится ритмом мазурки, видя, как спутник ее танцует — ? И хоть чуточку лучше станет танцевать? Это, смеясь, сказал мой спутник, а я сомневаюсь в ее таланте к мазурке.

И опять шутка и смех...

В те годы были еще живы и Маяковский, и Есенин, и я радовалась тому, что Иван Сергеевич, несмотря на изысканность своих триолетов, интерес к японским трехстрочиям, отдает должное Маяковскому, для него звучат родными, как для меня, есенинские

*... Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охвачен,
Я не буду больше молодым...*

Кто не повторял тогда эти строки? Кого они не волновали до недр... Все мы были уже не первой молодости, всем звучали “Азорские острова” Маяковского, особенно строка о том, что

*... Жизнь пройдет, как прошли
Азорские острова...*

Этот час проходит тоже, он никогда не повторится, ни этот путь в снегу, ни этот луч солнца над нами, наш путь кончится у ворот, и мы повернем назад, по этой разметенной тропинке, замерзнув, пойдем греться в дом, кончится наша прогулка...

Но я утешаю себя: еще есть “Соловьевская” комната, где у Трубецких жил Владимир Сергеевич Соловьев, где не беседуют, а читают и пишут молча, и мы можем посидеть там молча, после утра оживленных бесед... вместе.

И нельзя не помянуть добром кого-то, кто в Главнауке распорядился для нас в “Узком” поставить во главе наших дней эту чету пожилых людей, — их имена, отчества и фамилии; я теперь, 60 лет спустя, увы, позабыла, но которых все мы, при них жившие, за душевность и ум их никогда не забудем; за то, как они скрасили всем нам жизнь в краткие сроки отдыха — тогда полагалось 30 дней в этом старом доме, людям часто одиноким и переутомленным... Воссоздавали нам почти домашний, у многих в Москве тех лет, отсутствующий уют...

Эта чета пожилого, великолепного воспитания поляка и умной умелой гостеприимной русской жены его, встречавших и провожавших, точно мы — дорогие гости... С какой просьбой ни обратиться к ним — все будет исполнено, давая забыть неприглядность быта тех лет... напряженный труд, усталость...

Иногда Рукавишников рассказывал мне — о роде своем, о романе, помнится, тогда еще не законченном (и, забегаая вперед, была рада узнать на днях, что хоть в Нижнем Новгороде род их не забыли, что есть и поныне там — музей Рукавишниковых).

После обеда (я в ту пору уже была вегетарианкой, не жалела, что мясные блюда и куры не попадают на мою тарелку, убеждала соседей, что без них отлично может жить человек, пусть куры гуляют на воле, а нам без них много лучше для нервной системы, что куда вкуснее то, что называют “гарниры”, винегреты, салаты, каши, компоты...) После обеда я, в Москве не досыпавшая, шла, как и большинство, спать, а после чая, до ужина, склонялась над починкой шубы, забавляясь тем, что никто не может догадаться, чей это мех, под скромной сиреневой подкладкой, его покрывающей, — оттого, что он по старости начал “лезть”... Смеясь, соседки гадали: белка выношенная? Кенгуру?? Нет, кенгуру гуще... может, посветлевшая от возраста лиса? Это была лиса, отрыжевшая, но я так бы своего не выдавала. И никто не мог угадать, что мех этот вынула из сундука моя старшая сестра Лера, Валерия, а к ней он попал из дома Иловайских, первого папиного тестя, где она девочкой росла, и мех этот для тепла подложили мне под мое зимнее пальто, сшитое из черного гладкого плюша, — в гладком я немножко напоминала Трехпрудного кота. (С ним и глаза были сходны, — это сказал мне маленький Женя, сын Бориса Пастернака, сидя у меня на плечах: “У тебя глаза, как у кошки!”...). И когда, истощив свои догадки, люди, как говорят французы, — *Le donne ma tangué aux chats*, что значит “сдаюсь”, — я с торжеством говорила: “Это мех историка Иловайского!”

А когда вдруг вечером хотелось еще подышать зимним воздухом, как-то так получалось, что я выходила в темный сад, освещенный уютными фонарями, опять с Иваном Сергеевичем, и мы бродили, утопая валенками почти что в сугробах, и говорили — разве вспомнишь, о чем?

Но уже кончались мои две недели, мои полсрока, на которые выпросил меня из библиотеки Музея, сговорясь с председателем ЦКБу, мой брат Андрей Иванович Цветаев. Я собиралась в Москву, а мой спутник по прогулкам оставался до конца полного срока еще на 15 дней. Сборы, укладка, расставание... Но брат, увидев меня, сказал: — Ты мало поправились, надо похлопотать — еще... И, едва окунувшись в работу библиотечную (мне — нудную, потому что писать хочется...), вместо тетради (продвинутые в “Узком” главы фантастического романа “Музей” — забегаая вперед — никогда, увы, свет не

увидавшего...), вместо неги труда писательского — почти две недели библиотечным почерком — библиотечные карточки. Не надеялась, что брату удастся. Но — весть: “Послезавтра едешь еще на полсрока! Собирайся! Чтобы до весны — поправиться!”

И снова укладка вещей... Радостно! Завтра свезу сыну в приют усиленное питание...

И вот я стою в теплой передней Дома отдыха “Узкое”, в их веселом морозном саду. Мне опять будут делать уколы мышьяка, еще банку меда с алоэ... Поправитесь! И, может быть, Иван Сергеевич еще не уехал?

Суета отъезда одних и приезда других, уж к обеду зовут...

Стою в очереди маленькой.

— Еще на две недели путевка? Отлично! Как раз угол освобождается, где Вы жили. Туда и поместим.

— Цветаева? Цветаева. Уезжает? Приехала!

В четвертую! *Уезжает.*

— Я не уезжаю, я только что...

— Не Вы! Не Вы, не о Вас!

— Ну, да, в ту же комнату...

Фамилия моя уж очень густо стоит в воздухе. В чем дело? Закрадывается сомнение: может быть, что-нибудь не то с путевкой? Не на те числа? Но — торопят. Ничего не пойму. Отчего такая суета? Стою на пороге знакомой комнаты (в те времена в каждом углу — по кровати).

Но в моем бывшем углу, где я жила две недели, — женщина. Чуть, может быть, постарше меня. Не уезжает? Ошибка? А я уже притащила чемодан с рукописями и узел с теплым. Стою в нерешительности. Но женщина не спеша укладывается.

— Это Вы сюда? — обращается она ко мне.

— Да, я, Цветаева...

— Это я — Цветаева! — говорит она с медлительной надменностью.

— Какое-то недоразумение? — пробую я осторожно.

— Вы — приехали? Вы — Цветаева?

И, охватив меня холодом рассматривающего взгляда:

— Не похожи Вы на Цветаевых!

— Здравствуйте! — говорю я, пытаюсь — приветливо.

— И прощайте! — отвечает Цветаева. И, подняв более щегольской, чем мой, чемодан (но тоже не новый), готовится покинуть наш общий угол.

Я протягиваю руку — Анастасия Ивановна...

Не сбавляя надменности, та сухо жмет мою: — Любовь Андреевна! Нет, Вы на Цветаевых не похожи...

Снизу крик — торопят уезжающих...

... Не увижу я Рукавишникова!..

Она выходит, с одним чемоданом, а я тащу свои вещи, прислушиваясь: да, тихо внизу, — уехали. Да и смешно было бы, лететь, обегая ту, вниз по лестнице, чтобы один миг его увидеть, — девочка я, что ли?

Как хорошо, что она ушла, милая грубиянка, но юмор мне не дает покоя: в ее повадке есть что-то Цветаевское... Почему я думаю о ней — милая? Наверное, потому, что немножечко ее жаль, что она — такая, что она не понимает, что не стоило себя так повести... В ней что-то 14-летнее мое, или даже моложе..., что-то Цветаевское! Но мысль о Рукавишникове вытесняет мысль эту неприветливую. И я спрашиваю о нем в комнате — женщину-писателя, приехавшую две недели назад, когда я уехала. Она прожила с уехавшей две недели, она тут не месяц.

— Да, он только что уехал. Он Вам нужен? Позвоните ему по телефону. Эти дни он был испорчен, теперь починили. Или на собрании увидите в Доме Герцена.

И я пошла вместе с вновь прибывшими вниз, в столовую. И тоска вдруг взяла — о моем 12-летнем сыне Андрюше. Только раз его увидела, за эти недели, сероглазика моего, родного... Я больше не нашла такого веселого спутника по зимним прогулкам, гуляла с кем пришлось по дому, здоровья ради.

Сидела в большой тихой, немой Соловьевской комнате и писала, писала свой психологически-фантастический роман о нашем Музее. Фантастика началась не из головы, а как было на деле, с первого дня, когда, не зная, чем меня занять, Николай Ильич Романов, профессор, директор — обо мне только знал, что мы с Мариной как по-русски говорили, с детства, по-немецки и по-французски, в пансионах учились за границей, поближе к лечившейся матери. И он повел меня вниз по винтовой лестнице, в подвальное помещение, куда сложили партии иностранных старинных книг. В подвале, между глубоких амбразур странной формы окон, стояли безголовые рыцари в латах — фантастика начиналась сама. Показав мне кипы книг, листы бумаг, чернильницу, Романов просил составить списки названий — собственно титульных листов. Извинился, что тут сыро, но это только сегодня, завтра он познакомит меня с заведующей библиотекой... Откланялся и ушел. Этого человека я знала с детства, он постоянно бывал у папы, он был все тот же, но серебром покрылась голова и борода — длиннее. Он выплыл сам собой в герои начала романа...

Книги лежали толстыми кипами, немецкие, французские, я погрузилась в порученное задание. Удивительная тишина царила в подвале. Шорохи — изредка. Мыши (я не боялась мышей. Вот если бы змеи — даже одна, даже невинный уж...) — а мыши (или это о крысах было — епископ Гаттон? Воспоминания детства...), мыши могли быть страшны только во множестве, а одна маленькая, чем-то шуршащая мышь сама меня, как великана, боявшаяся, придавала только уют. Это, собственно, очень маленькое подобие кошки, — ушки, трепетные глазки, крошечные.

Мама в Тарусе любила летучих мышей; она любовалась ими... Так, чувствуя, что время летит, однако работала пристально, часов не замечая. Какой-то далекий крик... как он шел к этому подземелью... А когда я опомнилась, вспомнив, что сегодня — после работы — меня ждут на именины к подруге, к Мещерским, — на часах было 3. *Опоздала!* Собрав спешно перо, чернильницу (хорошо, что было светло), я поспешила мимо рыцарей к винтовой лестнице, но, войдя ко ней, уперлась в запертую дверь. Не поверила, проверила, поставила на пол чернильницу... да, заперта, я заперта в подземелье; Музей, должно быть, закрыт — тот крик, окрик, что, может быть, обходили залы — вахтеры? Что же делать теперь? И меня ждут у Мещерских...

Что делать? Я *должна* выйти... Меня *ждут!* Так идиотски заработаться, что в первый же день пересидеть всех... А меня просто забыли! Кто мог думать, что я не кончу, как все — все же знают, что в три часа работа кончается... Застрять тут, на целую ночь, с этими рыцарями и мышами — спасибо! И я принялась действовать: прежде всего надо отломать металлическую ручку двери — больше ничего твердого — нет. Для этого — вертеть ею до одурения, чтобы она отломилась. И затем ею выбить вот эту фанеру, вставку фанерную в двери. И через нее — вылезти. Да, но *начало* фанерки, низ ее — у моей груди. Как же я так высоко влезу? Ум подсказывал: стать на будущий остаток дверной ручки, тогда можно вылезти...

Сколько я трудилась над дверной ручкой? Жаль, я не поглядела на часы! Долго! Рука устала, а ручка — не поддавалась! И все-таки, она поддалась! Ликование! И тогда я начала колотить ею — в дверь. И тогда — тогда повторился тот Fulenschrei (крик совы), который я смутно слышала в разгаре составления списков. Я стала бить ожесточеннее, почуя близость избавления, и вдруг вылетела фанерка! Она пожалела меня! Но совиный крик, повторившись, смолк (вахтер, наверное, ищет ключи. Он понял, что человек закрыт!). Как трудно было влезть на обломок дверной ручки! Как высоко! Но не даром есть поговорка: “Терпение и труд все перетрут!” Я *влезла*.

Но можно с нее *слететь*, и даже очень просто — а чтобы не слететь, надо было одновременно со всем усердием ярости — уцепиться за край дыры от выбитой фанерной части двери, согнуться “в три погибели” (зажав подмышкой свою дамскую сумочку), где были ключи от дома и флакончик одеколona в

подарок подруге, кошелек и прочее. Выдавила себя из двери с одновременным прыжком за дверь. И тогда навстречу моим стукам в дверь — пришел вахтер... На свободу выпущенная, опаздывая немного к Мещерским, я пошла, хорошо, что близко! — к Романову, к директору Музея извиниться, что я в первый же день работы, переусердствовавши со списками, поломала музейную дверь. Директор извинился передо мной, что не предупредил меня, — нет, что не предупредил вахтера, что в подвале работает сотрудник... Итак, мои герои — директор Музея и дочь его основателя кланялись друг другу, как Бобчинский и Добчинский. И это была 1-ая глава романа “Музей”. А потом — а потом в нем было столько глав, я его уже писала несколько месяцев, всегда ночью, потому что другого времени не было, и я пока никому его не читала и не рассказывала от суеверного чувства, что он вдруг не удастся. Жизнь Музея — уже не папиного, не Изящных искусств, а Изобразительных — накалялась и накалялась (я стенографически вписывала туда сцены из производственных совещаний — они сами по себе были главами романа), речи об искусствах — экскурсоводов, и все события общественной жизни — наперебой. Главы! Пока, наконец, когда вода дошла до ступеней Музея, — он, подождав еще немного, тяжело колыхнулся, как огромное косолапое животное, — и поплыл... и уплыл из Москвы. Он — в романе приплывет в Дельфы, в священные места... С ним по дороге, как с Колумбом, приключатся восстания против Бориса Михайловича Зубакина, профессора-археолога, по матери — Эдвардса, который, зайдя в Музей за час до закрытия, увидев, к чему идет дело, принял команду и направил Музей в Дельфы, и низшие сотрудники, уборщики и гардеробщики, — учинили восстание, как на корабле Колумба, против Эдвардса с его священными Дельфами — и вот как профессор Эдвардс, маленький человек в черных кудрях, импровизатор стихов, лучше Адама Мицкевича, и скульптор, и художник, гипнотизер, которого в насмешку писатели, его ненавидевшие, равняли с авантюристом Калиостро, — как он это восстание усмирит — мирнейшим изумительным способом — вот это я, сидя часами в комнате Соловьева, обдумывала, наслаждаясь ростом романа... Я иногда даже пропускала часы гуляния, успокаивая совесть свою тем, что не прогуляю уколов мышьяка и что не по силам без помощи Рукавишникова гулять между сугробов...

Но точно нарочно так было устроено жизнью, что меня в первый приезд мой в “Узкое” спутница по комнате не знала, приехала после меня, и рассказывала мне о той Цветаевой, не зная, какие чувства могла пробудить во мне своим рассказом:

— Да ничего интересного, нас сторонила — гордячка! Все в Соловьевской комнате сидела. Только с одним разговаривала из писателей: длиннородый, немолодой — Рукавишников. С Волги он, говорят... С ним все ходила гулять. А как в комнате — все одним занималась: шубу свою чинила... — Какой всплеск юмора, веселья, признания той Цветаевой! Чувство родства с ней... Только пришло мне в общую квартиру, десятилетия спустя, где я проживала, письмо неизвестного адресата, Цветаевой Любви Андреевне. Где-то справившись, я узнала, что работает она, как и я, в Наркомпросе и по этому адресу я заказным переслала ей заблудившееся письмо...

“Дворец Искусств” — так тогда называли (теперь — ЦДЛ) последний дом справа — если идти с Арбата по Поварской, почти у — тогда Кудринской — теперь Площади Восстания, где уютно в скверике сидит в кресле каменном Лев Толстой, — говорили тогда, навек поселился у воссозданной им Наташи Ростовской — дом Ростовых, твердит Москва. И хотя нам с Мариной отец этого не твердил, владельцем называл графа Сологуба будто бы, но я, подымаясь по ступенькам этих, по-старинному причудливых лесенок, я представляла себе, что мне не 30, а 14 лет, как Наташе Ростовской. И шаг мой легкий, светел, беспечен, как в этом блаженном возрасте...

В этом доме, в одной из его комнаток, лежит больной Иван Сергеевич Рукавишников, я пришла его навестить.

Зима на исходе, но инфлюэнца, как тогда говорили, держится (я еще не встретила с гомеопатией, а то бы подняла его в два счета), у него жар, небольшой, но упорный, — и неудивительно, я же ношу

ему аллопатию, прописанную врачом-аллопатом... Иван Сергеевич покрыт, — кто подарил чудо такое? — вязаным одеялом, и по нему, не совсем частое зрелище — бегают — в узор вязанности, три или четыре котенка, маленьких, пестрых, под цвет одеяла! Они на нем — играют? И когда больной подтягивает на себя одеяло, было свалившееся, вместе с ним въезжают ему почти до плеч, и веселье, и зрелище — умильное. Он, видимо, любит кошек? Потому и принесли ему их? Кто? И чем он их кормит? Видимо, угощает, а кормят те, кто на ночь-то унесет их, надеюсь?

С того дня — лет 60... лет, на 10 больше, чем тогда было больному, которого уже давно нет на свете, а я живу и день этот помню, и не так это просто — забыть...

Иван Сергеевич рад мне. Подвигается к стенке, чтобы я села рядом, он тепло и радостно шутит, большой своей рукой гладит котят маленьких, им надо — печенья, да??

— Да, Настя? Печенья? Котята едят печенья?

И то, что на этот вопрос никто не может ответить, вызывает, как и в “Узком”, смех, дуэтом. Никто, кроме котят! Они — знают! И мы кормим печеньем котят, и мелко им его рассыпаем, и это уже не одеяло, а одеяло с печеньем, и нам кажется, что это не только нам, а и котяткам, а может быть, и одеялу это — смешно...

Смех — вперемежку с мучительным кашлем, он преодолевает его. Как неестественно, что мне сейчас надо уйти, потому что — поздно и завтра — в Музей... Но еще немного можно побыть, и от этого весело, и нет никого веселее в России, чем мы, соревнуясь с котятками...

... Андрюша мой еще в приюте, там хорошо кормят, — там, где они живут в маленьких старых домиках, большой сад, их учат не только русскому и арифметике, а и ремеслам, надо же мне о ком-то заботиться, — матерински...

Градусник, чай, таблетку... Поздно, надо идти! Не уходится! Но завтра я опять приду. Я не одного его оставляю, он меня познакомил с братом — Митрофан Сергеевич, скульптор. К Ивану Митрофан нежен, его чтит, и так же нежен почему-то и со мной.

Мы прощаемся, что-то почти семейное по теплоте доверия друг к другу, почти что уют...

Болезнь была недолга, но она нас сдружила, Иван Сергеевич стал бывать у меня. Я тогда жила в общей, но небольшой квартире, в Мерзляковском переулке, на четвертом этаже, без лифта, и он бодро всходил ко мне.

В тот год он по уши был увлечен темой, о которой писал — историей своего народа, волжан. Рассказ его не был последователен, но, вспыхивая урывками, он так много давал, так воссоздавал реальность бывшего, что я, слушая, думала: если бы он мог так писать, как рассказывал!.. Но это, видимо, невозможно: я по себе знаю, что в устном рассказе и в мире раскрытой тетради действуют совсем различные законы...

Иногда, если приход его ко мне был вечером, после целого рабочего дня, он укладывался уютно на старую огромную тахту, доставшуюся мне от Аделаиды и Евгении Герцык, в тяжелые годы не возвращавшихся в Москву, утвердивших свою жизнь в Судаче. И это писательское “наследство”, занявшее чуть ли не полкомнаты, придавало особую странность моему жилью.

Я несла ему чай или какао, которым так щедро награждала в те годы Россию Америка, в своих посылках советским писателям “АРА”, вместе с рисом, галетами, салом и иной питательней снедью. Были и другие посылки — вещевые, дарившие шерстяные фуфайки, свитеры, безрукавки, толстые мохнатые носки, и однажды мне через Союз Писателей выдали плотную шерстяную материю на платье, в котором смешались два цвета — темно-зеленый и черный. Дар был великолепен, но на портниху денег не было, и я сама, как смогла, скроила и сшила себе нечто подобное платью, тяжелое, теплое, с большими карманами, неоценимое сокровище в годы, когда не действовало в домах отопление, по комнатам стояли печурки, так ненадолго нас нагревавшие. А в Музее, когда лопалось от мороза отопление, мы работали, укутанные, и я писала библиотечные карточки — в перчатках. Это мое сокровище обратило на себя внимание Ивана Сергеевича.

— Видно, что я сама? Наплевать! В нем так тепло в Музее! Бывало и три градуса...

Мой гость это все понимал, но, не привыкши к носильным вещам, сшитым не по стандарту, он — с умиленной шутливостью на тоненькую полоску темного бархата в месте, где, по идее, долженствовал быть обшлаг:

— А это — зачем? Чтоб — смешнее? — И, целуя руку: — Ах, Настя, Настя, если бы Вы серьезнее относились к моему желанию внести изменения в Вашу жизнь...

Все, интимно, с детства (и — по старости!) звали меня “Ася”, он один (кроме начальницы гимназии, где я училась в 3 и 4 классах, Варвары Васильевны Потоцкой, не знавшей моего домашнего имени), он один звал “Настя”, и я позволяла, не спорила. Это было мило, смешно, непривычно, точно из его романа о старине... И все больше входило серьезности в его шутливую тему брака, пока, наконец, он не поставил вопроса всерьез. И тогда я поняла, почему ко мне в Музей, в библиотеку зачастил заходить его брат, Митрофан Сергеевич...

Это тоже было, как из романа: я — в роли невесты. Мать 12-летнего сына, 30-летняя женщина, всю революцию, всю разруху работавшая, как и Марина (за два года до того уехавшая к нашедшемуся после войны мужу, в Чехию, получив о том сведения от Ильи Эренбурга), все эти долгие годы “За мужика и за бабу”...

И свадебный разговор у нас получился “на славу”.

Я, к этому возрасту моему, твердо уже убежденная, что лучшая форма человеческих отношений — дружба, сказала в ответ так ласково, как могла.

— Иван Сергеевич, голубчик, помилуйте! Мне — замуж! Как же я могу, в мой до отказа переполненный день — служба, 5 общественных нагрузок (чтобы удержаться в Музее, я же там принята сверх штата, за папу, я не имею никакой специальности по искусству, только то, что пишу и что языки знаю) и заботы о сыне и вечная трепотня по хозяйству — что-то достать, очереди, связать — да еще включить Вас в мой день, — оно же никак не получится! Дорогой мой Иван Сергеевич...

Но, терпеливо дав мне сказать всю эту речугу, он уже больше не мог.

— Как! — воскликнул он возмущенно, — неужели Вы думаете, Настя, что если бы Вы стали моей женой, я бы дал Вам — работать? Позволил бы Вам... — он не договорил.

— Как! — вскричала я, — чтобы мне стать безработной?.. Когда я из Крыма приехала, я с таким трудом встала на биржу труда...

Вы же не знаете, как это было: чтобы стать на биржу труда, надо было быть членом профсоюза, а чтобы стать членом профсоюза, надо было числиться на бирже труда... Я совсем запуталась, я не знаю, как другие это преодолевали, но мне помогло только то, что я по одним документам числилась Цветаева по отцу, по другим — Трухачева, по мужу, а потом, в какой-то решительный миг, когда было уже все совсем непонятно, мне кто-то посоветовал, я предъявила в какое-то окно бумагу, где стояло: Цветаева-Трухачева... И тогда вдруг получилось...

Это так дико было, так сложно... Но все-таки я это все одолела и теперь стать — женой?.. И жить — на чужой счет?..

— На чужой? — закричал Рукавишников, — но какой же чужой, когда — муж?!

Кто из нас прервал этот дуэт? Скоро ли он понял безнадежность разговора, всю глубину “испорченности” данной женской души, эмансипации так крепко коснувшейся. Взяли свое долгие годы нужды, мужской привычки к труду, к ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь сына. Поворот назад — невозможен... А может быть, как старший меня, как писатель, психолог, он уловил в ответе моем, несмотря на полушутливость его, мою твердость в моем одиночестве, решенный мой невозврат в лоно семейной жизни и уход от сексуальной близости? Себе это все объяснив еще и фактом сына — подростка и почуяв в тоне моем, что я не пойду дальше дружбы и, не желая потерять ее, он с удержанным вздохом остановил себя на том тоне уюта, веселья, полусерьезной, полушутливой нежности, в котором, странно сказать, наши отношения сложились с первого дня знакомства, сами собой. Иван

Сергеевич продолжал бывать у меня — правда, немного реже, и реже ко мне стал заходить на работу Митрофан Сергеевич, его брат. И неуловимая грусть селилась во мне, и не уходила, и таял уют, было к нам заглянувший. “Ну, что ж, — сказала я себе, — так и должно было стать... Он хотел меня к себе в собственность...” Я не взяла его на руки, не отдала за него, за прочность, за брак, за семью — горькую мою нужду и свободу быть ничьей, дружить — по-разному с каждым, никому не давая отчет. “И так хорошо, — утешала я себя, как старшая — младшую, — что не впутался в дружбу эту проклятый секс с дьявольскими своими сложностями, что не загрязнилось ничто... Что осталась я девочкой для него, не женой, не женщиной — чем-то, чем никто не станет ему! Так и будем друзьями, нежными, пока не встретит он женщину, девушку, которая оценит то, что он предлагает... Шаг вперед — и обе руки — в его руки, а не шаг назад, руки за спину, как я... Не захотев носить платья, как все жены, осталась в моем самодельном, — только АРА за него благодарна, не человеку...”

Но не только печаль вкралась в меня, а и новая радость во встречах с Рукавишниковым. Что-то чуть пугавшее миновало. Отношения стали спокойнее, как устоявшееся вино.

Что-то теперь принадлежало нам, никому не принадлежавшее, что-то *наше*, ничье больше, ни на кого не похожее, каждая встреча — не в ряду встреч, к какой-то одной ведшая, драгоценной теперь могущая быть и — последняя? Ведь не мы решали теперь — жизнь! Вольная повести себя так, что откинет — следующую... Не путем всех пошедшие, мы уже разомкнули руки: тем, что не сомкнули их, как все! Я глядела на него теперь, как на утраченную драгоценность. Чужую! Из рук выпавшая, чтобы попасть — такая родная! — в совершенно чужие руки, они унесут его, как свое, никому не покажут, — только сегодня еще он твой, наглядись!

Я тогда не задумалась, а теперь только, — над тем, как он тогда на меня смотрел. Думаю, много проще. Видя мою нежность к нему, вместе с отказом, он не думал о том, что я буду с другим. Будь я на десяток лет младше... Но в 30-летней мне он видел и опыт жизни, и характер и волю. *Решенность* вопросов в нем, старшем, не улежавшихся еще, еще ждущих — спутника, спутницу — в то время, как во мне этот вопрос был отторгнут, чем-то другим заменен. Чем? Думалось ли ему, что тут где-то реет — религия? В те годы еще обетом не выраженная, позже вступившим в жизнь. Что я была сдерживаема тем, чего обет является — именем. Безымянностью любопытная. *Чему-то* — служащая безымянность. Могла бы быть притягательна — но иному наблюдателю, чем он. Он был проще — добрее и чище.

Что гадать! Этих поздних мыслей и чувств — их тогда во мне не было. А были ли в нем — кто же теперь нам скажет?

И был день в Музее, когда — почтительно, издали мне поклонился его брат. Как чужой.

Что-то сжало мне сердце... Ну, и — отпустило. Да, я за собой не знала вины. Я ему оставила всех женщин, кроме меня. Сколько женщин!..

Шли недели, месяцы. И хотелось бы сказать — “переходя в годы”. Но я не помню, годы ли. После лета, такого же жаркого, как морозна была зима, после двойного отъезда: Ивана Сергеевича — куда-то, моего — в то же “Узкое”, пришла осень, и он долго не шел, не встречались мы и в Доме Герцена, на собраниях. А потом прошел слух, что Рукавишников женился. Женился, да? На молоденькой? Красавице? — Да нет... Не красавице? А вот это — достойно... Значит, не тем женился, — душой... Что же, надо поздравить...

И пошла себе жизнь шагать...

А потом мой сын вернулся из приюта, стали мы вместе жить.

А потом сына родила жена молодая Ивану Сергеевичу. Донеслось, радовался... Племянник у Митрофана Сергеевича. Роду прибавилось у Рукавишниковых, у волжан... Новая глава в хронике семейной появится... Тут вот уже годы шли.

Напрягаю память: туманно мне помнить, что виделись мы... Чем-то не был доволен, будто... А потом заболел мальчик. Лет семи? Огорчался очень отец...

Я молилась Богу о здравии отрока — за столько 10-летний погасло во мне имя... Мать будто Зоей звали. А сын? Что молитва моя, чужой женщины? Вот молилась ли мать? Слишком молодая, может быть, дитя века сего, чтоб молиться? А молитва матери со дна моря достанет... так в старину говорили... Матушка Старина, — предки, помолитесь, вместо матери, отмолить...

*...Dunkle Cypressen!
Die Welt ist gar zu lustig,-
Es wird doch Alles vergessen...*

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ ПАНТЕЛЕЙМОНЕ РОМАНОВЕ (1936-37-й)

*Посвящается памяти
Антонины Михайловны
Романовой*

Меня в только что написанной строчке, заглавии возмутило слово “писателе” — точно без этого слова... Но тут же пришел ответ: на Руси, той Руси, о которой он писал — “Русь”, роман его, — настал и уже проходит 1987-ой год, писателей адреса с телефонами составили толстый том! — может быть, кто-нибудь и не знает ныне, что такой был писатель, — читают новинки! — потому перо мое само собой написало в заглавии это слово... Ведь не 19-й век теперь, когда писателей были — десятки, а не тысячи, как ныне, — да простит мне Пантелеймон Сергеевич это смешное ему уточнение! Ибо хоть, может быть, и забыли его, не оттого ли я о нем начинаю — и хоть разное я о нем напишу, — но был он, это надо помнить прежде всего, — как говорили тогда, — “писатель Божией милостью” (и опять, для новых времен, пояснение: “природного дарования писатель”...).

Но я, может быть, на десяток лет всего моложе его, по занятости дней моих — переживая бесхлебные времена, растя сына, — имела мало времени читать книги, а если уж урывала время, — то книги английские, по специальности, — и в то лето, 1936 года, я сидела на террасе старого дома писателя Александра Эртеля в его Эртелевке, доме отдыха, в серый денек, с книгой, и книга эта была впервые в моих руках — книга Пантелеймона Романова — как же она называлась? односложное или двусложное слово, женского рода. Да простят моим без малого 93-м годам это забвение, где-то летит в мозгу, — лови его, как Жар-птицу! но именно с нее, с этой повести начинаю я воспоминания об авторе, жившем, как и я, в Эртелевке, и там давшем мне ее прочитать.

Я ошиблась: до повести этой я прочла тут же маленький рассказ “Печаль”, и только от присутствия автора не позволила себе посмеяться, потому что в этом рассказе “шла речь” об одиночестве человека, ушедшего в лес, и там, не имея друга, рассказавшего свою жизнь — пню... Мне помешало смеяться еще то, что это был любимый рассказ (от кого-то я это узнала) жены Романова, Антонины Михайловны, милейшей и остроумнейшей женщины, к которой я сердечно привязалась за короткое время вместе.

— Значит, я чего-то не поняла в этом пне... — сказала я себе без юмора, — с вечной моей иронией лезу, куда и не надо... Значит, ее душа чище моей, она уловила лирику там, где мне ее не было...

Впрочем, в прошлом жена его была — балериною, человеком другого мира, совершенно иной среды, и имела полное право иначе воспринимать литературу и ценить в ней другое, чем я.

В этот серенький день я читала, одна на террасе (куда-то все разбрелись, да и мало их было, в доме дочери Эртеля всего 7 комнат), — я, читая, скучала, фабула не развертывалась, тема не увлекала, я уж была готова внутренне произнести приговор, — когда — внезапно, с какой-то из средних глав, все внимание, было потухшее, насторожилось, крючок упал в петлю — и началось, как, пожалуй, у Достоевского, совпадение внутренних соответствий; оно все углублялось, все ширилось, вниманье могло еле услезивать действие! И тайный восторг перед подачей истинной жизни изъял меня, нацело, из дня.

Меня не было. Я была там, о чем автор повествовал с удесяттеренным вниманием, с мастерством, давно уже не встреченным... События разворачивались с невиданной силой. Но строк уже не было видно, был вечер. Лил дождь, в окнах светились лампы... Я шла в дом, как во сне.

От кого узнала Антонина Михайловна, что я смеялась, прочтя “Печаль”? И мою скуку, долгу, над началом и серединой повести? И как ни старалась она скрыть свое отношение ко мне, она неуловимо выражала его (мне — явно). И я загрустила. Так длилось недели две, может быть. Ее настороженность не прошла, может быть, и тогда, когда я выразила свое высокое одобрение к концу повести. Ей хотелось сбросить мужа от моих мыслей о его творчестве. Она не верила мне. А Пантелеймон Сергеевич, наоборот, как истинный писатель, все более приглядывался и прислушивался к критике, ко мне.

Пораженная двойственностью моей над его страницами, продолжавшейся и в других его сочинениях, я стала чаще задавать ему вопросы, жадно слушала какую-то неумелость его ответов, на разной глубине звучащих, и мало-помалу стало выкристаллизовываться во мне представление об удивительном слиянии его мастерства с его недостатками писательскими. И закрадывалось в меня подозрение, что, должно быть, в нем для писателя попросту не хватало уровня образованности. Превосходно описывая психологию детей и подростков дворянской семьи, он, где-то в имении родительском, укладывал их спать на сундуках, в проходной комнате, чистосердечно не представляя себе нелепость отсутствия комнат, именуемых “детскими”. Отлично поданная — характером и живостью психологии, героиня его повести или романа баронесса Нина входила в гостиную с перчатками в руке и небрежно клала их на стол (вместо подзеркальника передней), и само слово “баронесса” повторялось столько раз, сколько мелькало ее имя, как будто недостаточно было читателю один раз услышать его. Ведь “для себя” его героиня ощущала себя — кроме как в официальных ситуациях, просто Ниной, каковой она и для пишущего о ней должна казаться. И то, что этого, почему-то, не происходило, вносило туманную путаницу в описание ее действий, привычек, круто мешавшую глубине его проникновения в ее душу...

И много путаницы мне в себе, как в читателе, и рождавшемся критике, пришлось испытать, распутать и преодолеть. Пока я, наконец, в конце лета, в которое я читала только этого автора, почувствовала не только право свое, но и долг, несомненный, откровеннее с ним говорить и советовать необходимые изменения. Товарищески, дружески помочь ему осознать те несовершенства, мешавшие таланту, — поистине “Божией милостью” — засверкать на уровне, ему принадлежавшем по праву, стать в первом ряду русских писателей — но как много для этого требовалось преодолеть!

И вот тут — в том ли упорстве, с которым я говорила осудительные вещи ее мужу, в том ли упорстве, с которым он, побеждая первичную, мещанскую гордость, слушал меня, в какой-то, должно быть, день, как нагретая стеклянная трубка, перегнулось отношение ко мне Антонины Михайловны, почуввавшей пользу, а не вред мужу во мне... И стали мы с ней — друзьями...

К концу лета между Пантелеймоном Сергеевичем и мною установилась прочная деловая дружба. Я медленно прочитывала его рассказы — их было много, читатели считали его юмористом и, не читав его повестей и романов, не подозревали, какое сокровище истинного таланта крылось среди его классовых незнаний, недочетов и ошибок, наскочив на которые, многие, может быть, и переставали его читать. Имя его было известно, но в более высоком интеллигентском кругу, к которому он по рождению не принадлежал, о нем не говорилось всерьез. Тем с большим усердием вникала я в его творчество, мечтала — и об этом мы с ним говорили — следующие издания очистить от наивных его неполадок, их просто выбросить, и явить талант в его настоящем виде, которому тогда смогут позавидовать те, кто, не разобравшись в социальных причинах его ошибок, позволял себе смотреть на него свысока.

Этот среднего роста человек с типично русской наружностью, неправильными чертами, не имеющий не только светского, но и интеллигентного воспитания, обладал пламенным вниманием к миру, глазом, ухом на жизнь, брался за глубину проблем, роднивших его с Достоевским, как в том конце вдруг развернувшейся повести, с которой я всем вниманием и восхищением довернулась к нему — автору. Безошибочно с какой-то главы стали психологические законы расцветать в неминуемые соответствия, и

вскрылись вдруг причины поступков, озаренные той правдой жизни, что драгоценнее всех головокружительных фабул. Что перед этим его промахи, мелкие непонимания ребенка среди взрослых — именно им он и был в среде умудренных писателей интеллигентного круга. Многим из них, правильно осматривающимся в социальной, той или иной среде, не хватало основного, чем так богат был он, — истинного слуха на мир, таланта участника. Памяти на пережитое и сочувствия горю (заменяемые гладкостью речи и даром притворяться участником...).

Некоторых больших повестей и романов у Романова с собой не было, и мы строили планы, как с осени будем встречаться по выходным дням и работать с каждой книгой, которую я, в занятости моего английского преподавания взрослым, буду глотать в транспорте (единственное мое время запоем читать). Только что нам стали подарком вагоны метро (яркий свет, относительно мирное их качанье в полете по туннелю, равномерность остановок, — в 1935 году, если не ошибаюсь, прошла I-ая очередь Московского метрополитена). Последним нашим трудом будущим брезжилась впереди его “Русь”, только что, кажется, законченный длинный роман, чуть ли не 5-томный.

И хочется сразу мне, забегая вперед, с позиции 1936 года, теперь, в 1987-м, в мои 92 года, сказать (когда Романова, увы, давно уже нет, а я все живу), что удались эти планы, даже с “Русью” удались, — что так редко бывает в жизни, — удались в обрез в то время, когда пришлось нам, нежданно, — расстаться...

Но не будем спешить вперед. Перед нами еще целая осень 1936 года и целая длинная зима 36-37 годов, дни встреч у меня в Мерзляковском, дни, вечера труда. Мы так дружески работали, может быть, как только Ильф и Петров (кто из них писал, кто подавал советы?), — только помню: никогда мы не спорили...

Но и это — еще впереди. Пока стоит лето, и порой я, устав от напряженности чтений, заметок, поправок, предложений по сокращению, уйду отдохнуть в глубину огромного Эртелевского сада, ложусь в гамак, раскрываю английский роман (о них идет молва, что они, после сложностей и передрыг романтической жизни кончаются всегда хорошо — что не точно!) и “уезжаю” воображением из Эртелевки, из ЦЧО (Центральная Черноземная Область), в — Англию, предаюсь восхищению тем, что, не будучи знаменитыми, писательницы 19-го века, английские, так тонки в понимании психологии, так чисты, так искренне романтичны, словно на корабле увозят нас в страну чувств, надежд, влюбленностей, ожиданий и предвкушений встреч с удивительным — словом *anticipation*, что так точно описала Софья Парнок в стихах своих:

*Не поцелуй, — пред поцелуем миг,
Не музыка, а то, что перед нею...*

Я в Англии, той, старой, доброй... но и в Эртелевке, откусывая — которое уже? яблоко, горкой лежащих рядом со мной в гамаке (в 40 лет я съедала их по десятку, ныне — по одному...).

Из русских писательниц — тонкостью и чистотой вровень с английскими назову только одно русское имя тезки моей: Анастасия Крандиевская. Книга ее “То было раннею весной”... какое очарование мечты, предвкушения истинного любовного чувства...

Но было еще одно дело в моих днях, меня отрывавшее в то лето от чтения Романова, — это переписка с Борисом Пастернаком, его письма мне о переводе моей сестрой Мариной ее русской стихотворной сказки “Молодец” на французский “Le Gars”, его, Бориса, потрясение мастерством Марининым — “я никогда бы не смог такого” — при всем высоком знании его (как и нашем, с детства) языков, — как сумела Марина свою сказку, и по-русски написанную (по моему определению — “как бы растертой пылью слов”), — перевести такими же полусловами, французскими — смесью старины и новаторства! Она присылала ему отрывки, а книгу эту должна была проиллюстрировать художница Наталья Гончарова...

Увы, эти планы — не удались! С наступлением очередного капиталистического кризиса отпал этот фантастический план, “Le Gars” не увидел света, и надолго во тьму кануло это высочайшее чудо переводческого искусства.

... И я погружалась в прозу Романова, в очередную его повесть о краевом музее, где пылала сама жизнь! Но — снова несоответствие! — вечерами, после работы во встречах сотрудников он описывает скорее каких-нибудь акцизных чиновников за бутылкой водки, с закуской, чем полубезумцев — каждый увлечен своим! — музейных работников.

Проработав восемь лет в Музее изобразительных искусств, я видела среди них столько фанатиков! И я ласково втолковываю это Пантелеймону Сергеевичу, и мы правим, урезаем, переделываем...

Однажды я вошла в комнату, где при свете уютной керосиновой лампы Антонина Михайловна продолжала начатый без меня рассказ:

— ...Девочке этой шел шестой год. Она была на год моложе своего брата, но куда ему было тягаться с ней! Он был увалень, добрый, ленивый малый. Читал еще по складам и к книгам откосился с вполне понятным изумлением — чего в них хорошего, когда там все непонятно! — растяни-ка слово по складам, где там смысл! Он, по-моему, даже жалел тех, кто читает книги... Звали моего воспитанника Вовкой. Но сестра его Зиночка, читавшая бегло, понимавшая все с полуслова, доставляла мне больше хлопот. Видимо, для того я и была приглашена в дом, чтобы мать могла возложить на меня все заботы о воспитании детей и заняться гораздо более ее интересующей прелестью светской жизни!

Я прислушалась. Мне нравился ее тон. Антонина Михайловна продолжала:

— В первый же день мой в доме — я была молода и неопытна — я натолкнулась на такую сцену: устав, видимо, от своей дочери, мать за какую-то провинность поставила ее в угол.

Все в этом углу было испробовано: продырявливайте обоев, скаканье на одной ножке, тоненькое пенье (когда мамы не было), жалобный плач (когда появлялась мать), — но мама, должно быть, решила быть твердой и делала вид, что не замечает уловок. И на мой просительный жест — не хватит ли? может быть, девочку выпустить? — мать не смягчалась. И, проходя мимо меня, тихо:

— Вы еще не знаете ее характер... Узнаете! Вовка от нее столько терпит!.. Сегодня Вы отдыхаете, осваиваетесь, а уж завтра... Я, кстати, завтра уеду на целый день!

Из угла шли планомерные рыдания. Притворные? Но, может быть, мать забывала *возраст* своей дочки...

Ко мне обернулось обреченное личико, маленькая рука отводила мокрые от слез волосы... И уж не видя, должно быть, ни матери, ни меня, а только одно жестокосердие взрослых, протянув ручки движением осуждения и мольбы, Зиночка изрекла — неужели под маленького ребенка картавя — “Плостите зе!”. И, вывернув ручки, уже с несомненной издевкой она повторила “зе!”

Матери не было. Я больше не могла. Я выпустила девочку из угла и, чтобы не повернуть на себя ее ненависть, ушла в свою комнату устраиваться, дать ребенку отдохнуть, освоиться с новостью в доме, с гувернанткой.

На другой день, получив от матери нетрудное, но странное задание, — пойти с Зиночкой в магазин купить ленты для губок, без которых губки падают на пол; проводив маму, я с Зиночкой, усадив Вовку за списыванье с книги, пошла в магазин. И так как и у меня была губка, я сказала Зиночке, что выбрать ленты для наших трех губок я предоставляю ей: мне хотелось расположить к себе девочку. Зиночка принялась с жаром за выбор: я думала этим занять ее на подольше — Зиночка скомандовала почти мгновенно:

— Вот эту, золотую, широкую, — мне. Синюю, поуже — Вовке. А вот эту... — она никак не назвала — третью, ту, которую она выбрала для меня: ленточка, скорее тесемка, тускло-коричневая, она молча показала пальчиком. — Эта — Вам!..

— Пожалуйста ужинать! — позвала нас — писателей — Дуняша, на которую, с сестрой ее, уезжая к сестре в Англию, возложила все хозяйство Елена Александровна Эртель.

И — рассказ прерван — канул во тьму дом, где — когда? начала службу гувернанткой Антонина Михайловна. Все непонятно в жизни! Антонина Михайловна поступила гувернанткой. Почему? Она же

была балериной. Выходили к ужину из своих комнат писатели, уставшие от своего творчества, и их жены, предвкушая обилие и разнообразие яств... Но для меня над ними витало это незабвенное “зе!”.

Чтобы поставить мой рассказ на ноги, я могу добавить, что в те годы брали за месяц в домах отдыха 150 рублей. Елена Александровна Эртель, получив в дар от ЦИК‘а имение отца, за революционные заслуги его — он даже сидел при царе в заключении, — ответила ЦИК‘у приглашением к себе в имение наиболее нуждающихся семей писателей за 30 рублей в месяц! И кормила она их с Дуняшей и ее сестрой Марией Фирсовной — наотвал — приехавшие из Москвы писатели даже заболели от обилия пищи... Помню много книжных шкафов в доме, из них один с английскими книгами, было в доме старинное пианино, и была в саду тишина...

Как я уже сказала, с осени 1936 года в Москве мы с Пантелеймоном Сергеевичем стали — одну за другой — просматривать подробно его книги, и все, где не хватало вкуса (как с той баронессой Ниной) или знания той среды, о которой он наивно писал, — изымать, менять, сокращать... А та первая повесть, которую я в Эртелевке прочла, звалась — мне это напомнили — “Собственность”.

По очень большой занятости моей — я преподавала английский в нескольких учреждениях, применяя старый, переводческий, метод преподавания и новый, выдающийся, — я называла его Колумбовым яйцом — метод Натана Кобленца. Меня за всю неделю не было дома, мы не могли, как в более спокойные времена, общаться домами, я не видала с лета жену его, которую полюбила, только слала ей приветы. Наконец, подошло время подойти нам к “Руси”, главному труду Романова, над которым он столько лет работал. Странно сказать — но именно в этой его, любимой книге, в которую он вложил всего себя, где были превосходные части, нашлось очень много совсем ненужного — он теперь понимал это сам, и с особой благодарностью смело выбрасывал страницу за страницей. Зима кончалась, мы проводили за “Русью” все выходные дни до ночи, и к началу весны, выправив все, строго и беспощадно, радуясь этой новой “Руси”, мы подсчитали, что из всех книг, ее составлявших, мы выбросили 200 страниц. Вещь засверкала. (Кто бы мог подумать, что я никогда не прочту ее в новом издании?)

... И был торжественный день, когда Пантелеймон Сергеевич сообщил мне, что с результатами нашей правки совершенно согласен его молодой редактор!

Затем подошло лето, и я уехала, впервые после многих лет, в Тарусу. Лето 1937 года. В эту весну я закончила третье учебное английское заведение — Институт повышения квалификации преподавателей при МИНЯ (Московском институте новых языков). Три года мы работали там вечерами, прошли и экзамены. Диплом мы должны были получить осенью.

В Тарусу меня настойчиво приглашала на отдых мой друг Зоя

Михайловна Цветкова, профессор английского языка. Видя мое переутомление, она взялась кормить меня, сняла мне комнату... Но я еще кончала перевод с английского об американской музыке. Ночами, чтобы его скорей сдать, — и в Тарусу!

Кто мог предвидеть, что жизнь осложнится так, что я никогда и не получу за него гонорара, что я уеду из Тарусы неожиданно, на так долго, что об этом не стоит писать.

На Дальнем Востоке, где я прожила много лет, я не имела возможности прочесть последнее издание “Руси”. Донеслась весть о смерти Романова. Но все проходит, как говорит кольцо Соломона, — и я, после долгих вдали прожитых лет, оказалась у сына моего в Павлодаре, где он был финансистом строительного предприятия. Марины, сестры моей, давно не было па свете. Но еще жива была Антонина Михайловна Романова. Узнав, что я собираюсь в Москву — реабилитироваться, и все не еду, медлю, она пустила среди друзей подписной лист — собрать денег мне, не зная, что я живу у сына, что я медлю не из-за денег.

В 1959 году я оказалась в Москве, но уже не застала Антонину Михайловну Романову. И жизнь моя пошла дальше, и дошла до почти 93-х лет.

Вечер 28 июля 1987.

Кясму

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

*Посвящаю дочери ее,
Мирели Яковлевне Шагинян*

Мне кажется, я всегда ее знала... Мы не удосужились быть подругами. Зато с первого же разговора — все сердце мое в ее пыл, в ее нестарухины повадки, в ее одинокое житье с внуком. С ее ездой по всему миру — в 77 лет! — ее острыми, зоркими, мужской хватки газетными письмами из всех стран. Все сердце в ее тон, когда пишет о Петре Первом. Маринины стихи вспоминаются о Пушкине:

*Прадеду – товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка –
Как своей рукой...*

В ее девичье, верней, юношеское еще озорство, в ее огненные глаза и маленький (мал золотник, да дорог) рост. И ее чайники! В кухоньке их — зоосад, кунсткамера! — перегоревших, скореженных (ее огнем) когда — и это неисцелимо, ибо сие не болезнь, а здоровье! Увлеченная беседой с пришедшими к ней, она забывает о поставленном чае — и вот еще один образец огня в кунсткамеру ее огня, Шагинян Мариэтты!..

А еще! Как, по глухоте не слыша звонков, Мариэтта засовывала в щель незапертой двери газету и бесстрашно, с опасностью неожиданных и нежеланных гостей, весело ждала ожидаемого гостя. И еще — как, уже старая, выводила утром и вечером гулять любимого огромного пса, и он, радостно вылетая во двор, таскал ее за собой по двору, на что соседи отзывались следующим замечанием: “Собака прогуливает Мариэтту Сергеевну!”

Разве все это забудешь?

В 66-м, когда, наконец, после моей публикации в “Новом мире” состоялась наша настоящая встреча, и она, читая продолжение моих воспоминаний, увлеченно говорила о необходимости их печатать и кормила меня тортом и чаем, случайно вскипевшим, я пожалела о том, что в 62-м году, на вечере Маринино 70-летия, я не поняла, какая она, Шагинян. Было так: внизу, где всех не впускали, хоть и были у нас пригласительные билеты на вход в зал Дома советских писателей, осажденный билетной толпой, сдерживаемой милицией, я стояла, с горькой иронией глядя на суету посмертного признания, Марине ненужного 21 год спустя после дней, когда из этой толпы не было с ней ни одного человека, близкие же отняты были! И тогда я услышала негодующий голос:

— Нас не пускают! Старый президиум! А какие-то без прав — проходят!

Я оглянулась: возле меня стояла маленькая, плотная — но как металась! — подвижная старая женщина — не старуха! (старухи лежат на печи и бродят с кошелками!), — и по ее взволнованному лицу, темноглазому, восточного типа, шли глубокие складки негодования.

Мне стало тепло — жаль обиженную.

— Ну зачем вы так волнуетесь, — сказала я, — у меня такой же пригласительный билет, как у вас, я — сестра Марины Ивановны, меня же тоже не пускают — но пустят же!

Но она не слушала. Так шумели, милиция оцепила входные двери, ничего нельзя было разобрать, меня оттеснили. И когда, после прихода директора, ставшего в вестибюле и отрывавшего подхлывшим добавочные билетки от рулона, похожие на трамвайные, нас пустили наверх в зал, там, в фойе, ко мне, сестре Марины, подвели ту взволнованную внизу старую женщину, и она оказалась Мариэттой Шагинян. Но уже начиналось что-то на эстраде, и нас опять разъединили шедшие на места люди...

А затем был день 80-летия Мариэтты Сергеевны в том же Доме ЦДЛ. Я отлично помню ее тогда. Она была все та же, что всегда, ни на йоту не старше — лет, скажем, 55 — и может быть, встретясь с ней близко, прибавить ей глазом лет пять? Это был устоявшийся возраст пожилой женщины, со взглядом умным и пылким, черноволосой, веселой, в тот день, — может быть, не веселой, но радостной. Одежда? Не

помню ее на людях. Думается, скромная. Обычная — среди праздничности дня приветствий, речей, подношений.

— Писательское, — это было провозглашено с трибуны, — Вам передаст, — сказал, встав из президиума, Сурков, — самый любимый Вами человек!

И по дорожке меж двух — левой и правой — половин зала показался у входа в зал — по всему пути к трибуне — маленький, лет с виду шести, мальчик в матроске.

Кто-то шепнул мне: “Правнук!”

Я не видела, что он нес и как он передал прабабушке что-то, что ей преподнесли в тот торжественный час от Союза Писателей. Но тотчас же даритель был поднят в воздух Сурковым, — и было провозглашено следующее:

— А это последнее и улучшенное издание произведений Мариэтты Сергеевны! — И всем стал виден прелестный мальчик в синем костюмчике. Черты его тоже напоминали Армению, но волнистые волосы его были не черные, — оттенка, помнится, каштанового.

* * *

Прошло 10 лет; мы с переводчицей моего первого тома “Воспоминаний”, приехавшей из ГДР, устав от многих часов считки ее немецких страниц с моей русской книгой, решили отдохнуть и, сев у телевизора, который я никогда не смотрю, потому что он вреден моим глазам, готовились слушать второй вечер 90-летия Мариэтты Шагинян. Она сама говорила о творческом своем пути. В ожидании начала я рассказала по-немецки моей соратнице, 28-летней поэтессе с романтическим именем Беата, о том, что я читала из книг Юбиляра; много лет проведя вдалеке от Москвы, я мало читала, не знаю ее известных вещей, но с восторгом прочла о ее поездках по европейским странам.

Это удивительные записки: мужской ум, наблюдательный, свой глаз на все, талантливость изложения. Тут встреча моя с иным типом ума, иным устремлением внимания.

Но уже, заглушая мой голос, звучал голос Юбиляра: я взглянула на экран: это Мариэтта Сергеевна? Говорит, мне показалось, мужчина. Старческий седой облик. Это говорил — маг. Согласно сливался с обликом смысл слов (привожу их по памяти).

— Только в старости научаешься *ценить* время. Только теперь я поняла, как драгоценен *каждый* час, — когда их все меньше. Как *надо* беречь силы для работы — чтобы ни одна минута не уходила зря.

Это была Мариэтта, начавшая прощание с жизнью? Все существо мое рванулось навстречу. Какой-то порог был перешагнут ею за десять лет. Тогда она была в гуще людей. Теперь она говорила к нам из некоей магической башни, в гуще писательского труда, время летело несоразмерно с нами. Небывалое зрелище Откровенности о себе, и Совета нам, и Оплакивания утекшего времени.

Я очнулась, когда, вспыхнув, погасло все сразу: и голос, и старческая седина... В волнении, повернувшись друг к другу, 28-летняя и я, 84-летняя, искали и не находили слов. Но — писателю легче писать, чем устно... Я, должно быть, нашла слова, сев за письмо, и послала его Юбиляру. И хоть у него не было времени мне ответить — она их получала столько! — но позднее я узнала, что она его сохранила и, буду надеяться, прочла.

* * *

Прошли годы. Подарили мне сборник “Памятные книжные даты” (на 1988 год). В нем мне прочли (увы, я уже не читаю — ослабло зрение) статью Владислава Ходасевича о Федоре Сологубе. С Владиславом я когда-то дружила, Сологуба лично не знала, но стихи его и роман “Мелкий бес” читала еще до революции. Далее — биографическую статью моего друга Станислава Айдиняна об Анатолии Виноградове, человеке необычайно чувствительном, как сейсмограф, друге моей юности, писателе; а через несколько страниц, нежданно, портрет Мариэтты Шагинян... 1988 год! Год столетия Мариэтты!! И год столетия Анатолия Виноградова... Под портретом опубликованы надписи, дарственные, писателей, подаривших Шагинян свои книги: Анны Ахматовой, Андрея Белого, тоже хорошо мне знакомого в

отрочестве и зрелости; Владислава Ходасевича — вновь его имя! — Михаила Зощенко, Ольги Форш, Ираклия Андронникова, — на днях передавшего мне привет, и любимой мной Беллы Ахмадулиной, с которой так теплы и сердечны наши встречи. Во всех этих надписях звучит — в разных тональностях — восхищение Мариэттой, любовь к ней. И уж совсем неожиданно — забытая мною за истекшее десятилетие, тут же напечатана моя надпись на первом издании моих “Воспоминаний”. Привожу ее дословно:

“Дорогой и милой Мариэтте Шагинян в благодарность за Ваши чудные воспоминания, читая которые, я, зачитавшись, проезжала остановки метро, утонув в далеком прошлом, волшебным воссозданном Вами...”

В благодарность за Вас, за Ваши путешествия по земному шару, за Ваше перо, Ваш сердечный и душевный жар, за Вашу широту, остроту, за Ваш глаз на все вокруг, за Вашу неисчерпаемость... С нежной любовью. Ася Цветаева.

22.1.72”

Читаю и перечитываю надпись эту ей вслед...

* * *

Смерть настала за один день до исполнения 94-х лет. За несколько дней по Москве пошли слухи: Мариэтта Шагинян болеет. Ей хуже. Она, будто бы, сказала, что просит не говорить над ней речей, ее прославляющих, похоронить ее просто и тихо на Армянском кладбище рядом с могилой ее любимой сестры...

Но в газетах появилась статья о смерти старейшего члена..., о дне и часе панихиды, гражданской.

С родственником моим Р. М. Мещерским я вхожу по лестнице ЦДЛ. Опоздали. Речи кончились. Из зала выносят венки. Нас не хотят пускать. Видя мой старческий возраст, колеблются: я всего на шесть лет моложе умершей. Мещерский называет мою фамилию. Нас пускают. Я подхожу к гробу. По пути к нему вижу ее дочь — художницу Мирель Яковлевну Шагинян. Обнимаемся. К глазам — слезы. Глубокий вздох ее прожитой жизни, смолкшей, приподнимает мою грудь.

Гроб немного поднят, наклонно, так, чтобы видели лицо умершей те, что в зале. Мною начаты были слова сочувствия и горя смолкают: я стояла перед зрелищем непонятным: никакого возраста. Возраст отсутствовал. От присутствия такой степени красоты, такой одухотворенности, которую не сможет создать никакая наука — современным старанием над умершими в больницах.

Величава, душевно стихшая — в первый раз, быть может, за всю жизнь — лежала над нами Мариэтта Шагинян. Так украшавшая ее живое лицо красота последней успокоенности, гармоничного овладения всем царила над гробом этого мятежного человека. Праведницей не была умершая в смятении своих; порывах, спорах с собой и с людьми, она именно праведницей не была, к “праведности” не стремилась, это было понятие ей чуждое. И именно оно было здесь, поражая глядящего! Опущенные ее веки, таинственность очищения, последний ее час! От неожиданного зрелища нельзя было оторвать глаз.

Когда я, не найдя рук — поцеловать — они не лежали одна над другой — поискав их под красным цветом гробового полотнища и под шелком цветов, вынула левую руку умершей — пальцы, холодные, были гибки, как живые, и легко двинулись под моим поцелуем.

— Какая красота! — сказала я дочери, потрясенная, — верно ли, что она не хотела, чтобы ее славословили, что хотела тихо уйти после такой бурной жизни?

— Да... — ответила дочь.

СЕМЬЯ КАГАН

С Матвеем Исаевичем я встретила у Бердяевых в 1922 году, думается мне, после отъезда моей сестры Марины в Чехословакию. Месяца не помню. Одно смущает память: я несколько раз бывала у Бердяевых — а он вместе со многими философами-идеалистами был выслан и выехал за границу в том же

1922 году, как Марина. Я же в Москву вернулась из Крыма в Николин день 1921 года, — и, может быть, я увидела Матвея Исаевича у Бердяевых еще весною в 1921-м году? Знаю твердо одно — что Матвей Исаевич вернулся из Германии незадолго до этого вечера у Бердяевых.

Тогда мы уже знали, что он окончил курс философии у германского философа Германа Когена, а потом после окончания войны Матвей Исаевич не остался в Германии, а вернулся в Россию, где жили его родители. В тот вечер у Бердяевых я увидела Матвея Исаевича впервые. Это был человек стройных, легких очертаний, выше среднего роста, темноволосый, высоколобый, черты его были правильны, лицо безбородое и безусое, и были во всем его существе неизъяснимое благородство вместе с простотой и доброжелательством. Обхождение, дававшее — с первого взгляда — ощущение высокой духовности. И были еще спокойствие познания и самообладание, присущие высокому уровню мышления. Это стоял философ. Он стоял — посреди нас, сидящих, потому что он читал доклад. И темы его я не помню не по причине моего возраста — я в мои 93 года, вероятно, немного более чем в два раза старше его — а потому, что говорил он языком сложным, трудным, и я, слушавшая его с напряжением, нелегко улавливала связь его мыслей, хотя и слушала за 5 лет до того древнюю и новую философию в Университете Шанявского — терминология мне была известна.

Примерно в то же время встреченный мной в Союзе писателей поэт и импровизатор, профессор археологии Борис Михайлович Зубакин — человек, похожий на Шекспира, но заменивший холод его лица на пламень (в Москве его звали Калиостро), успевший за время знакомства нежно полюбить Матвея Исаевича, сказал мне: “Ничего нет удивительного в том, что вы его не понимаете. Он думает на древнееврейском, переводит на немецкий, а с него на русский.” И, перестав шутить, очень строгий и поглощенный: “Слушайте его. Он — Иоанн Богослов нашего времени.”

И в той же Москве, в то же время жил человек глубокий и добрый, занимавшийся со мной древнееврейским — Эли Шноль, с которым я дружила. “Я должен познакомить вас с удивительной девушкой, с Соней Каган”, — сказал он и привел ко мне эту девушку. Она поистине оказалась удивительной. Ее очень большие зелено-карие глаза под своевольным разлетом надо лбом русских кудрей отрешенно сияли на лице, небольшой рот твердого волевого очертания говорил о своеобразии характера. Мы проговорили с ней до утра, не сомкнув глаз. О чем? О ее одиночестве, о несходстве ее с матерью и с сестрой, о страхе перед жизнью... Соня Каган (ей было почти 20 лет, а мне 28) приходила ко мне в течение целой зимы, но редко. Беседы наши, как и в первый раз, длились всю ночь напролет...

...Философы, читавшие лекции в Вольфиле (Вольфила — Вольная философская ассоциация — *Примеч. авт.*), были за границей; Россия, переименованная в СССР, стала атеистической... Как-то я пошла еще раз взглянуть на покинутую квартиру Бердяевых. Была она, чудится, где-то в районе Пречистенки. Бердяев на прощанье подарил мне свою фотографию: длиннокудрый мальчик в возрасте 4-х лет, в старинном костюмчике с белой оборочкой из-под штанишек, он глядел гордо взглядом покорителя мира. Маленький Николай Бердяев. Вставив ее в старинную рамку из синего бархата с золотым ободком, я старалась утешиться. Фотография пропала при моем аресте в 1937 году. Вместе с принесенным из опустевшей квартиры обломком кирпичика, который я долго чтילה. Встречая Матвея Исаевича, неизменно вспоминала вечер у Бердяевых.

На следующую зиму я тщетно ждала к себе Соню Каган. Спрашивала у Эли, не болеет ли?

— Нет, не болеет.

А в один прекрасный день, как это бывает в романах (прекрасный день по-французски звучит точно так же, как *bonjour*), ко мне пришли вместе Матвей Исаевич Каган и Соня Каган. Он и она с одинаковой фамилией встретились где-то в большом мире, пришли поженившиеся.

..А время летит, я давно уже слышала, что у них родилась дочка, как-то навестив их, я увидела стоявшего в детской кроватке с высокими краями плотного крепыша, сероглазого, черноволосого, похожего скорее на отца, чем на мать. Юдя глядела на меня, не пугаясь и не заигрывая. Во взгляде было

самосознание. Вполне самостоятельный человек: будущая латинистка, автор замечательной книги о моем отце — Юдифь Каган. Тогда девочке было 8 месяцев.

Страница идет к концу. Пять минут третьего ночи.

25 декабря 1988 года. Западное Рождество.

В ТЕ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Встреча с четой Фейнбергов — Ильей Львовичем и Маэлью Исаевной — мне предстает на фоне Дома творчества Литфонда в Голицыне.

Это было в 1966 году.

Только что в первых двух номерах “Нового мира” вышли главы из моих сокращенных воспоминаний, переданных туда Евгением Борисовичем Тагером — и я перед четой Фейнбергов была “как на ладони”.

Совсем иными были они для меня: неизвестными, влекущими, как только что открытая книга.

Стояло лето. Небогатое зеленое окружение бывшей дачи Корша, в которой помещался Дом творчества писателей, шумело листвой нескольких старых берез, обнимавших наши окна двух этажей, по старинному уютных, и я радостно выходила под этот, Тарусу напоминавший, шум — с тетрадкой, и садилась на лавку скромной беседки — продолжать свой нескончаемый труд. И Марина была со мной, ибо именно тут очутилась она 27 лет назад с сыном Муром (Георгием) в тяжелый год своей жизни. Мне показывали место, где она сидела у камина, топившегося в те годы, стволы берез этих были немногим тоньше тогда, их ветви не могли не напоминать Марину, Тарусу. Так ее присутствие оведало меня, как эти родные ветви, и мой труд, вспоминается, ей посвященный, рос под ее крепкой рукой.

Пушкинист и литературовед Илья Львович знал все, что тогда было издано из написанного Мариной. Его жена, на поколение его моложе, редактировала книги для издательства “Советский писатель”. С первой встречи они оба отнеслись ко мне дружески, и мне было радостно продолжать мои главы в их высокооснащенном внимании.

Маэли Исаевне, как запомнилось, был тогда 41 год — чудесный возраст! — и головку ее, темную, только обрызгивали легкие пряди живописной и красящей ее седины. Черты ее лица были очень красивы и правильны, движения их и улыбка обаятельны. Ее речь, отточенная талантом, привлекала к себе внимание. Но могла ли я думать тогда, что эта женщина войдет, тесно, в мою жизнь, станет моим близким другом и моим ближайшим соратником в деле воссоздания десятилетий и поколений нашей трудной и разноголосой семьи.

Илья Львович мог казаться скорее ее отцом, чем мужем, был, наоборот, некрасив, сед, болезненного вида — его гнул недуг, трудно поддающийся лечению, — он был диабетиком. Его эрудиция, его мягкое изложение всегда продуманной и оригинальной мысли, огромный круг литературных познаний — он был среди нас центром. И как ни широк был охват его интересов, он неизменно возвращался, неожиданным и тонким поворотом, на крути своя, к обожаемому им Пушкину. Книги его о Пушкине уже тогда были широко известны.

Но удивительнее всего здесь была не встречаемая в таких человеческих сочетаниях гармония вневозрастная, это склонение уже начавшейся его старости — к юной зрелости, это тяготение ее вверх к еще не испытанному опыту недостигнутых лет. Так бывает еще в звуках симфоний, в их сплетении, восхождениях, преодолениях звуковых порогов.

Но как же было не быть этому? Когда круг их творческих интересов — как ни был он широк — это был круг, тот же круг дыхания и мышления! То, что питало их жизнь, сгущенную деятельность их дней, их ежедневный труд и то, что этот труд окружало, — единая атмосфера.

В свободное от работы время оба они, попеременно, читали машинопись 2-го тома моих воспоминаний, их еще неотделанный черновик, все глубже входя в историю нашей семьи, и все более зажигаясь мыслью о продвижении их в печать.

Как мне забыть эти прогулки мои под руку то с ним, то с нею, по маленькому разбегу голицынского полулеска, полусада, мое слушанье их вдохновляющих советов, плоды их драгоценного понимания всех сложных тем, сочетающихся в нашей семье...

Труднее всего представляла и им, и мне возможность скорого напечатания такого обширного материала (я писала уже около 10-ти лет) — где? в каком журнале? В эти летние дни 1966 года рождалась в доме, где жила когда-то Марина, — необходимость большой книги.

Моя книга “Воспоминаний” была передана в “Советский писатель”, и на прочтении и рецензии лежала там более трех лет, и было две отрицательные рецензии — Гуса и Западова, когда на вечере 80-летия Мариэтты Сергеевны Шагинян оба мои друга Фейнберги приступили к директору Лесючевскому с настойчивой рекомендацией ее напечатать.

— А вы возьметесь ее редактировать? — спросил Лесючевский.

— Возьмусь! — отвечала Маэль Исаевна.

И работа началась. Я проводила у них день за днем всю ту зиму, за которую мы с Маэлью Исаевной по плану нашей работы должны были окончить пересмотр и переработку всего материала первого тома моих “Воспоминаний”. Начало их окуналось в тот же самый девятнадцатый век, над которым трудился в своих книгах о Пушкине Илья Львович. Говоря точнее, наш труд начался в те далекие десятилетия, которых касалось, до которых доходило перо пушкиниста, задумчивое и испытывающее, оценивающее и называющее те же темы эпохи, над которыми трудился наш отец, историк искусств. Оттого так легко было мне в этой семье, где с полуслова было понятно, как мы росли с Мариной в доме нашего отца и нашей матери. И дом Фейнбергов стал мне родным домом — тут ничего не растрчивалось — тут черпалось — совет, внимание, укрепление в том, что составляло основу труда. Тот же уровень служения тому же. Мы работали у Фейнбергов в этой удивительной 2-комнатной квартире, где полностью отсутствовала та обстановка, которой обставлялись новые московские квартиры. Только скромные диваны, письменные столы, стеллажи и обеденный стол в кухне. Я приходила утром, уходила вечером. Обедали вместе и продолжали труд. Больной Илья Львович точно соблюдал свой диабетический режим. Как-то он рассказал мне о том, что накануне, болея, был раздражен — “кидался” на Маэль...

— Ничего не кидался, — на ходу отозвалась жена.

— Кидался... — повторил муж.

Постоянная занятость его работой над Пушкиным переплеталась с наступающим поглощением “Воспоминаниями”. Я не помню ни одного спора между Маэлью Исаевной и мной, это было удивительное содружество.

Как-то Илья Львович лег в больницу, и мы поехали его навестить. Уходя, я перекрестила его и пошла к двери.

— Анастасия Ивановна, — окликнула меня жена его, — он зовет вас, вернитесь.

— Я очень благодарен вам за крестное знамение, — еле слышно сказал больной, — ему *придавал большое* значение Пушкин...

Как было не улыбнуться растроганно в ответ на эти слова. Он поправлялся, но был еще очень болен. Радовался, что лежит в палате — один (его поместили в отдельную палату). Голос уже возвращался к нему.

— Меня лечит Пушкин! — сказал он мне в тихой радости, — когда я плохо себя чувствую, я начинаю читать его наизусть вслух...

Со всей честностью я принуждена сказать — и со всей ответственностью за такое утверждение, — что лучшего чтения стихов я за всю мою жизнь не слыхала. Нерушима в этом чтении была восхитительность меры торжественности и простоты, свободы подачи голоса и сдержанности, непререкаемость выразительности в сочетании с точным вкусом, лишь в музыке живущий закон равновесия звуков. Слушая Илью Львовича, читавшего стихотворные строки, я погружалась в превосходство его чтения над чтением самых любимых поэтов, оставляя нацело, осужденно в стороне чтение актерское, бесстыдно хотящее сохранить право на безвкусную жизнь, рядом с этим образцом слияния смысла и звука, рождающего новую категорию высоты.

Через год ли после нашей встречи это было — или позднее — до меня дошла весть, что на улице с Ильей Львовичем сделалась диабетическая кома. Жена, бывшая рядом, отвезла его в Боткинскую и две недели не отходила от него. Он медленно поправлялся. Но когда Маэль Исаевна привезла мужа домой, она была седая, и только легкие редкие прядки черноты кое-где напоминали утраченный ею прежний цвет волос. Теперь она стала XVIII века маркизой и... Судьбой. Но судьба улыбнулась ей, и Илья Львович поправился.

Не первый раз проводила молодая жена дни в больнице у постели больного мужа — служба, это происходило периодически, как неизбежность. Без ухода жены не выжил бы, может быть, Илья Львович — так был силен его недуг. Но так крепка была постоянная опора на ее твердую верную руку. И мне представить себе Маэль Исаевну со здоровым молодым мужем было совсем неестественно. Я сжилась с этим так же, как со всем стилем их жизни — с аскетичностью их обстановки — нельзя было представить себе их среди бархатных кресел и пушистых ковров, как нельзя было услышать в их семье пустых бытовых разговоров — за годы общения с ними я не услышала ни одной такой фразы. Уровень их вкуса, обоих, не мог допустить привычной у многих опущенности, как не могло в их беседах проскользнуть столь частое, увы, в культурных семьях, брошенное на ходу замечание о быте соседей, о чьей-то удачной покупке, оценка чьей-то пошлой выходки — или, наоборот, мельком выраженного сожаления о неимении возможности ловкого делового шага. Вся целиком эта область повседневной жизни была давно, нацело и без обсуждения, без упоминания о ней — исключена из жизни этой семьи. Душевный вкус раз и навсегда отверг из употребления житейские области зависти, подражания, счетов с кем-то. Как уровень *литературного* вкуса не допускал колебаний в оценке должного, так уровень моральности оценок был раз навсегда задан, привычен и нерушим.

И дышалось в этом воздухе — радостно и легко!

Наши перерывы на обед в работе — какие это были чудесные, несмотря на краткость их, встречи! Как мгновенно, с первых слов обогащалось сознание, как весело в душе приводился рожденный пример или вспыхнувшее воспоминание! Плодотворность встреч этих и обрывки бесед, рассказ, соединивший эпохи, чей-то поступок, одаривший (с разбегу) день своей незабвенностью, несокрушимость чьей-то доблести, взгляд на миг, как в колодец, в историю — все это привычно питало каждые полчаса отдыха, приправленные благодарностью Маэли Исаевне за внезапную — горячую и вкусную еду (когда успевала приготовить? волшебно!).

Сюда же (куда же, как не сюда!) и когда же — если не сейчас? сообщение о вышедшей книге, о блеске чьей-то статьи, радость о чьей-то литературной удаче и выполненных заданиях — не близкого, дальнего! Вся область доброжелательства, неизбежно щедрого, задуманная помощь кому-то — как все это красило наш труд, нашу дружбу в те счастливые дни...

Я вспоминаю — по телефону мне 1 мая 1971 г. из Москвы в Голицыно Илья Львович Фейнберг сказал:

— Читаю верстку вашей книги, вчера читал, и ночью несколько часов читал, и сейчас читаю. Я не в первый раз это, как вы знаете, читаю — еще и в машинописи. Напечатанное — в первый раз. Это отличная книга. В ней слабых мест нет; тем не менее, некоторые места особенно примечаются — например, отъезд из Москвы за границу, свидание с морем — я только что прочитал это. Море очень любил Пушкин, у меня есть книга — не напечатал, но написал — "Море у Пушкина". У Толстого встречаем... Ваши страницы о море — это классические страницы. Да — это классика! Вообще эта книга — не проза, это — поэзия. Я уже говорил Вам о музыкальности вашей прозы. Это многие не поймут, не уловят, эта проза несомненно музыкальная — в очень тонком смысле.

— А об этом месте — о море, рецензент мне написал, что это растянуто, бледно, и поучились бы лаконизму у сестры!..

— Эти слова неосновательные, неверные. Ваша манера письма совершенно другая, чем у Марины Ивановны. Несмотря на *некоторые* черты фамильные — это две манеры. Исходят из совсем

разных истоков. Требовать от вас лаконизма там, где вы идете своим путем восприятия и выражения, и ставить вам в пример Марину Ивановну — это то же, что сказать Гоголю: “Пиши, как писал Пушкин!” Гоголь не может писать, как Пушкин, и ему это не нужно, потому что он — *Гоголь*...

Ваш дар давать время — ощущение, ретроспекцию времени — удивителен (слова Ильи Львовича были, может быть, не те, другие, но точнее я его мысль передать не могу — ушло).

— Когда вы пишете о фотографии вашей старшей сестры Леры — девочкой: для Аси это большая девочка, потому что Ася — меньше изображенной несколько, но в то же время Ася видит ту Леру, которая из той девочки выросла, — и вот эти сдвиги, эта метаморфоза разных обличей того же, и восприятий — это у вас поразительно дано. Ваш философский дар, дар философской мысли...

— Неужели он в этой книге есть?

— Да, он есть в этой книге, потому что он присущ вашему мышлению, вашей манере восприятия... И он... (далее я забыла и боюсь – изобретать).

Трубку взяла Маэль Исаевна, мой прелестный редактор, без которой моя книга не вышла бы, — она все бои встречала грудью, она эту книгу родила; я ее только выносила...

— Обнимаю вас, радуюсь и жду вас.

Трубку взял их сын, 24-летний кончающий курс студент. Палата ума, вкуса, образования (плюс ленивый и озорник).

— Я тоже читал не в первый раз. Превосходно написано. Я очень доволен...

— Высокое качество вашего письма будет причиной недостаточного успеха книги, потому что мало кто поймет по-настоящему эту высокую прозу! — это последняя фраза Ильи Львовича из разговора, который мне запомнился.

МАРУСЯ ВОЛОШИНА

Коктебель. Год? Их могло быть — годы, — ибо болезнь, как и жизнь, порой протекает медленно.

Чем болела Мария Степановна? Старостью. Несопротивлением ей. Ощувив желание лечь — лежала, привыкла лежать. Отвыкая ходить, подыматься по лестнице мастерской в тихий летний кабинет Макса, им уже более сорока лет покинутый, но живой духом его.

Распоряжения по дому — из глубокого кресла, где уютно и пагубно вслушивалась в усталость. Отмечала свой хрипнувший голос, веря в рост хрипоты. Забывая бодрость откашливания, звонкий голос свой по всем комнатам и балконам Дома Поэта, в раскрытые на море двери, совсем недавно еще — что годы? — полет по всему дому...

Так в гипнозе уверования в старость появились вокруг нее — врач, медсестра, тонометр. Но в одном была себе верна хозяйка коктебельского дома — с молодости в отвергании диеты: ела все, что хотелось ее своеволию, что вредно, что пагубно — и как же друзьям спорить с ней? К столу шла уже опираясь на их руки, не смевшие возражать, робко нарезавшие соленые копченые ломтики, лившие на кусочек мяса ложки острого соуса.

Месяц за месяцем, год за годом отживал для Маруси сад, белые водопадики лестниц. Но долетал во 2-ой этаж шум кустов, шелест деревьев, то грохот, то плеск волн. Жизнь еще сверкала кругом, — люди, люди, хоть и мерк свет в глазах, — отстранив очки, впусив в дом лупу. С балкона еще виднелся грудой тьмы — Карадаг, цвел, отцветал тамариск, приезжали и уезжали друзья. То гремел, то стихал нордост. Но ровно в два часа дня был накрыт обеденный стол, ровно в 5 — чайный.

Черными южными вечерами, когда начинались набегии гостей и поэтов, чтение стихов, пенье старинных романсов, когда голос Муси Извергиной расцветал со все той же силой романтики — “Звезда” Иннокентия Анненского и Бродского “Пилигримы” — под аккорды рояля, на котором, говорят, играл Скрябин и, недавно, еще Рихтер, — сморщенное ее лицо с седыми, мальчишески остриженными волосами — было счастливо. Но в один из таких вечеров, когда общая любимица чтица “Изюмка”

выступала не в доме поэта, а в “Голубом заливе”, и все захотели туда, встал вопрос, кто лишится этого удовольствия, кто останется дома с Марусей. Я, лишь на 7 лет моложе ее и не любящая посещать вечера, привычно осталась дома.

Спешно, как в феерии, исчезли обитатели Дома, мы остались вдвоем. Выведя Марию Степановну на ее любимый балкон, усадив ее меж подушек, я помчалась за чем-то к себе на чердак, думая только о том, что за год Маруся упала 18 раз и 2 раза ушибла голову. Ее нельзя оставлять: встанет, шагнет, упадет.

Я уже пронеслась через “Щель” — узкое место у лестницы под чердаком — пронеслась проходной и Марусиной — на балкон: там, полуслезши с лавочки, отстраняясь от подушек, сидела Маруся Волошина и, протянув ко мне, предостерегающе, руку, *не допуская*, силилась встать. Сама?

— Ася, — сказала она, — не оберегай меня, я прошу тебя! *Дай* мне свободу! Они все ушли! Я от них очень устала! Оставь меня! Ну, будь где-нибудь близко, но не надзирай за мной!

Она стояла, боком и левой рукой опершись о перила. За ней качались шумные ветви, и море отражало закат.

В ее голосе пролетел ветер. Молодая *воля* Марусина грянула в ее просьбе, — нет, это не просьба была — приказание!

“Упадет, Господи! — крикнуло что-то во мне, — и не сумею поднять!”

— Ася, пойми! *Я хочу быть свободной!* — Как она эти слова сказала! Голос был светел. Нет, голос сиял! Я стояла, статуя послушания.

Ликование ее продолжалось:

— Ну, упаду я! Ну, пусть упаду! Я много раз падала! Ну, когда-нибудь упаду и не встану! *И пусть! Не мешай мне!* Пойми!

Она шла, цепляясь обеими руками за выступ перил. Старое и круглое и худое лицо ее со сморщенными впавшими щеками было предельно счастливо. Над Домом летел праздник.

Повинуясь ему, я шагала назад, давая ей путь, уступая дорогу, моля Бога о помощи, не в силах ей помешать. Я шагнула через порог столовой, оставив ей всю галерею, меж обеих передних балконов, весь фасад ее и Максина Дома, исчезнув молча, не найдя ей в ответ слов. Спрятавшись за косяк окон, не отрывая взгляда от блаженства ее лица, а по моему младшему болвански текли слезы.

Маруся Волошина не стояла. Не шла. Металась, как птица, от стенки к перилам, над садом, вперед, назад, дыша в такт веткам, в такт ветру, в такт своей прежней жизни, над Домом, где она столько десятилетий была полновластной хозяйкой. Празднуя отсутствие друзей, в царственном старческом одиночестве...

... Умереть бы в такой час!

Но Судьба судила иначе. Маруся Волошина прожила с людьми еще годы, умерла на 90-м году.

Март 1982 г.

ЗИМНИЙ СТАРЧЕСКИЙ КОКТЕБЕЛЬ

(дневниковые записи 10-15 ноября 1988 года)

В Коктебель? В Вашем возрасте, в эту осеннюю пору? С телевидением? — сказал мне мой 76-летний сын, — Вы им скажите, меня сын не пускает: “Только если они Вам достанут двухместное купе, и с Вами согласится поехать наш друг, врач, — чтобы Вы могли дорогою отдыхать, а не в четырехместном купе, вот так!»

Фильм о Марине Цветаевой, сестре моей, — после командировки съемочной группы в Париж, по ее следам, и в Чехословакию, — шел к концу. Нам дали куле, и мы поехали — с телевидением, в осеннюю пору (я — на 95-м). У нас столько было еды — у Юры и у меня, что не знали, за что братья. Удивляло еще то, что, выехав с севера — осенью, мы, близясь к югу, въезжали в густой снег! Ехали, ехали. И — стали. И стояли пять часов где-то возле Мелитополя.

..Авария! Поезда с севера доезжают, останавливаются. Поезда с юга — совсем не идут. Спутник мой шутит:

— Вот и пригодится... изобилие наших съестных припасов... Ведь ресторан перестал действовать, электричества нет.

Еда. Беседа. Неизвестность. А ночью так ласково — сверху надо мной добрая дружеская голова. Добрые руки готовы помочь, дружески и врачебно облегчить непонятный недуг, постоянную головную боль.

И вдруг тихо приходит поезд в движение. Едем! Лишь бы авария — без человеческих жертв! И Бог милостив: медленно проезжаем мы причину беды: товарняк сошел с рельсов. Цистерны — с чем неизвестно — опрокинуты по насыпи, одна — в искусственном Каховском море. Дым, вывороченная земля, рабочие... О жертвах аварии — не слышать!

И вот уже пирамидальные тополя, с детства любимые, и Сиваш, где столько пролито русской крови после революции в междоусобной войне. И уж близится Феодосия, любимый город моей и Мариной молодости. Как радостно мне к ней подъезжать не одной!..

И Феодосия становится — сном. Автобусом приближаемся к Коктебелю. Поворот дороги и сразу, точно так, как ждала, и как уже описала, о 1911-м, впервые, так *сегодня*, быть может, в *последний* раз — три горы на закатном небе, три горы, ожидаемые и обещанные. Правая, продолжением холмов, из них готическими остриями восставшая, странно имя ее — «Сюрю-кайя»; перешеек и — серединная, горбом, полукругом подымающаяся, Святая гора, в себе татарского праведника сокрывшая. Перешеек, и, всех сложнее, лесом и скалами восстав, и в море рушащаяся, профилем Максовым, абрисом рта, бороды — в море легшая, Карадаг-гора, гора Карадаг. Кротко, закат принял их Троицу золотым, почти что церковного золота, фоном. И тогда я, голосом Макса, низким, медленным:

*... И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...*

И пошли они, горы, поворотом автобуса распадаться, расступаясь оптическими законами, временем, преходящим пространством, впадающим, протянувшимся...

Вот уже *нет* гор, одно море, и нет ему ни конца, ни начала, синеве и закату, и рокоту. Мы уже сошли. Спутник, он такой большой и я — маленькая — в мои 94 уютно ложатся, дважды, его 47. Вправо от нас — жерло двери, где скрылись сопровождающие, оформлять наш приезд. А мы — мы — мы, по земле Коктебеля — в легкий сумрак потемневшей дороги сада, в ритм шагов, *чей* голос первым начал, *чей* подхватил —

*...Бессонница, Гомер, тугие паруса,
Я список кораблей прочел до середины...*

Я, голосом Мандельштама, — так навеки запомнилось:

*Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся...*

В унисон, как когда-то с Мариной, увлеченно (по-журавлиньи — выгиб, перешеек наших со спутником голосов, совпадение):

*Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?*

И уже дружно, впев друг в друга, как сам Осип Мандельштам — убежденно:

И море, и Гомер — все движется любовью.

С крутым выгибом его голоса, волшебным воплотившегося тут сейчас, где я в 1915-м его слышала:

*Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И морг черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.*

А вокруг нас уже — ночь.

Мы уснули в двух, почти смежных комнатах Дома творчества.

Как прежде, в юности, все передавалось — в Память, как теперь все передается — в Забвение.

Стирается с доски грифельной *дня* — утро, и стираются меловые узоры *вечера*, но вот выжило: идем вдоль моря, по чужому Крыму — снегу, идем прогулкой по берегу — выбирая ногой, где ступить, — а над нами, там, откуда сошли к водному рокоту, сверху — лает собака. Но у нас для нее, неожиданной, неведомой есть от завтрака куски бутерброда, и зовем ее ласковыми голосами, и она умолкает, сбегая вниз, — черная, поджарая, стоячие уши ее вздрагивают согласно, алый язык длинно ловит ломоть сыра, а серое море рокочет, вторит беседе и удивлению пластам пышного снега на туе и кипарисах, отсутствию горизонта, туману и морской мгле, Неприюту и Неизвестности справа и слева, пропавшему профилю Макса. И все заменившему жадному и веселому, собачьему языку, черной голове, остроухой, ничего не знающей о Максе и Коктебеле, но больше, чем мы, — море, чем нас — море, сейчас нас, обоих, любящая за сыр. Не зная любимых собак прежних лет — Макса, Марины, моих...

В Коктебеле — зима! На туях и кипарисах — пласты снега! Вместо гравия и земли — белый бархат, хрупко тающий в непонятность! Шубка голубоглазой Оксаны, поспешившей к нам, услышав про приезд телевидения, инсценировка к Снегурочке. И белая маленькая собака, с ней пришедшая, кажется от белизны снега — желтоватой...

Радость встречи! Я три года не приезжала! А Спутник тут — впервые. И то, что они оба — врачи, делает встречу по-особенному ценной и нужной — ведь больных везде — хоть отбавляй...

Прыжки Оксаниной собаки — тоже радость встречи — она сытая, и печенье ест — из воспитанности, чтобы нас не обидеть! А та, что вторая, вчера вилась вокруг нас — ест подряд все с собакиной благодарностью, она еще меньше Оксаниной и еще белей — почти один цвет со снегом!

А на море сегодня — волны! Одна серее другой, куда делись зеленые волны! — это — пенный свинец, он грохочет — и как его не боится самая маленькая, когда Юра сбрасывает ей с тарелки еду — она царственно не замечает морской грохот, подхватывая на лету — куски.

Почему-то опять — вечер... И тот вчерашний поэт — голубые глаза и бакенбарды, под старину (а почему у него лунные волосы, он — седой?) — написал стихи про мой разговор с Максом Волошиным — “Скажи, скажи, Анастасия, Ну, как, еще стоит Россия?”...

Он обещал дать знать Ире Махониной и Мусе Изергиной, что я — здесь...

Когда-то я с Максом ходила в бурю на Феодосийский мол, возле Генуэзских башен... И волны хлестали нас по ногам, и мы смеялись. Это было больше чем полвека назад — полвека и еще четверть века...

Мои старческие простуды (я со Спутником встретила в больнице, заболев пневмонией, скоро 12 лет — эти простуды меня давно отбрасывают от смеха, если промочу ноги) и я остаюсь в комнате Дома творчества с милой и давно мне дорогой Оксаной — а Спутник идет на Коктебельский мол, который зовется пирс, — другие времена и имена иные! Задевая снежный покров пирса, море бушует, бросает волны, сизые, пенные, и мне кажется, он смеется их обоюдной отваге! Всего окатило, но я, ему дважды мать, буду беспокоиться о его здоровье, хотя он и врач, — и какой! (Такой дома в медицине, как эти волны — в море)...

... Зовут в мастерскую Макса, а я — в минувших днях лета 1911 года в Коктебеле... Получая письма Бориса о скором свидании и ему отвечая, с замершим сердцем ждала его приезд. Счастье Марины и Сережи меня к небесам поднимало, мне шел 17-й год. Борис, весь в фантазиях, как-то обмолвился о возрасте своем — 27... Но и это, как оказалось потом — преувеличенное, число ничего в нем не открывало — так он дивен, неведом был, ни на кого не похож. Менее всего — на Сережу. Теплая мечтательность

Сережи, его вдали потерянный взгляд, их полная слиянность с Мариной, от меня ее отнявшая, нацело, была — я это чувствовала всем существом — совсем иным краем, чем тот, в который я входила с Борисом, ничего мне о себе не рассказывавшим, но по-иному удивившим меня от Марины. Тем жарче я стремилась навстречу Борису. То, что он едет ко мне, было уже нечто, — а ведь мог не приехать — это бы не удивило меня... но его приезд теперь был мечтою об окончании моего одиночества рядом с ними двумя. С телеграммой в руке я ехала в Феодосию, потерявшись в синеве Борисовых глаз, в ореоле пышных волос, золотых, как у Листа, обрезанных над плечами, — сходство было, впрочем, и с волосами Пра (Пра — Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта; от “Праматерь” — *Примеч. ред.*), тоже круто обрезанными у основания шеи, — но их темно-серебряный цвет разнился старостью от неведомого Борисова возраста. Что ему не 27, а куда меньше, было ясно в минуты его раскаленного, неудержимого смеха.

Феодосия. Вокзал, четверть часа до прихода поезда. Их не переживешь вторично, со всем опытом моих 94-х лет — я не берусь описать их.

Но в тот миг, когда из вагона легко соскочил и пошел мне навстречу тот, кто должен был оказаться Борисом, неузнаваемый Борис, в темных очках, с коротко остриженными волосами, — что сделалось со мной? Негодование, обида, смятение — и уже шло хладное объяснение: жара! И все-таки это был он, он шел рядом; голос был *его*. Мы идем вместе, в падающем южной мгlistой крутизной вечере, и вот линейка везет нас в Коктебель...

Какая темная ночь. Когда она сделалась? Только что был закат — когда подходил поезд... Это — стрекот цикад? (Цикады — это кузнечики?)

А сияние над той пустотой, где должно обозначаться море, — откуда оно, ведь луны нет? На темном небе еще более темные абрисы трех коктебельских гор — радостно, что их дарю ему я, — рассказываю о них Борису — он столичный житель, не видел ни моря, ни гор, — а летом — свою степь только — в именье... Ему, наверно, волшебным звучат имена: Сюрью-кайя, Святая и Карадаг. Господи! Какое счастье дарить ему это... Уже подъезжаем. И сейчас рука в руке — к морю, *я подарю ему море!* Он не видел его никогда...

Линейка остановилась перед домом Макса Волошина. Пальцы путаются в деньгах, в ритуале расплаты. В то время как почти неслышимый звук прыжка, легкого, нарушает стрекот цикад...

Я стояла одна на дороге, возле скамейки, на которую водружал возница — Борисов еле зримый чемодан.

Почти как удар грома — мое одиночество, и горький мой путь вслед исчезнувшему Борису — к морю, уже им овладевшему, не подаренному ему. Возвышаясь силуэтом над рокотом моря, стоял мой Борис, скрестив на груди руки, и — голосом мрака, гордости, торжества — отрешенно и все-таки упоенно шли над морем слова Полежаева:

*Я видел море, я измерил
Очами жадными его
И пред лицом его поверил
Я мощи духа своего...*

Отстранив *меня* — нацело...
Мой первый любовный опыт!

...Но день идет, и мы позваны к Максиму, в мастерскую, в его круглооконную башню, и я в парадном темно-зеленом костюме сижу в кресле, как моему возрасту подобает, и смеюсь, внутренне, этому, отвечаю телевидчику Диме — он режиссер фильма — на вопросы о почти легендарной старине уже туг, в этой вот мастерской... Плохо, по-моему, говорю, не в ударе, неможется что-то, но это мой долг Марине — и стараюсь, вспоминаю и повторяю, говорю стихи.

Годы со счета долой! *Тут* это было, перед этими окнами, у лесенки антресоли, вдоль книжных полок, но только не я, а мы вдвоем, в унисон, в два неотличимых голоса — Господи! Из каких невозвратных далей эти почти веселые, юные голоса?

*Мы быстры и наготове,
Мы остры,
В каждом взгляде, жесте, слове,
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хлеба
И волы —
Мы натянутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы из Вильяма Шекспира
Два стиха...*

Марина — выше, плотней, Ася — меньше, у обеих — кудри до плеч, русые. Никогда не в одинаковых платьях, всегда в разных, и хоть похожи, но разные, и никаких нежностей телячьих, как в ходу у сестер, — спартанство. Взгляд, неуловимый кивок, улыбка, каждая утверждаясь в другой..

Да, но в мастерской этой читали стихи не мы одни, — читал Осип, — выгнув голос лебединым движением, тогда говорили, четырнадцати лет стихи:

*Образ твой мучительный и зыбкий
Я не мог в тумане осязать,
— Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...
Божье имя, как большая птица —
Вылетело из моей груди,
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади!*

А от окон — подсказ:

...Бессонница. Гомер, тугие паруса...

Нет, я этого говорить не буду — *Маринино!* (Я ведь для того — такую старухой здесь...)

И льются в воздух мастерской строки 1914 года, столько раз прозвучавшие двойным голосом; итог стольких бессонных ночей — юности... (*Цитирую первый вариант, потом она кое-что поменяла*).

*После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, — ничьим,
В медленных жилах еще занывают стрелы,
И улыбаешься людям, как серафим...
После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг, и друг,
Целая опера в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг...
Нежно светлеют веки, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.*

Когда-то в моей книге “Дым, дым и дым” я писала: “Маринина смерть будет самым сильным, глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни...” и “Мой голос ... жутко покажется мне — половиной расколотого инструмента”. Как я могла предвидеть?..

И для чего я говорю эти стихи Марины сегодня? Этим случайным людям... Но ведь они любят Марину... Да, стихи я могу, но счастье тут Марины с Сережей — оно только во мне.

И тут — Спутник мой (большой, как некогда был Макс!), это я ему говорю муку Марины, мою, на него вею ветерком юности... И уже просьба мне — встать и пройти вдоль мастерской, будет снимок, нужный для фильма, и я иду, и лащусь о Максковы стены, и говорю, что мне радостно видеть, как все тут осталось, как было, кроме — голос мой холодеет — кроме вынесенного стола, им самим сделанного, он должен стоять здесь... Его вынесли для удобства экскурсантов. Это — грех, пусть потешатся...

* * *

... Опять вечер! Как скоро! Веселая трагическая Оксана, астматик, могущая жить только здесь (а мать ее — в Минске...), — ведет нас к меня навестившей, днем, Ире Махониной — поэтессе, художнице — Спутник ведь тоже художник, передавший дочери дар, и я радуюсь, что ему будет радость, все стены ее увешаны этюдами и портретами. Но не только собаки льнут к Спутнику моему, а и кошки, а кошек у Иры — две, мать и сын, и уже из-под пальто (у Иры свежо) у груди его ластится пестрая кошка, рыже-бело-черная, не поймешь, в сумасшедших разводах, всеми росчерками своей шерсти, своей красоты, сразу признавшая гостя, пока я глажу ее рыжего сына, темно- и светло-рыжего, дар рисунка от матери своей повторившего тигрово-леопардовыми разводами.

А гость бессовестно изменяет кошке, он поглощен творчеством Иры: загляделся девушкой-эльфом, над водою летящей, в сочетании с тяжестью гор, создающих достоверность образа, — и все это в легчайшей постели...

Но время не ждет, и мы уже вновь в зимней морской ночи, полуутопая обувью в таянии снега, подходим к жилищу Оксаны... Уют, женственность. И гитара в руках, и мелодический голос ее ведет за собой струны гитары, она положила на музыку стихи Макса, Марины, и заслушался гость...

(Опять по ночным записям! Неужели — не может быть! Чтобы в том же блокнотике, в полутьме — на кусках — *не прочтется?* Мелко, не отучусь! а — теряю зрение... То, что так зажглось под пером, рвалось к бумаге, но еще был законный час сна, я себя уговаривала, записав, *еще лечь* — и опять, как тот раз, зря? Не прочту? Нет! В путь по записям, осенив себя крестным знаменем, — ведь не в грех иду, а может быть, сумею рассказать, как идти по берегу греха Искусства, не окунуться!)

* * *

Но надо сказать об Ире, о ней самой. По-моему, она ростом — со Спутника? (Другого измерения, чем я. Ее голова — так высоко!) Крупная, большеглазая, сама на кошку похожая. Увлекалась в юности, как я. А последнего мужа, обратив в веру, отпустила в монастырь — разве не удивительно? Что-то очень родное — мне в Ире!

А Спутник — не только художник, он — писатель. Мы, лет 5-7 назад? — поэтесса и переводчица Женя Кунина, сестричка моя и я: — “такой врач, да еще художник! — пишет?” Мы ждали его с трепетом: как объяснить (он *так* умен?), что пишет он — ну... *ниже* себя, врача, — что ли? Был вечер. Мы слушали, занемев... *Этот человек пишет — прекрасно!* (Мы еще потому не верили, что сказал, что прочтет *нам* — *о сельской жизни!* Городской житель.) Но он просто сказал:

— Я по распределению был послан — в деревню. Я три года там жил.

— Как мы его поздравляли! Но — работа — дежурства — ночные, такая профессия — вырывать у смерти больных! — встречи редкие, и прошло — 4? 5? лет, пока я слышала его отроческие дни. Как тонул. Как за отвагу боролся, понимая, что в *ней* — жизнь.

Превосходно написано! И затем, еще раз — фантастика? мистика? касание к необычному!

И эта любовь животных к нему...

И раз он *так* понимает мое — и так свое пишет — мы, что, — парой впряжены — в колесницу? И тут, в Коктебеле — набираем с ним — “материал”? А в этой поездке я под его рукой, как под шатром. Как трудно понять — все. Я ему мать, а он мне — врач, отец, что ли? Это как-то ни на что не похоже...

И эта, уже 14 месяцев моя (невралгия на почве остеохондроза шейных позвонков) постоянная головная боль, которой и он тоже не может помочь? Как же это иначе понять, чем Богом посланная болезнь, и ей только одно лечение — терпение?

Но как *нежно* карает Бог, милостиво испытывает: боль, но при ней я могу писать, от нее отвлекаюсь — дружбой, встречей с друзьями, радостью о собаке... Правда, отмечаю в себе некую приглушенность чувств — ведь волнения от встречи с бухтою Коктебеля, с морем, где была и счастлива, и несчастлива на протяжении долгих лет — волнения во мне — нет? Или только человек может меня взволновать, а природа уже нет? Или эта немота — не от болезни, а только от возраста? А тот поэт с бакенбардами — неужели *забыл* сказать обо мне Мусе Изергиной? Не идет ведь... А мне с постоянной заботой о смене обуви по такой дороге... — и вдруг не застану, а может быть, она — в доме, а Джим, пес ее, когда-то щенком у меня на коленях — не узнает у калитки меня, бросится? Вот и вспомнишь тут телефоны московские, которые там *выключаешь!* Как бы включить от Муси ко мне — теперь... Но пока еще *есть* время — ждать!

И как *все* — нельзя, чего ни захочешь — телевидение, фильм, — а ведь никто из начальства к нам не пришел. В Доме-музее Макса про безобразия со столом Макса сказать некому и придется, действительно, в крымский центр, в газету писать! И кому, как не мне, — нас, друзей Макса, почти уже не осталось! И на вышку нельзя, оттуда в 1914-м году на затмение солнца смотрели за десяток дней, помнится, до начала войны, — “запечатана” вышка; и в летний кабинет Максина — нельзя, где он прятал в войну гражданскую — “и белого офицера, и красного командира”, как сказано в его Доме Поэта, — Макс любил повторять строки поэта французского:

“Je suis cet harpiste qui passe au milieu des armées”
(*“Я тот арфист, который проходит между армиями”*).

А как пишется слово “арфист”, я забыла, не помню... Рука, наверное, *сама* помнит, — любопытно проверить. (Годы уже не читаю ни по-французски, ни по-английски, ни по-немецки, — а как я любила — какой — не решить больше — эти три языка!) Летний кабинет, наш, где я при Марии Степановне отважилась переспать в 6:00, — а у Таиах (Царевна Таиах — жена фараона Аменхотепа III. Слепок с ее головы из Берлинского королевского музея находится в мастерской Волошина в Коктебеле — *Примеч. ред.*) спал Алеша Шадрин, “мое последнее земное очарование” в 78 лет... Он спешил мне — букет роз в день рождения, шел долго пешком, автобуса не было, он был на 16 лет моложе меня... седой красавец! Умер от заболевания крови. Мне написал из обеих последних больниц...

“Мое последнее земное очарование” — так Марина написала Евгению Ланну, а было ей 28 лет... Полвека позлее повторено мной — об Алеше.

Запечатан кабинет летний! Куда, загромоздив, унесли стол Максов. Все запечатано! Все — нельзя. А при Максе все было можно, в молодости...

А опять ночь, 3-я, и море бушует — как тогда бушевала юность. И как я была счастлива в тот вечер, когда вошел Алеша в столовую Марии Степановны Волошиной с донесенным мне по темноте букетом темно-алых роз! Неужели еще счастливее — Марина с Сережей — тогда?

(А Муся все не идет. ... Как хорошо я помню ее 10 и 20 лет назад, в годы расцвета ее пения, которое мы слушали с Алешей Шадриним!)

Но надо рассказать, кто был тот, кого я звала “Алеша”. Переводчик. И два слова о его биографии: молодость, красота, успех у женщин. И доносом одной из них — срок, — лагерь. Много лет. Выйдя, жил с матерью, не женился. Поступил в педагогический и в университет — сразу на два факультета — романский, германский; получив четыре языка, к ним добавив их родственные, переводил со всех европейских языков, первоклассный переводчик. Когда я впервые его увидела — ему было за 60 лет —

красавец, седой, ультравоспитанный, по стереотипу церемонной вежливости; собеседник тончайший. Нас познакомил его учитель — профессор Мануйлов, в Коктебеле. Настолько он был не похож на всех окружающих — не очароваться было нельзя. Так ныне все в нашей стране очарованы Д. С. Лихачевым.

В переводах встречавшиеся стихи Шадрин переводил безупречно; как поэт — так переводя, нельзя не писать стихов, на эти мои слова он только улыбался. Проводил меня на сельское кладбище, в Волошинскую ограду, где мать его, и мать матери, и друзья, умершие в Коктебеле, и Алик Курдюмов, 2,5-летний, умерший от той же дизентерии, как мой Алеша, за три дня до него. (Его отец, художник Курдюмов, после его смерти был отвезен женой в психиатрическую больницу, где и умер: в Третьяковке — его картина исторического сюжета. Смерть наших мальчиков была в 1917 году. Уже без нас Макс и его вторая жена Мария Степановна посадили между могил тамариск, он разросся над ними крышей.)

В 1963 году, впервые после лагеря и ссылки приехав, я, с помощью Муси Изергиной, заказала Алику и Алеше крестик, под тамариском. В 1966 году мы разделили могилки, поставили два креста. Туда, к ним, меня проводил Алексей Матвеевич, что закрепило дружбу. Одноименность с Алешей еще более сблизила; я стала звать его — Алешей. Еще сблизила нас, как и моя, его любовь к пению Муси. Все, что еще цвело романтического в нас, — под ее пение вспыхивало, как в молодости.

И всего больше сблизил нас Дом Поэта, где мы в те годы останавливались у вдовы Макса, Марии Степановны. И могила Макса, наверху одного из холмов левого края бухты (так Макс обнял свой Коктебель краями, берегами бухты — справа своим, в горе — профилем, слева — могилой. У ее левого угла, переднего, рос кустик маслины — символ мира. Ныне разросшийся в большое шумное дерево, в ветре клонящееся над могилой. Большое единственное дерево на всех пустых холмах, указующее издалека путь к нему). Мы не раз с Шадриным ходили на его могилу. В последний раз, если память не изменяет, лет 9-10 назад, в мои 84-85 лет, его 68-69. Туда от Коктебеля мы шли 1,5 часа (крутой подъем на последний холм), а назад, вниз, полубегом — 1 час. Так мы тогда были еще — “молоды”!

В Москве Алеша не раз еще посетил меня в моей новой, однокомнатной квартире на Спасской, где я живу с 1979 года — 9 лет.

Все это я вспомнила под стук колес вагона Джанкой-Москва. Была ночь. Видимо, запоздав на транспорт, Алеша принужден был лечь у меня на раскладушке, позади секретера. Среди ночи я проснулась и увидела свет в левом углу, очень *низко*, должно быть, не спалось Алеше, и он, неразрывный с книгами, стал читать. Но тут же эти мысли прервал — испуг: ведь квартира моя — на охране, как многие близ 3-х вокзалов Комсомольской площади, а начальник охраны, когда провели провода, сказал мне, чтобы никаких проводов *по низу* квартиры не проводили (освещение — все наверху, иначе спутают и нарушат охрану). А свет от Алеши шел снизу. Что он зажег? Как? Подойти? Я прокралась. Книга выпала из его рук, он мирно спал. Было сильное искушение — посмотреть, какую он читал книгу. Но я боялась его разбудить. И вдруг все затуманилось, свет погас — и в комнате, и во мне — погасло — как это могло быть? Ведь охрана поставлена всего три года, а Алеши нет уже лет — много... Я проснулась, слыша стук поезда.

Так это был сон! Явь же была та, что в Москве у меня он не оставался на ночь — ни разу... А один раз — когда в Голицыне он меня навещал в Доме творчества, заговорились, и он опоздал на последний ночной поезд; он вернулся, и я его уложила на двух креслах и одеялах, и он, вытянув длинное тело, полулежа, так же мирно проспал, как он мне сейчас приснился, — так тесно слиты сон с явью...

И не у меня ли, 50 лет назад, в стихах сказано:

*О горький жизни рок. Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы, —
Как часто Сон и Явь, в часы затмения Феба,
Меняют ощупью свои венцы...*

Все это я помнила и в ту холодную ночь в летнем Максином кабинете этажом выше, чем ложе под Таиах. В ту ночь после вечера моего дня рождения, вечера роз и пения Муси, когда что-то вспоминаешь

под романсы ее — Алеша, когда я, хлебнув мои очарования им, попросила у Бога помощи, и помог Бог, внял молитве — и настала ничем не омраченная дружба до самой его смерти...

Дом Поэта! Неописуемый, незабвенный Макс, поколения приездов к нему неисчислимого множества друзей со всей великой России, в его гостеприимный, поэтический, бедный дом, Дом Поэта, и его кроткая смерть, ранняя, в 56 лет, от болезни сердца и воспаления легких; — и, как и он, неописуемая вдова, Маруся Волошина, Мария Степановна, хранительница заветов Дома Макса, на полвека его пережившая, Дома, где эти три дня было все запечатано — нам с телевидением и Спутником моим открыта одна мастерская.

И все возвращаюсь к тому дню моего рождения, когда Шадрин ушел за розами.

Я ждала его. *Знала*, что он ушел за цветами. (Галантность? Я не скрывала никогда — возраст. Он знал, сколько мне исполнится лет!) В этот вечер обещала петь Муся. Она знала, что ее пение — есть радость моих приездов сюда. Она помнила, как, среди ее старинных романсов, услышав анненскую “Звезду”, я вспомнила ту, другую, и, напевая по памяти, ввергая ее, певицу, во власть Иннокентия Анненского, легкими искусными перстами подбирая аккомпанемент, — запела. С тех пор эта “Звезда” звалась — моею. Прослушав то искрометное, то — словно смычком по виолончели — мастерское Мусино пение, я говорила, став за ее спиной или взглядом с ней обменявшись:

— Ну, а теперь — мою...

В тот вечер я просила Мусю еще немного подождать Алешу — он так ценит ее пение — как начать без него?

В уголку сидя, я глядела на прелестную, вечно юную Мусю, слушая блеск *ее с кем-то беседы*, и думала об одном: как войдет с розами — он пошел за своими любимыми, первосортными, далеко — может быть, искал? — как он войдет в комнату, где столько людей, *как* подойдет ко мне? С розами — мимо столько дам, к — старухе? И когда он вошел — со стремительностью молодого и, лавируя меж гостей, — *прямо* ко мне — где взять слова? *У меня* их — нет. И где взять слова о пении Муси в тот вечер? Когда, сидя рядом, мы вдвоем слушали песни и чью-то любовь — в *такой* “передаче” в грации голоса, ни с чем не сравнимого, память о ней — чью? *Мое* расставание с последней любовью? Память о ком-то — Алешину? О, в таком пении ревности — нет! Вечер — мой, розы — мои, темно-алые — и *как* он их подал *мне*! (И *сила* — без музыки *воспоминания* об этом — сейчас! В 94 года...)

...Мой последний любовный опыт!

Какая это была ночь! Еще звучали в душе обе “Звезды” — та, избитая, бывшая душой прошлого века, и — поздняя, строгая, изысканная, как портрет моего “последнего земного очарования”, носящего имя маленького умершего сына — такое совпадение, не Богом ли посланное, как это число “16”, дважды повторенная разница лет между ним, седым красавцем, и мной, сохранившей только напоминание обо мне в зрелости; и второе “16” лет — промежуток между моей небесной любовью к нему и случайной поездкой теперь в Коктебель, по требованию сына и радостно принятая моим сопровождающим, вдвое меня младшим, под его дружеской и врачебной рукой; его же радость была в том, чтобы впервые в таких неожиданных обстоятельствах увидеть прославленный Коктебель! Он давно знал стихи Макса — и теперь увидит его Дом! Его море!

Эту ночь холод в летнем кабинете Макса был отменный, и я водрузила на себя все возможное и невозможное; согревала же меня, добавочно, память о Мусином пении. В тот вечер, как всегда, когда я приезжала, Муся пришла петь — для *меня*, особенно вторую “Звезду”, за три с половиной десятилетия мною в тюрьме услышанную, Иннокентия Анненского, в которой полыхала душа стареющего Алеша, *так* слушавшего в тот вечер пение Муси, так, должно быть, свою жизнь вспоминавшего...

Не в тот ли вечер, не под эту ли “Звезду” я так, в последний раз, погрузилась в мое увлечение Алешей, что из него *вынырнула* — в Искусство, в собственной души — *освобождение!*.. Что уже с совсем чистым сердцем бросилась сушить его очень большие ботинки, которые он промочил (меньшими и не могли быть по его стройному высокому росту), и теперь их удобно и безопасно устроив на

нужном расстоянии от Максиного калорифера, перекрестив Алешу, уже лежащего, благодарного, на одном из диванов под Таиах, ушла к Максусу наверх, в ледник, только чуть-чуть холоднее, чем под Таиах, *убедив* Алешу грудой одеял и пальто уносимых, из которых он взял себе только одно, — а печурка уже погасла, не награв мастерскую...

И вот — эта ночь! В Максином кабинете. Пламенность моей молитвы о Помощи!

Все человеческие чувства, и страсть, которою любовь выражается, на нее непохожая, имеют *дно*, будучи — сами — бездонны. И все повисает в воздухе, безвоздушном!

Помню, английский поэт Fitzgerald (Имеется в виду Rubaiyat of Omar Khayyam the astronomer-poet of Persia, Leipzig, 1910 — *Примеч. ред.*) перевел стихи Омара Хайяма, перекликающиеся с Мариной, с моей зрелостью, годы назад упоенной Омаром Хайямом... Кто теперь мне на потребу процитирует позабытые, любимые его строки?

Наша жизнь *от* земли отлетает, на землю падает!.. Неутомимость любви — здесь... Выше, выше! Выше неутоленности — неутомимость...

Неутоленная любовь — выше утоленной?

Отчего же так мил человек, так драгоценен, что в мгновенном затмении кажется драгоценней всего!..

Господи! Ты, который *все* можешь, Чье Сердце, Его Ритм, Его Пульс (это я где-то прочла) бьется Чудесами (побеждая законы Природы), Ты, который из грешника можешь сделать Праведника, Биением Твоего Сердца — неизбежными, неисчислимыми чудесами, самую суть всего составляющими... Сделай со мной маленькое, простое чудо — чтобы не искушалась я искушением, ничего не хотела бы для себя, чтобы я *легко* делала то, что я *трудно* делаю. *Чтобы я поборола себя!* Я ведь знаю — не это ли мне в юности моей толковал Волошин, — что мы *получаем* только когда *отдаем*, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая — в ответ!

Научи меня *побеждать* себя...

Разве не ясно, что все человеческие страсти и любовь, все человеческие возможности дадут *один* итог — пресыщение. Почему же мы так слабы, что хочется себе — хоть немножко... Ох, какая долгая ночь... Как холодно...

(Ничего не разберу в записях!) Но еще не предала в забвение — как в день отъезда, когда я хотела просить телевидчиков довести меня к Мусе — потому что она не шла, и поэт тот, может быть, и не сообщил ей, что я тут, — вдруг весть: мы не в Феодосии грузимся в поезд с аппаратурой, а должны сейчас, чтобы не опоздать к поезду, лететь на машинах — в Джанкой, такие билеты достали. Прощайте, моя Мусенька! Летим в Джанкой.

О радость! По пути на поезд машина остановилась у домика коменданта кладбища Полины Леонидовны Грицкевич, недавно мне приславшей цветную фотографию Алешиной могилки — в цветах, она смотрит за нею, показывает ее спрашивающим, где тут сын Цветаевой, и говорит, что Марины Цветаевой тут нет — она далеко, в Елабуге. Старушка, которой я шлю нужную ей гомеопатию, вышла ко мне — и мы обнялись. И машина помчалась...

По приезде в Феодосию три дня назад меня повели наискось от вокзала, в родную “Асторию”, где в 1920-м, в первые дни там красных, давали даровые обеды — пулярды! — за работу в библиотеке Наробраза (пулярды скоро сменили — макаронами...). Мы со Спутником успели только перейти путь, как подошел на Москву поезд. И вот мы едем, и нестерпимая жара вагона, просто нечем дышать!.. А скамеечки, на которых мы лежим, так узки, как ни в одном поезде — до сих пор! Юра стелет матрацы, и они с полок — спускаются. Ночью я, во сне, просыпаюсь, повернувшись, лечу с моего места — и от чистого страха — вот сейчас сломать шейку бедра, стать инвалидом — полупадая, повертываюсь в воздухе и кидаюсь к стенке, спасена! И тогда я сбрасываю от жары одеяло, свертываю по ширине, толсто — и кладу на пол — чтобы, если еще раз полечу, — не об пол, а об одеяло! И рикошетом — страх: что будет, когда утром, с чаем, войдет проводница и увидит одеяло на полу... Но сон морит — я сплю...

Продолжаются мои ночные записи — Бог в помощь! Что добавить к этим страницам? О Москве, что продолжится?

Мои одинокие московские утра с ожиданием, что кто-то зайдет, и дам мешочек измельченного хлеба сойти во двор и покормить голубей, знающих ритуал, как знают шаги хозяев своих собаки: моя песенка им в окно с ритмическим стуком и появление внизу человека с мешочком — и тогда с шумом вниз — с моего балкона, не ошибутся ни в чем никогда.

И мои одинокие вечера, когда я, проводив друзей, — одна, наконец, кончаю день, улыбаюсь рассказу друга моего Доброславы о ей подаренной кошечке (с моим именем — “Ася”, — оттого и взяла), как она с каждым днем все больше делается человеком и неизвестно, что из этого получится...

И надо же, чтобы за год до того за ней увязалась “Ася” — собака — ее удалось переустроить в хороший дом, — а Ася, кошка, прочно у них поселилась — и часики ручные Доброславины стала уносить — в мордочке, а не об пол, *поняв*, что они — живые, и осторожно каждый вечер их уносит во рту себе на потребу в уголок передней. (*Мне урок: “себе на потребу!”* Но она — кошка, а я — человек, мне — нельзя.)

А поезд все мчится и мчится по бессонным полям.

Спутник, после бессонных ночей — годы работы — в реанимации, — сон победил жару, слава Богу — уснул...

“Бедный, бедный Алеша!” — думаю я, листая тетрадку стихов, посмертную, присланных мне наследником Шадрина. Листаю и мысленно отмечаю то, что может пойти в печать.

*Жизнь, должно быть, опять обманет,
Как бывало уж много раз,
Только — как ты ей благодарен
За сегодняшний светлый час!*

Читаю и узнаю его скрытую силу:

*Когда приходят под вечер метанья,
И одиночество, и дрожь —
Скажи себе: и это испытанье,
И через это ты пройдешь!*

Где та, о которой он пишет? Жива ли? Знает ли, что его уже нет?

*Мне б тебя лелеять и радовать,
Мне беречь бы в тебе мечту,
Но любовь моя — с перепадами
И — с провалами в пустоту.
То — упорные, неумные
К свету рвутся ее ростки,
То — ложатся полосы темные
Отчужденности и тоски...*

Читаю и думаю, с нежностью, о бедной его подруге... Дальше — следы эпохи прожитой:

*Был неба свод и сер и слеп,
А на земле нам хлеб был небом.
Мы разговаривали с хлебом.
Был год: мы целовали хлеб.*

Да, и голод был ему ведом, и тюрьма, и лагерь. Вспоминаю мельком сказанные слова, что женщиной был написан донос...

*Беспомощностью собственной унижен,
К себе войдешь и изумишься ты.
Ты видишь: кошка нюхает цветы
И в них травинку тоненькую ищет.
Что, если б так вот сам ты был мудрей,
Что, если б так ка миг себе поверил,
Иль просто поучился у зверей,*

Откинувших свое высокомерье?

И еще, еще...

*Что страхи, что – томленья, что – потери,
Разрозненности хаос и надрыв:
Бессонница? – приоткрывает двери
Она теперь в незримые миры.
И, может быть, былых раздумий тропы
При ней лишь воедино сведены?..
Бессонница моя! Мой поздний опыт
Полета. Постиженья. Глубины.*

Об этом ли думал он, слушая пенье Муси Изергиной, взволнованно:

*Пусть вел он к буре и к беде
Обоих нас от глади торной,
Я все отдам за этот день,
За взлет шагов и воздух горный,
За узнанную синеву
Средь низких туч нагроможденья,
За – это солнце сквозь листву:
Несбыточности пробужденья.*

И вот — о тюрьме:

*Везде вас хочу узнавать я,
Везде вы мерещитесь мне –
Чугунные прутья кроватей,
Чугунные прутья в окне!
Как нить, эта память продлится,
Останутся всюду со мной
Небритые впалые лица
С недавней на них сединой.
И взгляд их потухший и кроткий,
Оглянешься по сторонам –
Все те же шаги у решетки,
Все те же мешки по стенам.*

*Чужие тяжелые доли,
Пожатая тяжелые рук,
И мысли о людях, о воле,
О жизни, замкнувшейся в круг...*

Даже после лет заключения — вновь — бунт:

*Я и так уйду успокоенный
Накануне Большой Беды.
Не хочу я жизни устроенной,
Тихой пристани у воды.
А потом – тревоги задымленной,
И над гробом – толков кривых,
Я уйти бы хотел без имени,
Без могилы и без молвы.*

“Бедный, бедный Алеша! — думаю я. — Мой Спутник проснется — прочту ему то, что отметила. Он так все понимает!”

Перевернула страничку — и ни слова не понять! А столько в перо вошло! Ушло! И полет бурным утром строк — вверх, вниз — видно, как полыхало сердце... изнемог ум... полыхало! И в памяти вдруг — значение древнееврейского языка: ‘Тур’ — это “лев”, а окончание фамилии Спутника — “финкель” — немецкое “finkel” — иначе не сумела бы перевести, как — “полыхание”...

А дальше — две строчки блокнотика так любовно слились, что никто не прочтет.

Зачем я так спешила? Не упустить мысль, образ, вдохновение каракулей нечитаемо *навсегда*, все ушло, часть ночи ушла, откололась и отскочила — в забвение...

Ведь с юности поняла — все здесь безнадежно, подвержено заживо — тлению, потому что мы, бессмертные, умираем каждый день, каждый час.

И с юности не пойму, отчего же так *мил* человек, тленный, подверженный всем влияниям, как огонь на ветру? Что же светит в нем, как маяк в ночи, как лучина — в темной избушке? Образ и подобие Божие?

Марины Цветаевой:

...Тем ты и люб, что — небесен...

Снова, как в молодости, *мы с ней в унисон...*

И опять эта коварная стихотворная лирика, в которой мы сожгли нашу молодость, вот она в старости, здесь...

*...Руки люблю целовать
И люблю имена раздавать,
А еще — раскрывать двери
Настежь, в темную ночь...
Голову сжав, слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный лес...
Ах, ночь! Где-то бегут ручьи,
Ко сну клонит,
Сплю почти,
Где-то в ночи —
Человек тонет...*

Фантастика прошлого, 1911 года: Марина уже вжилась в Коктебель, меня ждали позже. Неузнаваемость впервые веселой, счастливой Марины — в шароварах, чувяках, загорелая, как мальчишка, — невероятный Макс и мать его, все больше похожая на карточного короля (безбородого!), Игорь Северянин, манерно нюхающий розы на кусте, испанка Кончитта, в Макса влюбленная (“Как не понимает она, что Макс — общий, ничей?”— думала я), ее веер и смех, катящийся золотыми шарами, поэтесса Мария Папер, читающая ужасные стихи, несмотря на явность того, что ее не слушают. Один день до ночи, среди этого бреда, наутро превратившегося в явь: Северянин и испанка — брат с сестрой, Сережа и Лиля, Папер — еще сестра, Вера, однодневный спектакль, на мою изумленность. Розыгрыш! И мой в 15 лет ответный спектакль — не изумиться, как бы заспать “вчера” и принять “сегодня” — мои первые два дня в Коктебеле...

И фантазмагория настоящего: седобакенбардовый бард меня, в 94, зазававший в “Травную чайную”, где, как-будто в зеркальных стенах, за каждым столиком — самовар электрический, и им управляет дама почтенных лет. Ни в одном чайнике — чаю, в каждом — эликсир трав, от которых мне — тошно... Но, нацело отвратясь от современного бреда, я тщусь поднять с колен — красавицу юную, должно быть, что-то мое прочетшую, что ей по душе, и в ответ на ее поцелуй на моей старой руке — я, целующая ее ручку. Она, как и я, “отсутствует”, а работает она на заводе, на каком-то кране... фантастика! И Спутник, все в себя, писателя, вбирающий, меня от всего защищающий. И настоящая темная ночь, звезды над снегом. И память о Марине с Сережей, их — вечном, надо всем — счастье...

...Темная ночь, и по ней несется наш поезд. Юра покрыт простыней, и голова к окну — не простудится? (Отчего — пока мы тут, а не в вечности, все время о чем-то страдаешь? Без перерыва...)

...Мы проехали Харьков... Это уже не Крым, Россия... Надо уснуть и заспать все: молодость, старость... И вдруг — опять Алеша Шадрин! Господи, помоги! Лет восемь спустя, когда ему уже было 70, он, приехав из Петербурга в Москву, быв у меня, рассказал в смущении, что им увлеклась девушка 16 лет (роковое число 16!). Он не знает, что делать... Оттолкнуть, как бы мягко это ни сделал... он, может быть, не договаривал, что *он*, в 70... что *ему* в сердце вошла девушка эта... *Как* я просила его — устоять! Не искушаться, ибо тут нет будущего, а ради настоящего... я уговаривала его — *пожалеть* ее! В будущем? Он слушал, смятенно...

Я боролась за его достоинство, за *его* душу ... Мне радостно вспомнить, что он “внял голосу разума”... что он — устоял... Быть может, и Юре, в *его* будущем, предстоит такое... Господи, помоги ему в тот день!

...Уже вспоминаю. В завтрак, обед, ужин, три дня Спутник кротко ест невкусную еду, не снисходя говорить о ней.

И вот — печатями на последней странице моего дневничка путевого: “Зимний старческий Коктебель”.

Первой печатью — письмо в Москве Мусе Изергиной, с которой я дружу более 20-ти лет, ей 89 — почти отчаяние о не встрече... Голос ее до сих пор в душе моей звучит над роялем Маруси Волошиной, на котором — по легенде ли, в яви ли? — играли и Скрябин, и Рихтер...

И еще печать: весть — после нас снег стаял, настало тепло, поэт снова купался, было так холодно, что лежал снег...

Значит, для *нас* он лег и лежал — как иначе?

Третья — голос в телефон режиссера фильма о Марине, сестре моей: “Здравствуйте, я просмотрел материал — очень складно получится”...

А в Москве еще не зима, и зимний Коктебель кажется сном, и с этим ничего не поделаешь...

Вспоминаю: как хотелось мне, чтобы Спутник *был* со мной на могилке моего сына Алеши, — но я умолчала об этом, и он, поручив меня Оксане, хотел остаться, не умножать простуды. Поэт пытался меня удержать от похода на кладбище по такому снеготаянию — “Там очень грязно...” Отвечаю: “Кладбище — на горе, с нее все стечет...” Обращаюсь с молитвой о помощи мне *идти* — и тотчас к дверям подъезжает машина телевидчиков, вернувшаяся из Феодосии. И мы едем, и Спутник — со мной.

...Москва! Коктебель — приснился? Но ко мне пришел Спутник — и я ему прочту все, что тут мной написано. Он — писатель, на его суд. Сказала — я? Не сказала — лучше поздно, чем никогда, что я уже 12 лет называю его сенбернар, и хоть много собачьей — выставочной — красоты сошло с него в ночи реанимации, — но это тот же заслуженный — Сен-Бернар, в Сен-Готардских горах, спасающий заблудившихся путников — силой лап, роющих снег альпийский, и в руки принимающего, разбуженного сующий бочоночек с ромом...

Сегодня он мне принес фантастической красоты ветвь винограда — “Крымского”!

И мой самый любимый, детским пряником пахнувший бородинский хлеб!

И я прочту ему, выслушаю его суждение — и вот я дописываю то, что не удалось сразу, — мое горе не встречи с Мусей, — долг подчиниться спешке машин, не могущих опоздать к поезду, — не в родную Феодосию — тогда бы я к Мусе — успела! а в Джанкой (мы за три минуты до прихода московского домчались, и два сердца — Мусино и мое — бьются негодованием и горечью...).

Сердца Алешиного *здесь* — *уже нет*! Но с нами мой Спутник, он с нами, наш Сен-Бернар.

Но память о прожитом, пережитом, перестраданном — вечна, и да будет *ей* *пухом* — земля...

И — которой печатью? — на этих страницах — слова по нашему возвращению в Москву моего сына: “Я следил за погодой Крыма, снег! Вы осенью с севера — уехали. Обошлось? А на юг *без* Гурфинкеля было бы *безумием* ехать!”

— Да, ты был прав, Юра — прекрасный Спутник! — ответила я.
А Вечность — бескрайним своим разливом затопляет мои берега...

МАРИНИН ДОМ

1912-1922-1980

Быль

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще 30 лет назад писатели начали думать о мемориальной квартире Марины Цветаевой. Те, что бывали у нее в последней, московской любимой квартире в доме № 6 по Борисоглебскому переулку, — Павел Антокольский, Илья Эренбург, Константин Паустовский приступали к хлопотам по этому делу.

Дом № 5 по теперешней улице Писемского был перенаселен, и ему грозила опасность разрушения и переделок. А важнее всего было сохранить планировку интерьера. Вместо этого в 1962 году, при капитальном ремонте, сбили архитектурные членения фасада, тем обезличив дом. Выбросили дубовые двери, уничтожили цветные витражи на парадной лестнице. Начались хлопоты. Надо было остановить такое обращение с архитектурным памятником эпохи. Дом этот, как удалось обнаружить Н. И. Катаевой в архитектурном архиве ГДИНТИ, принадлежал с середины прошлого века некой асессорше Цветаевой. Любопытно? А как уж мне пришлось узнать за мою долгую жизнь, встречаясь с якобы однофамильцами, расселившимися по разным губерниям России, разным областям Союза, Цветаевы происходили издавна как бы из одного гнезда, из бывшей Владимирской губернии.

Когда произносят имя “Марина Цветаева” — помнят: трагическая судьба. Оно так было. Но кто помнит года счастья? С ее удивительным мужем, с прелестной маленькой дочкой. Но я ее молодость помню. И я хочу о ней рассказать.

О том, как Марина была счастлива. Как она вила себе романтическое гнездо. Обе мы любили старину, еще не утешились от разлуки с отцовским домом. Марина хотела найти некое подобие его.

ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Он как-то сам пошел в руки, как голубь ручной — чуть ли не в первый день поиска.

Разгар лета 1912 года, к осени. Мы обе ждали наших первенцев.

Марина и Сережа входят ко мне в самозабвении:

— Ася, нашли! Ты себе не представляешь!

Сережа, от радости перебивая:

— Асенька, это такое маленькое чудо!.. Мы уже сняли, на три месяца! Вы сможете с нами пойти туда? Мы — еще раз?

Идем, лиловый от синевы день. Собачья площадка, напротив Дурновский переулок. Уютная калитка в воротах. В избытке впечатлений Марина не упомянула о том, что даже в Трехпрудном не было, был — камин... Настоящий камин, как в старинных книгах, которые в детстве читаешь.

— Ася, за окнами будут мчаться санки, кони будут отбрасывать снежные комья, а в каминной трубе будет гудеть огонь... Сереженька, мы здесь поставим рояль, будущий... Вот так!

Марина мерила длину стены.

— Тут — тот диван, который мы видели в антикварном арбатском... Это будет ваш кабинет, да? Где вы поставите ваш письменный стол? У окна? Мы повесим тяжелые занавески — чтобы наши легкие...

— А как вы, Мариночка, хотите, чтобы я занимался при свете окна с тяжелыми опущенными занавесками? — с неизменным, немного лукавым юмором отвечал Сережа.

— А где книжный шкаф? (так получалось, что, еще не ввезя вещи, для них уже не хватало места!).

— Марина, — кричала я из соседней комнаты. — Ты ж мне не сказала, что в этой комнате нет окон!

— Как нет? Есть окно, — в потолке! Чудное окно, потолочное, — увлеченно поясняла Марина. — Это будет наша столовая!

— Только мне подозрительно, Сереженька, — сказала Марина, — как хозяйка говорит: “Ладно, пока сдам... Если отложу капитальный ремонт — до весны”. Зачем только эти хозяйки — у таких чудных домиков?..

Мы входили в длинный коридор с истертым дощатым полом, на нем — выношенная поблекшая дорожка, когда-то в еще зримых узорах. Но стекла в замысловатых переплетах (кое-где в уголках торчали не захотевшие вылезти узенькие цветные осколки) были чисто вымыты, в них сейчас, углом, попадало предвечернее солнце, как кошка, лапаясь о ноги вошедших.

— Тут чудно будет жить! — сказала Марина. — Сейчас увидишь, какая же детская! Сережа распахнул тяжелую парадную обитую дверь — черноклеенчатую.

— Узнаешь? — сказала мне Марина, — как на черном ходу нашего дома...

В ее голосе дрогнула неуловимо печаль. Мы стояли в маленькой, но довольно высокой передней.

— Бра! Видишь? керосиновое... И шар матовый, как у нас в зале...

Через белые створки двери мы и очутились в просторной комнате в два окна на Собачью площадку.

Мы стояли в маленькой квадратной комнатке — в продолжение начатой анфилады. В открытую дверь видно было — насквозь взглядом, проходя, следующее по прямой помещение — и еще одну раскрытую дверь, в четвертую комнату. Все четыре шли по прямой, все они равнялись длиной — ширине домика. Только та, которую уже назвали столовой, была короче, так как из отрезанной ее длины состояла передняя (поэтому “столовая” была квадратная, остальные же — продолговатые). Полюбовались на мутное потолочное окно, на его стеклянные слои. В стене, противоположной передней, темнел стенной шкаф, начинавшийся не от пола, а на аршин выше: две широкие, красного дерева, полированные, с резными украшениями, створки, открывавшие за собой уютную глубину, делившуюся двумя полками.

— Какая прелесть! — сказала Марина. — Тут я поставлю любимые книги: в два ряда, и три бы уставились, но вынимать неудобно...

— Но, Мариночка, это же шкаф — в столовой. Это, вероятно, скорее, буфет, — заметил Сережа, закрывая створки шкафа, и повернул воткнутый в одну из них фасонный ключ. Послышался мелодичный, почти музыкальный звон.

— Чтоб в такую волшебную шкатулку ставить — посуду? — негодуя сказала Марика. — Неужели вам нужен буфет? тут будут жить — книги!

— Отлично! — сказал Сережа.

Это, Марино окно, приходилось к тем двум, “Сережиным окнам”, выходящим на Собачью площадку, — под углом. Мимо этого Марино окошка не могли по идее ее санки промчаться — за ними была глухота дворика, его мир, его уют и его тишина. Слева от него была дверка, но она была закрыта.

Сережа тронул крючок, но он неожиданно легко откинулся, и мы оказались там, где побывали в начале осмотра.

— Какие-то неожиданности, да, Ася? Вот это мне и понравилось. Прельстило, — увлеченно говорила Марина, — какое-то тут есть волшебство... Не все смогут жить в такой квартире — ты чувствуешь? Окна, двери, где их не ждешь... Во всем этом есть — замысел...

— А вот здесь у вас, Мариночка, непременно должна быть занавеска, от потолка и до полу, — не менее увлеченно говорил Сережа, — и тут она висела, это видно, деля комнату надвое. По этот бок занавески не будет, наверное, ваша спальня?

— Ненавижу спальни! — сказала Марина. — Люблю спать на диване. Вид кровати — чужой вид. Тут я диван поставлю. А в эту дверь я буду выскальзывать иногда рано утром, когда не могу спать, во двор — когда встает солнце...

Не шутить Сережа не мог. Глядя на Марину обожающим взглядом огромных, скорее темных, чем светлых глаз, он сказал, поддразнивая:

— А вы уверены, что оно с этой стороны всходит?

Ответ был вполне неожиданный (не любознательствуя — восток, запад).

— Когда мне это понадобится — взойдет!.. — сказала Марина, поднимая на Сережу чуть укоризненный и уже прощающий взгляд.

“Анфилада”, так любимая нами в Трехпрудном, — кончалась: мы стояли в детской. Пройдя Маринину, не остановясь перед топкой печи, незаметной, мы все разом остановились перед объемистой, выступающей изразцовым кубиком печкой, от полу и почти до самого потолка, она являла собой как бы сердце комнаты.

— Синим обведены изразцы, как наверху, в нашей детской! — счастливо сказала Марина, — наша дочь будет любить эту комнату, как я любила — как себя помню — ту! Ты еще с няней твоей жила в Лериной (Лера еще не кончила свой Екатеринбургский институт), а Андрюша еще жил со мной в детской...

Она стояла у окна (оно, как и в предыдущей комнате, в коротком торце, выходило во двор), распахнув большую — в четверть окна — форточку, и, чиркнув спичкой у вынутой папиросы, стала курить в окно.

— Не приучайтесь, Мариночка, курить в этой комнате, — голосом мягким, точно погладил кота, не удержался сказать Сережа.

Неожиданно краток был ответ:

— Тогда не буду...

Мы выходили к началу Собачьей площадки — маленькой площадки, продолговатой. Посреди было скромное подобие скверика. По обе длинные ее стороны — старинные домики, друг с другом не схожие, разного цвета и высоты.

— Тут, в одном из них, Пушкин бывал, — сказала Марина. — Вот по этим камням ходил... В какую входил дверь?

— В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! — сказал Сережа.

Распределив, где что будет стоять, Марина так радовалась. Только перевезти и поставить! Но настала чудесная погода. Надо было ехать в Тарусу, познакомить Тьо — с Сережей (он ей так понравился... а Тьо — Сереже, он такой никогда не видел!). И они поехали.

А когда они оттуда приехали (через несколько дней) — я узнала: Тьо сказала им, что жить по квартирам — не дело, им нужно купить свой собственный домик, чтобы устроиться в нем на всю жизнь, а не зависеть от какой-то хозяйки! Марина вспомнила про этот ремонт весной: они только что вживутся тут — а хозяйка захочет заново все переделать! Тьо — права...

И когда Тьо обещала им оплатить покупку небольшого особнячка, тогда только они поняли, что это — как в сказке! Они будут жить в подарочном доме, который они сами найдут!

Кто знает, кроме счастья, веселья и молодости, которая фантастична может быть, в этой вдруг открывшейся жажде своего дома, романтического — пружиной этой вспыхнувшей страсти было то, что мы-то с Мариной хоть родились и жили в доме отца, а все же не в нашем, наследники его были Лера и брат Андрей, дети по первому отцовскому браку, и в какой-то страшный, невыносимый день он должен был стать — не нашим. А Лера и Андрей были совсем другие, чем мы, — и они этот дом не любили. Они говорили о его недостатках и неудобствах. Об этом они говорили согласно, хотя они были совсем друг на друга не похожи. Лера любила во всем простоту — и чтобы свежий воздух, Андрей хотел стильную, старинную мебель, говорил, что в доме собрано все разных эпох, как на Сухаревке, мечтал все устроить иначе... Обо всем этом было лучше не думать, и пока мы жили там — мы умели не думать. Теперь же, когда Марина с Сережей так одинаково все чувствовали, — пусть ищут свой дом...

И тогда первый “Маринин дом” перешел ко мне — по наследству.

ПОИСКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА

— Третьего дня, вчера — весь день! Ничего, — говорила Марина. — Понимаешь, совсем все чужое. В одном доме крыльцо — как в Трехпрудном, так же выступает к мосткам, и крона дерева почти

над крышей парадного, и нижние комнаты — немного похожие. Но нет анфилады. А в другом — Арбат, родной переулок, но вместо антресолей — мезонин... И какая-то затхлая лестница...

— Вы по объявлениям ездили?

— И по объявлениям, и так... люди дают адреса. Ни от одного сердце не загорелось. Придется — в Замоскворечье... Ни одного такого двора, как в Трехпрудком. Есть уютные, точно там в детстве когда-то была. Сереже один домик понравился — но вообще без лестницы — это же не дом!

— Такой, как наш, не найти... Да и велик вам...

— Будем еще искать. Тьо так добра, дала деньги! Так поняла нашу мечту — иметь свой волшебный угол... Знаешь, где искали еще? В Неопалимовском, на Плющихе — где Тьо с бабушкой жили...

— Я из того дома помню только собачью будку, — сказала я, — и собаку, и еще — кусок крыши, и на ней сережки тополиные...

— Тебе года три было, наверное, мне — пять. Когда бабушка болеть сильно начал — его повезли за границу. Они дом продали, а потом бабушка тете стал искать усадьбу в Тарусе, чтобы ей после него там жить... Нет, я дом в Неопалимовском хорошо помню, ну, такой нам не по карману, нам — маленький! Но ты понимаешь, надо, чтобы об него душа зажглась...

— Ну еще бы! Но ведь Сережа у тебя сам уютный. Борис — ему вообще дома не надо! Никакого. Я думаю, в Замоскворечье вы...

Из Замоскворечья Марина с Сережей приехали — восхищенные. Но ничего не найдя. Марина ко мне бросилась:

— Ася, какой кот! Точно сейчас из трубы вылез! Черный! И какой ласковый... Мурлыкал — как катает орехи, такая крупная вязь... Он так выгибал голову — противоестественно! Он ничего не замечал — он смотрел мне в глаза, понимаешь? Сережа сказал — оборотень... Но этого не может быть! У него же глаза были совсем невинные, небесные...

— Голубоглазый кот?

— Совсем не голубоглазый. Так бывает иногда на закате... Как мое хризолитовое кольцо! И при такой ленивости такое достоинство! Котиное... как в трехпрудном Васе...

— Ты изменила черному трехпрудному Васе... — сказала я укоризненно.

— Ася, как родной брат! Сережа от него увел меня — за руку... Ты сама б от него не ушла!

— Если б ты видела этот дом! — говорила на другой день упоенно Марина. — Двор — маленькая усадьба. В углу, как в нашем детстве, заброшенный домик колодца. Две огромных будки, собачьих, одна пустая, в другой — яростный пес. Но он на меня скоро перестал яриться, махал хвостом. Я хотела к нему подойти, я уверена была, он бы меня не тронул, но Сережа меня не пустил! Дом — с антресолями, сбоку похож на наш. Но большой и парадный. О цене мы и не спорили. Я просто стояла и любовалась. Два флигеля. Деревьев еще больше, чем в нашем дворе. На качелях девочка лет восьми. Сидит, чуть покачивается, ногой в землю, а на коленях книга, читает. Я бы к ней подошла, но ее позвали, она убежала. Целый мир! Но девочка не как мы, а с косами. Окна — в шесть стекол. Мы как будто в гостях побывали.

— У собаки? — сказала я.

— Рыжая, большая, дворняга. Но, может быть, кошек гоняет — ни одной во дворе!.. — Ася, но помимо домов — какие-то чудные переулки... Почему-то мало людей — или мне так показалось? И какие-то ласковые, и так смотрят... Знаешь, мне это все напомнило — Тулу. Помнишь, в детстве с мамой ездили в Тулу? Какой-то особый уют. Хорошо, правда? Сереженька, если мы в Замоскворечье поселимся? Даже на Тарусу немного похоже — кусты бузины... мальвы под окнами...

Вскоре, может быть — на другой день, Марина пришла усталая.

— Не поедет сегодня! Передохнем. Собственно, один дом остался в душе — но, наверное, не по средствам: очень уж какой-то торжественный — правда, Сережа?

— На Ордынке тот? Да, но он очень стар, там ремонт нужен... И слишком уж много комнат, ни к чему. Да и дорог, конечно... А хозяин — в нем что-то от Диккенса, да? Такой — лорд! И мне кажется, злой... Но — картинный!

— Он на Плюшкина был очень похож, — сказала Марина, — только моложе. А еще в одном — Ася, какая собака! Ты знаешь, мне кажется, я никогда не видала такой собаки!.. Я бы из-за нее одной могла купить тот дом... Но Сережа не согласился — говорит через год — рассыплется...

— Проще было бы собаку купить!

— Они не продавали! Кто же такую собаку продает?!

НАХОДКА, ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

— Ася, все решено! — сказала однажды в прекрасный день Марина. — Покупаем! Уже и сил нет искать дольше — но главное — мы нашли дом, который похож на Трехпрудный! Не все, конечно, но и лестницы, и антресоли, и такие же друг за другом зала и гостиная, и за гостиной — маленький кабинет! Я ненавижу спальни, ты тоже? Сережа будет жить внизу, в кабинете, а я — наверху, рядом с детской. Тебе понравится, вот увидишь! Моя комната длинная, небольшая, и два окна друг к другу углом, как у тебя в углу в нашей бывшей детской! Сразу видишь все закоулки двора! Там большая береза, и возле нее маленькие, и кусты. Кусты всюду. Сегодня не можешь? Тогда адрес запомни. Может быть, сама к нам приедешь, мы там будем завтра до вечера! Улица Полянка. А дом — в переулках, на углу Первого Казачьего и Екатерининского. Очень тихие. Такая провинциальная старина... Мы будем очень торопиться с перевозкой вещей — ведь из разных мест: у Лили и Веры, из Трехпрудного... Я уже папе сказала, он обещал посмотреть. Лучшее из всего, что мы видели, — и как-то совсем отдельно, как будто маленькая усадьба. Мне даже показалось так: выйдешь, завернешь за угол — и река, косогоры... Сережа сейчас у сестер. Хочет забрать свои книги, учебники. Как только переедем, сразу засядет учиться, хочет скорее сдавать экзамен, при округе... Только бы температура не помешала! Но печи — хорошие, туда соседка их заходила, пожилая, уютная. А наверху — три комнаты. Одна даже лишняя — большая, как детская. Но моя странная, узкая и волшебная. Я сразу почувствовала, что — моя...

— Я очень за тебя рада! Наконец! Завтра приеду.

И во вдохновении, от Марины зачерпнутом, я на другой день окунулась в ее восхищение. Двор, какой двор! Акации и тополя, как в Трехпрудном, а посередине — береза! Кусок Тарусы. В пустой будке собачьей, увы! — пса не было — но он будет! Дом без пса? Но коты мелькали, разношерстные, дикие, — приручатся!..

... Почему-то двое ворот, под углом! В разные переулки! Так только в детских книжках бывает!

Будущий мой сын не давал быстро взойти на лестницу — Марина еще всходила легко. Наверху, на площадке лестничной, меньше, чем обводили перила, — там в нашем детстве было три двери: две напротив друг друга, а одна — перед последней ступенькой. Эту раскрыла Марина:

— Детская! Видишь: просторная, чтобы бегать, потом... Тут — кровать, а тут — нянина. Нянки у печей любят!

Выходя, показывая направо:

— В эту комнату я еще ничего не придумала — какая-то без уюта, еще непонятная. А вот эта дверь — в мою! Иди осторожно, не задень за угол перил!

Мы стояли в комнате вдвое уже, чем детская. Чем она казалась странной? Может быть, тем, что окно в ее правом торце расширяло ее ширину, в то время как второе окно, если стоять у торца правого, — было почти незаметно, вписано в конец длинной стены. И отчего-то казалось, правда, на миг, пока не сообразишь, что неверно, что комната не прямая, а с поворотом — поворота же не было.

— Нравится? — увлеченно сказала Марина. — Теперь слушай: книжный шкаф, мамин, будет у Сережи внизу, в кабинете. Мы купили на Арбате, в антикварном, два кресла красного дерева, может быть, их тут... Посмотрим! А вот мечту мою давнюю (мне стало трудно по антикварным) — Сережа давно уже

ищет. Я говорю о шарманке! Я ее так хочу, но вот в этой комнате ей как-то нет места, шарманка должна иметь свой, глубже, чем комната, угол... Чтобы она оттуда, из глубины играла... Раз ее невозможно носить!

Мы спускались.

— Когда научатся по этой лестнице дети спускаться? — раздумчиво сказала Марина, пропуская меня вперед. — Держись за перила. Наши дети, когда и мы-то не очень... Падать они будут, что ли?

— Мы-то не падали? Отчего-то не падали!

— Да, но та лестница была как стрела, а эта какая-то с поворотами...

Тут одна ступенька — вдруг — маленькая, я чуть не упала вчера, ожидая, что она глубже. Ася! Уборная в углу, под лестницей. А напротив — совсем ненужная комната: никакая и на отлете. Мы, наверное, ее сдадим: пусть кто-нибудь живет, сам по себе. У выхода. Зачем-то такую комнату — выдумали?

Мы входили в первый этаж дома — с черного хода, с низа лестничной клетки.

— Полукруглая, понимаешь?

— Очень странная. Никогда полукруглых комнат не видела.

— Во сне видела. Но эта — отчего она темно-желтая?

— И это не обои, по-моему, — сказала я неодобрительно, — это какой-то состав... И как-то пахнет особенно! Марина, тут же нет окон!

— Да, окон нет... А тут негде им быть: крутом комнаты!

— Я никогда не видела комнат без окон...

— Ты знаешь, она вовсе не полукруглая; у нее углы полукруглые! — сказала с интересом Марина, — как у багетных рам.

— Я бы не хотела жить в этой комнате!

— Да никто и не будет, — сказала Марина, — здесь будет столовая...

Дверь, через которую мы вошли, была посередине комнаты. И справа, и слева было еще по двери. Впереди стена была цельная, глухая.

— Как ты хочешь обходить низ? — спросила Марина, — справа, через залу и гостиную, или слева, через Сереежин кабинет?

— Через залу! Хочется ко всему приглядеться, свыкнуться! Из столовой — как в Трехпрудном, дверь в залу... Но там зала была высокая, а столовая низкая, под антресолями. Тут — антресоли... Как же получается, что ровная высота?

— Я этого ничего не понимаю и не пойму! — твердо и без тени любознательности сказала Марина. — Смотри: так же, как из залы был выход вправо, в переднюю, а влево тоже идет анфилада: зала, гостиная, кабинет. Если эти комнаты увеличить в лупу, то будет Трехпрудный! Как же я не могла не купить этот дом! И ведь не бог весть сколько Тьо могла подарить мне — но хватило как раз! Сколько Тьо дала мне, столько и назначили. Точно знали, что больше нет! Как во сне!

Мы медленно обходили одну за другой комнаты. Но в то время как Марина говорила о сходствах двух домов, я молча замечала их разницы: зала была не угловая, не выходила, как в отцовском доме, частью окон во двор. Не было той, улетающей к потолкам высоты, все было сжато, приземисто. Деформировано — но это надо было скрывать от Марины... Раз она так видела... Мне надо было себя тренировать на видении сходства, чтобы хоть приблизиться к ее состоянию счастья. Что-то было грешное в моей зоркости, беспощадности наблюдения. Я должна была раствориться в Марином состоянии! — сказала я себе строго.

В зале было, помнится, три окна: в Первый Казачий? Екатерининский? Этого я тогда не знала, и — далее будет ясно, почему — не знаю и не узнаю теперь.

— Тут был у нас в Трехпрудном буфет, — сказала Марина и показала на пустой угол между передней и залой.

— А сбоку и над амбразурой окна — висел, столько лет, портрет Варвары Дмитриевны Иловайской...

Опять я о несходстве... — сказала я себе укоризненно, — ни одного слова об этом...

“Переступив порог” — его не было — из залы в гостиную, я остановилась: два полукруга кафельных печей влево по ходу, такое повторение печей гостиной Трехпрудного, что шаг замер: мы стояли в точно по волшебству уменьшенной, с детства знакомой гостиной — ниже, уже — но макетно повторенной!

— Поняла, как похоже? — радостно сказала Марина. — Как же не купить нам это? Чтобы к чужим людям попало это невероятное сходство? Никому, кроме нас, не нужное? Зала, гостиная — те же! И передняя! Я как вошла... Точно, как там, поставлю два дивана, напротив друг друга, купим старинные, и столы к ним — овальные, круглые... А возле печей — подставки закажем высокие (канделябры, они есть!). Люстру купим, с подвесками. Помнишь, какой-то упал, хрустальный, и в нем огоньки, разноцветные... Только бы Сережа не надорвался с этими своими экзаменами! Мамина чахотка и к нему прицепилась... (вздых). Хочет в один год все, столько! Разве можно? Больной с 15 лет.

Но войдя в кабинет, мы оказывались совсем в другой комнате, решительно не похожий на папин: и не только тем, что папин был большой, по размеру равный гостиной, а тем, что комната была просто крошечная, в одно окно, выходящее в закоулок двора, в той стене, где у папы были книжные полки — целая стена книг, папины два выходили на улицу, как и залы, и гостиной, удлинняя фасад (в доме Трехпрудного было семь окон фасада, в этом, стало быть, — пять).

Но неожиданный уют был в этом будущем кабинетике, заглядывающем в зелень двора узеньким карандашным окном. Собственно, эта крошка слила в себе две комнаты: кабинет и спальню, которой тут — не было. А там, где из спальни Трехпрудного была дверка в маленький коридор к черному ходу, — тут, в левом боку этой комнатки была дверь в ту темно-желтую столовую. Так дом, проглотив спальню, или же ее не родив, являл собой частичное повторение дома в Трехпрудном, пятиоконный фасад вместо семиоконного, бесспального дома, но лестничный, антресольный и березовый (в Трехпрудном берез не было!). И была наша молодость, заменив детство — радость и мощь нам принадлежащего будущего!

Так казалось нам. Кто же умеет видеть будущее? Кто поверил бы в тот час — наш, сегодняшний час, в закон превращения, более могучий, чем явь, нам в тот день так трезво служивший? Только в музыке звучит он, закон катастроф, слияния прошлого с будущим, неожиданностей, грохота черного грома — с арками радуг, глотающих гром, открывающих вход в небо! Но к чему тут метафоры? Я только хочу сказать, что не напрасно детство боком прижато к юности — и кто же их разберет? Не тот же ли закон детского одиночества, льнувшего к книгам, к вещам, к животным, — открывался Марине в те дни в законе, названном счастьем?

В слиянии с другой душой, неожиданной и близкой, ближе даже, чем две наши души? Он уже входил с черного хода, высокий, веселый, всезнающий, радостный — в нем она могла утопить каждый свой вздох. Кто поверил бы тогда в грядущие катастрофы сознания, способные разлучить?

“Разлука” — называется через несколько лет книжка стихов, крик души Ярославны, Психеи и Эвридики! Всему свое время — и слава закону жизни, умеющей иногда — не спешить...

Был солнечный день. Подводы везли к дому вещи, выгружались сундуки, шкафы, столы, диваны и кресла. Бурно, как громовые раскаты, шла расстановка всего, примерка, перестановка, гремела шагами лестница — это счастье вселялось в дом, где скоро откроет глаза Ариадна, огромные свои, как у отца, только светлые, сказочно-недетские глаза. Кто посмеет при мне утверждать, что жизнь Марины — трагедия, что Марина была несчастна? Шли не дни, шли годы — и счет я им знаю — нет, они бесконечны — Марина была счастлива!

РАЗОЧАРОВАНИЕ

В доме на Полянке, на углу Первого Казачьего и Екатерининского, жизнь Марины, Сережи и Али с ее красавицей кормилицей Грушей прервана наступлением лета 1913 года, лета нашей разлуки: они

собирались к Макс и Пра в Коктебель (Пра была крестной матерью Али), я — на хутор к отцу Бориса, в Воронежскую. К концу лета мы все, папины дети: Лера, Андрей, Марика и я съехались в Москву. Ошибусь ли, что Лера из Англии (она с детства говорила по-английски, и, может быть, ее потянуло туда по воспоминаниям о ее бонне, старушке), откуда-то из-за границы тоже приехал брат Андрей.

В конце августа с папой под Клином, где он жил на пансионе в знакомой профессорской семье, случился удар. Его перевезли в Москву тут же, не переждав, лечили дома его хорошие врачи, но 30 августа папа скончался, 66 лет от роду. Это было неожиданно: за два дня до смерти еще звал меня с собой в Италию на зиму, где он собирался писать свою последнюю, может быть, книгу — об архитектуре римских храмов. Мы не скоро опомнились, Марина и я. Но Сереже, казалось, был нужен юг. Весной он готовился держать экзамены, экстерном, за 8 классов гимназии.

Расставаться с Мариной? Наши дети уже играли друг с другом... И мы собрались ехать вместе. Дом Маринин? Они сдали его на год неким Чровым, у которых была частная нервная больница.

Маринино семейное счастье в тот год выразило себя в стихах. И мужу и дочке помечены летом 1913 года, в Коктебеле у моря. Портретно звучат строки:

*... Так вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив
На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полуоткрытых глаз...
А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой...
И тихо золотилась дыня
Под вашей длинною рукой.
Так, драгоценный и спокойный,
лежите, взглядом не даря,
Но взгляните — и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря.
И новые зажгутся луны,
И лягут яростные львы —
По наклоненью вашей юной
Великолепной головы.*

Счастливо любитесь она дочкой, радуясь душевному сходству:

*Все куклы мира, все лошадки
Ты без раздумия отдашь
За листик из моей тетрадки
И карандаш...
... Ты знаешь, все во мне смеется,
Когда кому-нибудь опять
Никак тебя не удается
Поцеловать.
... Послушная малейшим знакам,
За мною ходишь по пятам,
И ластишься к одним собакам,
К одним котам.*

Когда в начале войны 1914 года мы вернулись в Москву, мнения о длительности войны, как и отношение к ее “нужности”, разделились. Многие тогда считали, что она скоро кончится, более зоркие умы — негодовали. Выехавший за границу перед самым началом войны М. А. Волошин слал матери, рискуя (письма могли быть прочитаны), обличительные антивоенные стихи, выступал с той же оценкой войны

в Швейцарии Ромен Роллан. Малосведущие в делах политики, мы ждали конца войны. Но была еще одна причина, по которой Марина не со всей мощью своего восприятия переживала те военные недели: помимо того, что мы недооценивали ее, ожидая скорого конца, — Марина, приехав из Коктебеля, застала в Москве смертельно больного брата Сережи, умиравшего от туберкулеза, Петра Яковлевича Эфрона, приехавшего из Франции. Он был так похож на Сережу, своего младшего брата, — как будто Сережа умирал на ее глазах! Это горе, горе его последних дней, нежной дружбы их, прерванной смертью, как с детства каждая смерть, пересекавшая путь, поглотила ее. Только это довлело. Если бы не цикл стихов, этой утрате посвященный, я не знаю, как бы она с собой справилась.

И был еще бытовой вопрос: где жить? Все как-то вдруг рушилось: дом в Трехпрудном был братом Андреем отдан под лазарет, в ее доме на Полянке — чужие... Марина приехала с Полянки — расстроенная.

— Знаешь, Ася, оказалось, что эта — больница не нервная, а психиатрическая... Они не хотят выселяться, Чровы! Выселять их судом? Кто это будет? Сережа? Я? И въезжать туда после того, как там сумасшедшие жили? Я не хочу там жить! И потом — знаешь, я, когда вошла в этот дом, поняла, что он мне совсем чужой! И совсем он уж не так похож на Трехпрудный. В нашем простор был... было в нем волшебство... И какие-то запахи там чужие — мне даже страшно немножко сделалось — как мы там жили? Почему мне так нравилось? Такое все сжатое, низкое... Ни за что не хочу там жить! Пусть там живут сумасшедшие! Правда? Им — все равно, там каждый в своем мире. А нам с Сережей все эти миры их теперь — на себя... Они будут нам сниться!

Марина близко мне взглянула в лицо. Глаза ее, с расширенными зрачками, глядели близоруко и гипнотически...

— У тебя сейчас глаза, как у кота, — сказала я Марине. — Я очень рада, что ты не будешь жить в том доме. Я его никогда не любила, я только терпела, чтобы не огорчать тебя!

— И мне ничего не сказала? Ася, ты — свинья... Ты должна была мне сказать о нем — правду!

— По-моему, Сережа пробовал чуть-чуть. Но разве ты бы послушала?

— Не послушала бы, конечно, нет... Но сколько мы можем жить у Лили и Веры? Если бы у тебя была квартира, мы бы временно у тебя пожили и искали бы... Но ты ведь тоже должна искать? Но только не будем искать в Замоскворечье, это совсем чужая Москва! Надо начинать искать. И я так рада, что Сережа сдал экзамены... Но теперь у него другая фантазия — сразу в университет. Смерть Пети так на нем отразилась; ему надо скорее домой куда-то, в покой... Опять затемпературил (вдох). — Ну, что же, завтра — качну. В переулках Арбата, Пречистенки, Поварском... Ведь Чровы будут нам платить за этот дом! Как ты думаешь? Не очень аккуратно платят. Но все-таки платят. Вот это и будет идти на плату за квартиру. Зачем этот “собственный” дом...

И опять началась эпопея поездок, дворов, милых и не милых переулков, переговоров с хозяевами, сравнений, где лучше, где просторней, где есть хоть тень сходства с Трехпрудным... Знакомства и разлуки с собаками и с котами.

“МОЙ ДОМ”

(Дом в Борисоглебском)

Я уже перевезла свои вещи со склада Ступина, где они год стояли на хранении, в особнячок у Зоологического сада, когда ко мне ворвалась Марина.

— Ася, нашла! Нет, нашла уж по-настоящему! Вот это будет Мой Дом! Это тебе понравится! Знаешь где? Борисоглебский переулок на Поварской.

— Входишь — темно, потому что не горит лампочка. Ну, это вставим! Проходишь площадку — есть ли справа квартира, я не заметила, слева — есть! Начинается лестница. Первый марш, площадка, поворот, второй марш — и площадка, там горит лампочка. Справа — высокая дверь, двойная. По-моему, она из красного дерева (я не видела еще красного дерева дверей). Очень похожи на наши диваны: два в гостиной и Сережин диван. Входишь. Передняя какой-то странной формы, вся из углов, потому что одна дверь

впереди, одна как-то наискось, стеклянная. Справа — темный коридор. Потолок высоко... На этом месте — все начинается! Дверь открывается — ты в комнате с потолочным окном — сразу волшебное! Справа — камин. И больше ничего нет. Я так вдруг обрадовалась, но знаешь, это не так, как там. Это — серьезно. Я уже в этой комнате почувствовала, что это — мой дом! Понимаешь? Совсем ни на что не похож. Кто здесь мог жить? Только я! Сережа бы и то согласился... Но и ему, и мне есть там другие комнаты — слушай! Проходишь эту потолочную комнату — а там темная, маленькая. Ощупью доходишь до двери — двери двойные, высокие — и вдруг ты в зале! Зала, понимаешь? Справа окна — во двор. Три окна. Это будет Алина детская. Чудно! Они с Андрюшей могут бегать, как мы в зале бегали... И шары воздушные, красные и зеленые будут летать, как у нас — высоко... Помнишь, как у нас улетали?

— Еще бы!

— Тут будет Алино детство. А справа от высоких белых дверей — надо назад выйти — маленькая темная дверь. Я вошла — моя, понимаешь? Такая странная комната — такая родная... У окна, во двор, оно под углом с Алиным (почему получается так — непонятно), я поставлю мой письменный стол. Больше ничего, собственно. Люстру повешу. Я еще не купила. Куплю маленькую, не пышную. Да, и диван у стены против двери, справа за спиной, когда за столом буду сидеть. И стена как-то изгибается, непонятно — и справа углубление: здесь станет мамин книжный шкаф, и на нем — бюст Амазонки. Углубление нарочно для шкафа. Но встанет ли Амазонка? — вдруг засомневалась Марина, — шкаф мамин очень высок... его можно в Алину залу — вот и все! А на секретере — Амазонку. Окно мое — прямо в голубей, их на наружном подоконнике — тьма... Большая форточка. И такой угол в этой комнате, она маленькая, но в ней дух дома! Подожди, еще целый этаж! Да, вот это — мой дом. А Сережа — отдельно, как мы в детстве — наверху, отдельно, тишина — заниматься... Чтобы попасть во второй этаж этой квартиры, — продолжала Марина, — надо пройти маленькую темную комнату: первую, с потолочным окном (позади остаются еще моя, Алина — сколько это? Четыре комнаты) — выходишь в переднюю, а она неожиданно изгибается — и не резко, не поворот, а какие-то полукруглые стены — и подходишь к лесенке. Ее продолжение вниз — это выход на черный ход, а я говорю про ту, которая вверх поднимается. Я не помню, совсем прямо она, как у нас было в Трехпрудном, или там есть поворот. Если есть — то не резкий, а как та стена передней — округлый. Ты следишь? Наверху — площадка, верней, пол небольшой комнаты, проходной, направо две двери — к кухне, а влево — две двери, одна за другой. За ними — Сережина комната. Ася, это, знаешь, что такое? По-моему, это — каюта. Во-первых, туда попадаешь не сразу, к тому же какой-то переход, полутемный, преддверье. Иходишь по ступенькам в разлтое, невысокое антресольное — что? Мне показалось, тут должен быть иллюминатор, за ним — волны. И может быть, все это — корабль. Да, что-то корабльное есть в этой квартире — и это такая прелесть... Все комнаты — сами по себе, понимаешь? Это сборище комнат, это не квартира совсем! Как будто часть замка. Откуда-то ее пересадили в этот дом № 6! К Сереже надо внести диван — напротив двери, перед ним — стол. Все уже есть. Красное дерево. Справа — окно, такой глубины, амбразурное, и выходит оно на крышу. В голубей. И оно над окнами Али... Но кажется, что очень высоко. Как мама мечтала, для воздуха... Да, и еще кухня! Знаешь какая? Совсем непохожая! Не кухня! Очень большая, тоже разлтая, в два окна — это все направо, и совсем непонятно, куда эти окна выходят — тоже во двор, должно быть, — но не может же двор обходить все комнаты! Там должен быть другой дом, дом соседей... Ну, это все равно не понять! Такая квартира, будто ты в ней давно живешь, так все понятно, точно это все ты сам сделал... Как во сне! Как я давно его искала, этот мой дом!..

Я в этот же день пошла туда с Мариной. И удивительно: точнее нельзя было описать его! Ходя по комнатам, я все узнавала, точно я здесь второй раз. Только внизу, то есть во втором этажа, я спросила Марину, почему она не рассказала о самой первой комнате, которая находилась напротив входной двери.

— А, — равнодушно сказала Марина. — Это просто даже лишняя комната. Мы ее, наверное, сдадим. И так хватает! Пять, кроме кухни. Совсем обыкновенная, не вписывается в эту квартиру. Комната-отщепенец...

* * *

Кончался 1914-й, наступал 1915-й. Что он готовит нам? Каждый год так восклицают люди, а если спросить, чего ждут? Увы, война не кончалась. В дом в Трехпрудном свозили раненых, в доме Марины на Полянке, с такой любовью найденном, врачи лечили сошедших с ума людей...

Наши дети росли, им уже шел третий год, они говорили, они столько уже понимали... Обожаемым взаимным дарили друг друга Марина и Аля, Аля знала уже столько стихов! Но над домом их, войной обойденном, хранимым (Сереже, по университету, была отсрочка), притаился другой страх, неумолимым молчанием отвечавший на Маринин вопрос: выживет он? Температура... Как наша мать, не хочет есть ничего, что бьет болезнь эту, не может принудить себя... Грозная память об ушедшем его брате бросала на все — тень. Неумолимо следила Марина за режимом больного, за открытой форткой его, на самой большой, в квартире возможной, высоте — тут исполнилась мечта нашей матери: “Когда мы вернемся в Москву, — говорила она нам и во Фрейбурге, и в Ялте, — я, дети, поселюсь выше, чем ваши комнаты, над крышей парадного, на чердаке, в мансарде. Окно будет открыто и в мороз, как в Leysin, там холодом облаков горных лечат туберкулез...”

Сережина комната воплощала эту мечту, до которой не дожила наша мать, в Тарусе, в жару умершая, за полгода до московских морозов.

В комнате, похожей, по Марининым словам, на каюту, роль кровати играл старинный диван с гнутой спинкой красного дерева: с кресел, таких же, сметалась и выбивалась пыль. Любимые его, мальчиком еще, полководцы: Суворов, Кутузов, Нахимов, Корнилов, герои Севастопольской войны глядели со стен, со старинных гравюр багетных рам. Сережа не отрывался от книг. Такие же два дивана стояли внизу в столовой, у правой и у левой стены. Над ними тоже гравюры. Полыхал огонь в камине, за высоким потолочным окном смеркалось, в высоких дверях, из полутемной проходки комнаты выбегала дочка Сережи — так на него похожая, как и он, с огромного разреза глазами. Но в то время, как его лицо, длинное и худое, делало его глаза почти неестественной, о болезни напоминая, величины — Аля походила на английское бэби светлой гривкой тяжелых пышных волос, на лбу челкой подрезанных, и, подняв к матери, поправлявшей дрова, глаза, светлее, чем голубые, гортанным голосом говорила:

— Мама, идемте в детскую! Посмотрите, как спит Кусака!..

Я не помню, с каких лет Аля стала звать мать — Мариной.

В детской на трех окнах спущены занавески, и почти во всю ширь — серый с рыжим узором листьев ковер, ковер из маминой гостиной в Трехпрудном. Мамин книжный, орехового дерева, шкаф торжественно стоит в левом углу. Он оказался слишком высок, чтобы на него поместить Амазонку. Амазонка смотрит вниз на Маринину комнату со старинного темного секретера, привезенного из арбатского антикварного магазина. Над кроватью Али картинки сверкают рождественским снегом, как кусок звездного неба.

— Марина, это твоя детская сохранилась?

— Чудом! Второе детство... Алечка, скоро спать пора. Няня где?

— Еще чуточку!.. Няня молоко в кухне греет...

Мы в Марининой комнате. Аля ластится к матери. Напротив дверки, чуть вправо, над спартанским ложем — пружинный твердый матрац. На дощатой раме, крытой рыжим рядом, висит портрет Сережи, почти в натуральную величину.

— О, Магда закончила (я, отойдя, чтобы лучше охватить взглядом) хорошо... чудная кисть ее! И очень похож.

Сережа смотрел на нас, лежа в шезлонге, и была во взгляде его тишина.

— Марина, все твои мечты о твоём доме исполнены? Какая удивительная люстра, синяя!

— И за грош отдали — в ней по синеве трещина. Но правда — волшебная вещь?

— Секретер точно для этого угла был создан!

— Да, вещи сами идут в руки, когда их ищешь, — оживляясь от моей похвалы, отвечала Марина, — лисы чучело видела?

— Как кошка свернулась, раковинкой?

— Да, так спят...

— Мама, Кусака! — кричала, вырываясь от няни, Аля, отбиваясь от нянинных рук, не давая, переваливая в руки матери дымчатого серого кота.

— Ася, это не кот, это чудо какое-то... Он все понимает, — Марина целовала в голову Кусаку, выгибавшего шею, как лебедь. Закрывая за дочкой дверь, обещая прийти на ночь проститься. — А шарманку до сих пор не нашла... Можно подумать, что я идиотка. Война идет, а я шарманку ищу... Но это же душа нашего детства, с ними уже не ходят по улицам, пусть играет Але в этом углу!

— И Амазонка твоя будет слушать, наклонив к ней голову.

— Ах, Ася! — сказала, вдруг вся меняясь, встрепенувшись в свою тоску, Марина, — я дописала вчера стихи Пете.

Она перебирала бумаги на девическом своем, трехпрудком, ей подаренном папой письменном столе, большом, мужском, нетемного дерева, с темно-красным сукном.

— Слушай. Начало ты уже наизусть знаешь. Вчера я докончила:

*... Пусть листья осыпались, смыты
и стертые
На траурных лентах слова.
И если для целого мира вы мертвый,
Я тоже мертва.
Я вижу, я чувствую, вижу вас всюду
— Что листья от ваших венков!
Я вас не забыла и вас не забуду
Во веки веков!*

Она передохнула. И угасая:

*Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
Письмо в бесконечность. — Письмо
в беспредельность,
Письмо в пустоту.*

РАЗРУХА

Война не кончалась. Сережа, бросив университетские занятия, ушел братом милосердия на войну. Но в течение двух лет он уезжал и возвращался. Тоска Марины от его отсутствия, радость встречи — сменяли друг друга не раз. Я в это время жила со вторым мужем Маврикием Александровичем Минцем (ему посвящены стихи Марины Цветаевой: «Мне нравится, что вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не вами...») во Владимирской губернии, в бывшей Александровской слободе, городе Александрове. Он был взят туда на военную службу. В 1916 году летом у меня родился второй сын Алексей. Во время мое в московской больнице я просила Марину жить со старшими детьми нашими у нас в Александрове. Она упоминает об этом в своей «Истории одного посещения». Именно туда к ней приезжал О. Э. Мандельштам, и они бродили по исторической Александровской слободе. Там я помню приезды ко мне Марины, ее тоску по вновь исчезнувшему Сереже, ожидание его. В зиму 1916-1917 годов Марика томилась второй беременностью. В самом начале апреля 1917 года у нее родилась вторая дочь Ирина. Она была вся в Эфронов, похожа на сестру свою Алю, по не так красива, как та. На мать ни одна из них не была

похожа (так же четко не похожа, как четко, портретно — похож был уже в раннем детстве, восемь лет спустя, Маринин сын Георгий).

Жизнь разделила нас с Мариной с лета 1917 года по весну 1921 года почти на 4 года. Марина, как видно из писем ее к М. А. Волошину, четыре года не знала, жив ли ее муж. В разгар их разлуки я вернулась в Москву к Марине в ее квартиру в доме № 6 по Борисоглебскому переулку.

Несмотря на майские дни, в первой комнате от входа была полутьма. Потолочное окно, годы не протираемое, — не до того было! — тускло светило. Я не сразу поняла, почему комната такая маленькая — она же была большая! Дело же было в том, что мы (человек в ней) двигались, собственно, по ее середине. Накопившееся в тяжелые годы, когда сил хватало только на борьбу за жизнь — а у Марины еще на писание, одну за другой, книг стихов, — не выносилось. Не хватало ни сил, ни времени на давно отставленную, выключенную из внимания, так называемую уборку — мусор, обломки мебели (краснодеревную мебель рубили как топку печурки, вокруг которой теплилась жизнь). И эти странные внутренние стены уменьшали — на вид — комнату. Когда-то она была столовой.

На одной стене еще висела вынутая из рамы гравюра, на противоположной стене не было ничего. Стоявших тут когда-то диванов — не было. Исчез и обеденный стол. Опустевшая, им прежде занятая, часть комнаты, немного расширенная, и составляла жилую ее часть. Ближе к камину стоял простой маленький стол, на нем жили тетради, бумаги, чернильница. Рядом с этим очагом творчества тлел очаг питания: посреди смолкших языков романтического каминного пламени, скромной тенью их, возвышалась на коротких ножках печурка. (В те годы — или уже в ретроспекции — ее прозвали “буржуйкой”). Тут варилась Алина пшенная каша ежемесячного академического пайка. Ее сменяла Маринина, у рынка, с рук покупавшаяся, фасоль (корм мозгу). И неизменный черный кофе. Кругом царил разруха.

— Женщина — не убирала, годы? Аномалия! Непростительная!

— Нет. — Поэт! Выковыживание стихов, поэм, пьес в стихах. На это уходили все силы. Похоронила младшую дочь. Вытащила из трех болезней — старшую. К весне 1922 года были изданы четыре книги — вы их читаете: два сборника “Верст”, “Царь-девица”, “Конец Казановы”.

Мою попытку прибрать, вычистить, с жаром начатую, Марина резко остановила: “Спасибо, но не продолжай! Береги свои силы на важное. Мне это совершенно не нужно”.

На этой мрачной — бесплодной? — для стихов плодотворной? — почве выросли ее книги. Об этой квартире вспоминали в печати и выступлениях — И. Эренбург и П. Антокольский.

Будь Марина жива и прочти она эти страницы, она бы сказала мне: «Ася, ты забыла самое главное!» — “Дух трущобы? Марина, разве его можно забыть? Петухів?”

Петухів висел тут же, на нем — сомнительного цвета ручное полотенце на вздыбленной когда-то лапе, на ее проволочной основе, еще таящей остатки чего-то мягкого, — когда-то это было чучело лисы. мех был продан — шкуркой (должно быть, лиса вся, набитая, не была нужна покупателю). Выбросить же ее остов, кусок лисиной души — как это?

И остов жил и служил. Невнятно слитый с происхождением названия тех же лет: где-то на Украине в гражданскую войну, в брошенном доме стоял в постельке маленький мальчик (родители были убиты в бою за город) и молился раз навсегда запомненно-ежедневно: за папу, за маму — следовало перечисление имен и завершением звучало, ежевечерне: “И за моих петухів” (петухи были, наверное, игрушечные, потому что дело было в городе, а мальчик был украинец).

— Остальная квартира? — отзывалась Марина на мой вопрос, — ты тут ничего не узнаешь! Одну Сережину совершенно неисповедимыми путями с помощью Союза писателей, удалось отстоять. Потому что эта и темная, маленькая, соседняя — проходные, без окон, — они не идут в счет. У нас остались Алина и моя. Верх забрала семья самогонщиков — этого, конечно, не знают, они очень хитрые! Где-то работают. Лестница не наша, а та комната, на отлете — первая от входа, прямо, где зимы две, кажется, жил твой Борис, тоже заселена чужими. Еще до смерти Ирины. Самогонщики довольно агрессивны. Но бумага из Союза писателей их сдерживает. Охранная. Знают, что я получаю академический паек, — боятся. Они

мало меня знают, они не понимают, то есть твердо не уверены, что я их не выдам; я почти не говорю с ними, держусь в стороне. Но бог с ними, дураки! Так — они где-то числятся, и на работу ходят — для виду. Ко мне лезть не смеют — в общем, мирно живем. Считаются. Верх к ним отошел при уплотнении, и кухня — их, тоже, но я обхожусь: печка в камине, на щепках варю. Дрова — то есть диваны и кресла, столы порубили мне давно еще, при Ирине, а часть после нее, — четвертая зима ведь кончилась. Но вот это, — показала Марина на груды чего-то, покрытые слоем пыли у стен, — эти обломки уже они не смогли, рубившие! — какие-то сочленения старинные, крепкие, — а целиком их в печь — больно жирно, берегу на особые холода. Потом тарусский рояль продала за пуд (пуд или мешок — я, А. Ц., не помню. Не утверждаю — что пуд. Может быть, сказано было «мешок») черной муки, еще до академического. В эту зиму уже легче было с едой, и со всем. В прошлую, последнюю Ирину (она умерла без недель двух в 3 года) — ничего не могла достать. Одно время: мерзлая капуста и черная мука, а ее истощению это не шло. Аля как-то держалась. Но ведь она в отца — я и за нее боялась! Все загоняла на Смоленском, для них, что брали. Но давали — гроши... И надо уметь продавать.

Содроганье — видеть лица эти, покупающих — торговаться с ними? Я — отдавала... Пока было что отдавать! Если бы я узнала, что — жив, я бы сразу поднялась к нему, где бы он ни был. Алю бы к отцу повезла.

На дорогу — с книг — хватит! Кончаю четвертую... Алю академический — спас, и тебе с Андрюшей на подкормку — хватит. А в ЦУПВОСО (Центральное Управление Военных Сообщений), куда мне тебя удалось устроить вести школу ликбеза, — там хороший паек! Ах, Ася, если б ты знала, какие чудные там были красноармейцы, какие люди! Вот этот, один из них, Борис Бессарабов, и помог мне с вывозом тебя из Крыма, когда тамошний твой Наробраз не хотел тебя отпускать из той библиотечной секции.

— Они, понимаешь, ценили тех москвичей, которые там застряли. Но я же хотела домой!

— Еще бы! Так вот, моя дружба с ним, — а он все понимал, как он стихи понимал, Ася! Каких он товарищей ко мне приводил, своих, как они слушали, какие чудесные собеседники, как заботились, чем только могли помогали! Сейчас я потеряла его след, — жив ли?

... Мы стояли в Алиной детской. Обратном чувству в столовой — мне показалось, что комната стала еще больше (от того, что — голая! — подумала я). На полу не было ковра из маминой гостиной в Трехпрудном, уюта его осенних листьев на сером. И был пуст угол, где прежде жил книжный шкаф из папиного кабинета. Но нерушимо висела над Алиной кроватью рождественская детская картинка, все еще сверкали как снегу блески, точно рассыпали крупную соль.

Аля, на голову ставшая выше за годы разлуки, разительно походила на отца. Так давно уже исчезнувшего из этого дома! Но стоило переступить порог Мариной комнаты — он глядел из тонкой темной рамы над диваном, чуть нависшей; он полулежал в шезлонге; удлиненное лицо, юношеское, не улыбалось, но необычной величины глаза, темней светлого, рука с длинными пальцами, поза полулежания — все являло и излучало покой, радостный. “Этот портрет помогал жить Марине...” — не подумала, а ощутила я.

Маринина рука гладила на стене что-то серое.

— Аля не сказала тебе? Кусаки уже нет. Я не могла его отдать, всего... Я попросила, мне сделали его шкурку — коврик на стену.

В этой комнате всего меньше было изменений: так же стоял стол письменный у окна, перед ним — стул. Позади, над темным старым секретером все так же виднелся со склоненной набок головой — уже не белый, а серый бюст Амазонки.

— Зимой я тут писать не могла, очень холодно. Работаю на том столике возле камина. Грею кофе, пью.

При свете окошка я увидела, как желто Маринино лицо, — от цвета ее лица не осталось и тени.

— Много книг ушло, — сказала она, — пришлось. Знаешь, мне уже ничего не нужно! не жаль. У тебя еще друзья есть? Ты всегда была общительнее меня! У меня — были. С театром дружила, с Вахтанговским. Почти никого не осталось... Стихов, как прежде, собственно, уже не пишу — пьесы, поэмы. Это было то время, когда Марина писала свой “Плач Ярославны”.

Но помню, что когда Марина, получив от И. Эренбурга весть, что Сережа жив, кончает университет в Праге, выхлопотав себе право на отъезд, летом 1922 года с почти десятилетней Алей выехала за границу.

ПОИСК ПРОШЛОГО

Прошло — последние две цифры столетия переставились: 1936 — 1963, — прошло 27 лет. Я уже вновь жила в Москве в бывшем Пименовском переулке, ныне улица Менделеева. И захотелось мне, — в старости так бывает, — увидеть бывший Маринин, замоскворецкий дом. Я нашла его легко, хотя и поколебалась: он ли? В нем заканчивался ремонт, должно быть, одна стена была еще не побелена. Мне навстречу шел мальчик лет двенадцати. Я сказала ему, что я сестра когдатой хозяйки этого дома, спросила его, тут ли он живет, с кем, в каких комнатах и как его зовут.

— Меня зовут Женя, — ответил мальчик, — мы с мамой живем наверху, в маленькой комнате. Много наших жильцов на работе, а я дома, пришел из школы, мама поздно приходит.

— А ты можешь мне показать, в какой комнате вы живете?

— Конечно.

И он повел меня вверх по знакомой лестнице. Тут я 27 лет назад спускалась ночью сказать по телефону Томашевским, чтобы меня не ждали, чтобы закрывали дверь, что я заночую у подружки. Сердце билось. В какую комнату Женя меня сейчас повернет? Неужели в...

Он повернул в Маринину комнату. И вот мы сидим с ним среди незнакомых вещей; на столе, иначе стоящем, — учебники, и уже не я, а Женя расспрашивает меня о том, кто жил в этой комнате, и в комнатах рядом, и во всех внизу, и диву дается Женя, не верит, думает, я шучу, что во всем доме моей сестры жили: она, ее муж, их маленькая дочка и няня — четверо, и больше никого! А теперь в нем живет 13 семей.

— Это потому, Женя, что тогда нижние комнаты были большие и их было мало, а теперь — я тут была в 1936 году, их перегородили и их много стало.

И я рассказываю ему, что прежде были открыты другие ворота, калитка в них выходила в другой переулок.

— И он тогда был — на Полянке, а теперь он — на Ордынке... Точно он перевернулся, как в сказках бывает, задом наперед... И все называлось иначе, — знаешь, как бывает во сне!

Женя знает. Он видит сны. Он все понимает. Он идет меня провожать: я не хочу заходить в нижние комнаты, к чужим людям, я иду по двору с мне уже родным Женей: он живет с матерью в Марининой комнате... Сказать ему, что Марины уже нет, а только ее дочь жива, уже пожилая? Женя много знает и понимает, мы сегодня с ним видели общий, запутанный сон — но не надо ему слышать, что люди умирают, стареют, — ему еще долго расти... жить... быть счастливым.

Во дворе сумерки, в переулке зажегся фонарь. Я уже заворачиваю к Ордынке.

* * *

Уже давно шли в Москве толки о чем-то мемориальном — Марине. Весной 1974 года мне позвонила Надежда Ивановна Катаева, жившая в доме № 6 в Борисоглебском, этажом ниже Марины. Я у нее бывала. Она просила проводить ее в Замоскворечье, помочь отыскать бывший Маринин дом: — Сможете? Я за вами заеду.

У меня в это время было двое друзей — литератор Виктор М. и юная ленинградка, почитательница Марины, Катя Л. Поехали все вместе.

За последний десяток лет что-то изменилось, и поблекла память моя. Мы долго искали, но нашли: на углу, как помнилось, двух улочек, стоит, будто тот дом, между Полянкой и Ордынкой. Все так. Но почему вдруг — листы книг?

Подойдя поближе, мы увидели, что дом готовят к ремонту? Нет, вряд ли. Скорее к разрушению: зияли черные дыры с кусками стекол, торчащих, и на двери, видимо, черного хода, висит замок.

— А мы можем влезть над ним, через это вынуженное стекло, — предложил кто-то из нас. И один за другим, помогая друг другу, мы перелезли через высокую нижнюю часть двери и вошли в дом.

— Тут я, товарищи, ничего не узнаю, — сказала я, — потому что в 1963 году, когда я здесь была в последний раз, уже были перестройки. Перегорожены были комнаты нижние, и тут не разберешь ничего... А вот наверху я все сразу узнаю: там ничего не перестраивалось, и я все отлично помню! А лестница — похожа. И эта отдельная комнатка у черного хода будто бы та, которую Марина сдавала? Но нет, не поручусь все же, что это Маринин дом...

А на другой день Надежда Ивановна позвонила и рассказала, что они с мужем рассматривали старую карту Москвы и решили, что мы не на том углу искали бывший Маринин дом, и мы поехали снова. В этот раз Виктора у меня не было, поехали втроем.

И вот мы входим во двор другого особняка. Все они чем-то друг на друга похожи! И дворы тоже. У этого — сход в подвальный этаж.

— А ведь в том, неудачном Маринином доме никогда не пахло кухней, — говорю я себе, — может быть, это ее дом, а тут сход в кухню; как было на Собачьей площадке?

Мои спутники шли позади, беседуя.

В этот день была гололедица. Но жажда сейчас, может быть, открыть что-то, найти гнала вперед. Я шагнула на то, что я считала первой ступенькой, их могло быть четыре, пять, шесть — ботик резко скользнул по ледяному бесступенчатому следу, и я рухнула спиной о лед.

Сильная боль. Подбежавший мужчина, взяв меня за левое плечо, подымает. Кричу:

— Оставьте руку! — Мои спутники поднимают меня. — Сильный ушиб, — говорю я бодрясь, — пройдет!

Таксист у ворот шумит. Поладив с ним, обходим угол, смотрим, похож ли дом. Доходим до следующего угла. Там пустырь и новый многоэтажный дом. Навстречу — старуха.

Спрашиваем. Отвечает:

— Тут три дома снесли, угловой и ваш должно — тоже. Вон машину какую выстроили...

Боль не стихала. Надежда Ивановна повезла меня к травматологу. Значит, того дома, если он на этом углу стоял, уже нет на земле!

— Вколоченный перелом левого плеча. Гипс нельзя. Придется терпеть боль. Носите руку на шадящей повязке.

Мне помогло самоотверженное, искусное лечение молодого русского йога Михаила Металликова. Через три недели вернул мне руку — писать. Спасибо ему, я начинала моего “Звонаря”. Помог. “Звонарю”!

Так, еще бесславнее, кончился второй поиск. И больше мы не искали. Видимо, тот, “Маринин дом” — отслужил!

О другом доме, ею любимом, надо заботиться! О доме, в Борисоглебском, названном ею: “Мой дом”!

МАРИНИН ДОМ В 1980 ГОДУ

В конце 1965 года И. Эренбург вновь зондировал почву. Пытались что-то сделать журналисты из “Алого паруса”, не добились. Затем занялась этим делом группа поэтов и писателей при поддержке академика Лихачева, написавшего письмо председателю Комиссии по мемориальным литературным памятникам. Подписали его сотрудники Пушкинского дома академики Д. Лихачев, М. Алексеев, член-корреспондент В. Базанов, главный редактор журнала “Звезда” Г. К. Холопов и доктора филологических наук А. Панченко и В. Мануйлов. Писали и хлопотали Н. Тихонов, И. Андронников, Павел Антокольский, Маргарита Алигер. Об этом можно прочесть в печати. Написал письмо в Союз писателей Е. Евтушенко.

Уже смертельно больной Константин Симонов деятельно примкнул к делу. Он из больницы звонил в редакции газет и журналов, звонил к писателям с просьбой завершить начатое. О том же просил и свою старшую дочь Машу, корреспондентку “Советской культуры”. Она вместе с Н. И. Катаевой, не пожалев сил, прошли по многим инстанциям. После К. Симонова взял на себя продолжение хлопот Роберт Рождественский. И давно уже помогал при каждом осложнении, при каждом обороте дела, безотказно и неустанно Сергей Сергеевич Наровчатов и сотрудники редакции “Нового мира”.

Много помог главный редактор газеты “Литературная Россия” Ю. Грибов.

В письме от 5.12.1979 г. С. С. Наровчатову сообщает В. С. Ануров, начальник Главного управления культуры Моссовета, что исполком Киевского совета дал согласие Главмосстрою на передачу ему дома № 6 по улице Писемского. Далее сообщается, что в адрес председателя исполкома Киевского райсовета направлено письмо с просьбой использовать названное здание в культурно-просветительных целях с сохранением существующей планировки второго этажа и антресолей, где с 1914 года по 1922 год жила Марина Ивановна Цветаева. О судьбе названного памятника обещали сообщить дополнительно.

Нельзя не сказать, что в самом доме № 6 по улице Писемского жильцы отказались — для сохранения планировки дома — от установки ванн, пробивания потолков для добавочных канализационных труб — чтобы сохранить лепнину потолков, фрагменты отделки этого памятника архитектуры.

Ввиду невозможности найти нужные нам данные в архитектурных архивах, обратились в Музей изобразительных искусств, и оказала существенную помощь заведующая архивом музея А. А. Демская.

Ведь не так уж много осталось своеобразных интерьеров XIX века, и дом этот заслуживает реставрации.

* * *

Ну, а кто же бывал в этом доме, кто посещал Марину Цветаеву? Давайте постараемся вспомнить: поэты Тихон Чурилин, Осип Мандельштам, Софья Парнок, Максимилиан Волошин, Аделаида Герцык, ее сестра переводчица Евгения Герцык, Константин Бальмонт, Майя Кудашева — будущая жена Романа Роллана, Илья Эренбург, Павел Антокольский, Георгий Шенгели, Н. Бердяев, С. Волконский, художник В. Милиотти, Е. Б. Вахтангов, актеры вахтанговской студии, среди них Сонечка Голлидей, актер Камерного театра Чабров (А. А. Подгаецкий). Вдова А. Н. Скрябина с дочерьми Мариной и Ариадной, которой в Гренобле стоит памятник — жертве фашизма, борющейся и погибшей в Сопротивлении.

И многие еще, имена которых я не вспомню сейчас.

Сном прошлого — в этих стенах бившаяся Живая Жизнь!

РОДНЫЕ СЕНИ

В каждой жизни бывает необъяснимое. Моя жизнь не очень богата подобным — может быть, потому, что от рождения я, как моряк под парусом, под этим ветром плыву: легкие полны им.

Чувство, что все волшебно (детство), иррационально (юность), таинственно (зрелость и старость), — срослось со мной.

И все же есть несколько случаев, выпадающих из сетей моего улова — в любые руки, на потребу любому, под парусом этим не плывущему. Так путешественник привозит друзьям курительную трубку из морской пенки, кусок лавы с вдавленной в нее — когда та была горячей и мягкой — монетой, нитку кораллов, еще пахнущую морским дном.

Звали его Леонид, знала я его уже тринадцать лет, с его двадцати, моих двадцати девяти. Все мы его любили чувством сдержанного восхищения, желанием походить на него, радостью каждой встречи. Но случилась у меня вина перед ним — сорвавшееся несправедливое слово. Это меня томило. Я написала ему с просьбой прийти, когда будет в Москве, — работал он вблизи Вологды. Письмо мое было послано на адрес Московский, матери его, у которой он в приезды останавливался, и от нее пришел ответ, что

Леонид был, но всего полдня, просил извинить, что не смог быть у меня, скоро приедет на дольше и непременно зайдет, шлет привет.

И теперь каждый день я поджидала его.

В моей комнате, в четвертом этаже, над тихим Мерзляковским переулком, — уютной, с гигантской тахтой, старым бюро-кораблем вместо письменного стола, звездным глобусом, цитрой и музыкальной шкатулкой на бабушкином комод, с фортепьяно и вольтеровским креслом, с обломанной мраморной головой работы Торвальдсена, с портретами по стенам, — вечером, придя с уроков, я слушала — не раздастся ли (мне) четыре звонка и голос его в темном маленьком коридорчике. Звонки раздавались часто, но все не его шаги. Когда же стукнет в дверь его крепкая небольшая рука, и я двинусь ему навстречу — просить прощенья?.. Он переступит порог, в коротком знакомом пальто, снимет фуражку, невысокий, светло-русый, узколицый, застенчивый, — и как умел он стать гневным... Волевой подбородок, юношески не заросший, и этот сияющий, словно всегда на празднике, сосредоточенный и лучащийся синий взгляд.

Были в нем, сказал бы древний, веривший в значенье планет, — мужественность Марса и повелительность Юпитера, но их оведала мечтательность Луны. И на диване ли сев или ходя по комнате одно временно твердой и уютной походкой, он наполнял эту комнату сдержанным весельем, напряженным покоем. И было чувство, что все хорошо, раз он тут. Как мне хотелось скорее сбросить с себя вину!

В последний раз, когда он был у меня, он рассказал, что встретил Нину, которую не встречал уже годы, был у нее — она переехала в Замоскворечье — в старом доме — он любит такие, — на антресолях. Она была замужем, разошлась, у нее сын лет двух — замечательный мальчик, Николай. Он ходил и говорил о ней и что-то недоговаривал, а я снимала с примуса кофе, наливала и слушала. Он выпил стакан, отломил печенье. Нет, он больше не хочет, хватит, — и точно эти слова перевернули какой-то рычаг.

— Да, — сказал он, останавливаясь у фортепьяно, — я теперь твердо знаю, — он повернулся и пошел меж тесно стоявших вещей, — всякое чувство можно остановить волей. Если физической близости не должно быть и ты это понял, — *можно* остановить чувство, как бы сильно оно ни было. Но тут уж надо быть *неумолимым к себе!*

Его лицо (он, не заметив, вдруг стал на месте) было чуть поднято, он глядел немного вбок и вверх, отталкивая от комнаты взгляд, как лодку от берега; абрис верхней губы над полной нижней был овеян некою важностью. Над решимостью — еще чем-то: прислушиванием. И был сдерживаемый восторг знания в этом отвернувшемся взгляде. Затем он вынул часы — старые, отцовские, на цепочке, — взял фуражку, пальто, тепло пожал руку.

И я могла обидеть этого человека! Когда же я увижу его?

Он не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. А еще через день меня вызвали к телефону и сообщили, что приехали из Вологды родные — шесть дней назад около часу ночи под поездом погиб Леонид Федорович. Похоронен в Вологде, куда выезжали мать и сестра. Просят сообщить друзьям о девятом дне: панихида будет в такой-то церкви, в таком-то часу.

В неожиданном горе и в непонятности происшедшего (его нет — его никогда с нами не будет — и как мы — никто! — не чувствовали, что должны его потерять?), глядя на растерянные лица друг друга, повторяя слова, переданные по телефону, о неизвестности, как произошла смерть, — мы вспомнили ту, которую он любил. Нину. Ей надо было дать знать. И вот оказалось, что мы не знаем ни ее отчества, ни фамилии, и я ее видела раз, восемь лет перед тем, когда он зашел с ней в Музей изящных искусств, где я работала, и мы прошли втроем по верхним залам среди мраморных стен, статуй античного мира, под стеклянными потолками. На этом сказочном фоне мне запомнились большие глаза, карие, яркие, улыбка полного рта, рукопожатье нежной руки и моя нежность к той, которую полюбил Леонид. Но годы, один за другим, — это очень много людей, глаз, улыбок, рукопожатий, имен, отчеств, фамилий — и я совершенно не помнила, как звалась меж людей та юная женщина. Мне она была *Нина* — и все.

Был апрельский вечер, холодный. В темноте, против ветра, по слабо освещенному проезду Сретенского бульвара мы шли к телефону на Главный почтамт: кто-то надеялся узнать о Нине точнее. Но попытка оказалась тщетной. Тогда я вспомнила, что мельком видела ее еще раз, в годы, когда Леонид уж давно с ней не встречался: у моего друга, скульптора Жукова, на вечеринке, и она в тот вечер мне не понравилась — подведены были не то глаза, не то брови, и рука на гитаре, и песенка (это было “не то” — Леонид?). Теперь я знала, что — то. По тону последнего его рассказа о ней. И я бросилась звонить — скульптору. Но и тот, и его жена — отвечали, что не помнят: столько лет назад, было столько народу... Кажется, была Нина, чья-то знакомая, ее привела какая-то женщина...

— Дело пропало, — сказала я тускло, без сил, вешая трубку.

И снова холод, ветер и улица. Как во сне, после полного работой и горем дня я входила в одну из квартир большого дома Сретенского бульвара — к женщине-другу, близкой, как мы все Леониду, — для нее его смерть такой же удар, как для меня.

С этим чувством иррационального облегчения, утешения в неутешном я вошла к ней. И до поздней ночи мы все старались найти способ узнать о Нине — была ли то подсознательная попытка поговорить о ней, затмить хоть на час боль о его уходе, занять себя какой-то трудной задачей, имевшей отношение к нему? Стараньем что-то сделать для него, будто бы он еще жив... Затуманить неоспоримость его — навсегда — отсутствия? Кажется, это так. Как и — все возвращались к нему — разговор о том, чем была его смерть — неудачным прыжком? Как все железнодорожники, так и он, прораб, часто вскакивал и сходил на ходу. Или — прорабы возят деньги для расплаты с рабочими — совершенно преступление? Он мог сопротивляться, быть сброшен? Увы, как все это, само по себе большое, и последний его час, и последний наш долг ему — известить о его панихиде ту, которую он любил, как все это было мало перед тишиной его внезапного исчезновения, перед навек необъяснимым фактом его отсутствия, перед наставшей между нами пустотой!

Ночь. С той ночи прошло двадцать лет ночей. Но как будто вчера я вижу кушетку, на которой меня уложила старшая моя подруга — Нэй. Но разве не чудо это — чем ее залечишь, утрату? — непонятность, что бывший с нами вдруг стал не наш, он, входивший, *хотевший* войти “на следующей неделе”, которой не оказалось ему... смеявшийся, жавший руку, надевавший фуражку, стал вдруг — прозрачней небес... воспоминаньем! Помогли тонкие пальцы подруги, тепло сжавшие мне руку. Голос — тоже неповторимый, шепнувший:

— Спи... Поздно! Пора.

Властная ласка огромных серо-зеленых глаз, близоруких, поднявших и опустивших надо мной тяжелые веки.

Ее мать уже спала, устав; и сын, мальчик большеглазый, как мать, спал. О стекла окон бились снежинки. Где-то они сыплются на могильный холм.

Весеннее утро пусто и высоко стояло над деревьями Сретенского бульвара, не видного нам из высоких, пустых окон третьего этажа. Первый взмах сознания срезан серпом: “Нет Леонида!” Сколько утр будут так начинаться, сколько ночей! Голова отдирается от подушки тугостью овоща от гряды. Проспано часа три. Надо вставать — идти — что-то делать. И нет сил. Однако есть уже достижение: вчера кажется очень далеко — горе быстрый вожак. Неужели еще вчера утром мы не знали, что Леонида нет? Это *один* день прожит?

Запах Мокко, блестящий кофейник.

— Вот полотенце, Ася. Ванна свободна.

Мать подруги, старейшая писательница России, когда-то красавица (невысокая, полная, с пристальным взглядом еще больших горделивых глаз, но с уже старческим ртом), давала мне мыльницу.

Я шагнула, взмахнув белизной за плечом, как вдруг встала, ничего не поняв, потрясенная: ошутимо, словно сойдя из воздуха, в самую черепную коробку было подано мне — спущено — вложено: “Нина Дмитриевна Туркина”.

Беспомощно, испуганно я оглядываюсь. Что это было? Я окликнула подругу:

— “Нина Дмитриевна Туркина” — мне сейчас, понимаете? Вот отсюда. — Я показала на голову.

— Так и должно было быть. Я знала, что так будет. — В огромных серо-зеленых глазах Нэй, с близоруким взглядом, очень тяжелыми веками, — свойственное им сияние торжества.

Решили так: я отменяю свои английские уроки в Тимирязевке, иду в МКХ (московское коммунальное хозяйство, предшественник мосгорсправки — *Примеч. авт.*) — будка на Страстной площади — и подаю запрос об адресе на это имя, отчество и фамилию.

Если это она, улица будет в Замоскворечье.

Голубой день, тает. Вагон трамвая “А”... Я протягиваю заполненный листок в окошечко МКХ, сердце бьется так сильно, что не слышу, что отвечают.

— Что? Через двадцать минут?

И вот я хожу по Страстной площади, меж цветочниц, напротив Пушкина, на невидимой цепи вокруг будки. Покупаю фиалки — они рассыпаются. Сыплю их в портфель и хожу. Хорошо, что вблизи будочки МКХ мало народу. Так гораздо легче мне ждать.

И зачем я купила фиалки? Ведь даже нет его гроба, он в *земле* давно! А Нина не знает... А вдруг окажется, что нет Нины Дмитриевны Туркиной?

Медленно подхожу к окошечку. Не слышу свой голос. Маникюрные пальчики протягивают листок: "... проживает... возраст — около 30-ти... служащая... по такому-то переулку..."

Слышу резкий, с дрожью голос (мой?):

— А где это?..

— В Замоскворечье, Ордынка. Следующий.

Толкнувшись о подходившего к окошечку, не видя никого, ничего, я иду через солнечную (тепло!) Страстную площадь, целую листок, вынимаю из портфеля фиалки. Это же я Нине купила!"

И минуту спустя: “От него”.

...Цепь бульваров, вагон “А”. Ордынка, как далеко! Мне незнакомая улица. Как давно я была за Москва-рекой. В Третьяковке раз как-то. Столько лет хочу пойти на Полянку, в бывший Маринин дом (ее теперь — Париж, прежде — Чехия), — Первый Казачий переулок, дом 8! С юности не была! Наверное, недалеко от Ордынки? Как ни на что не хватает времени. Аля тогда была крошечная (Маринина дочка). Теперь ей, как моему Андрюше, — двадцать четыре. Париж — ее, его — Алтай. Жизнь — сплошная разлука! *Непрерывно* пойду сегодня на Полянку, в Казачий. На обратном пути от Нины! И напишу им туда...

Но это другая боль о кусочке канувшей юности (первый год брака Марины и Сережи, ее двадцать, мои восемнадцать лет...) Солнечный двор с акациями, тополя, запах, как во дворе Трехпрудного, где Марина и я родились, — не за этот ли запах и за старые антресоли Марина с Сережей и купили тогда тот дом? Но боль эта не сочетается с сегодняшним днем, застенчиво гаснет, как погас тот солнечный двор.

Иду в тени от домов, бывших барских особняков Ордынки, на миг окунаясь в солнечные перешейки — низких ворот и калиток, 1936 год.

И вот он, переулок, где не ждет меня Нина. Сверяя номер с листком МКХ, дохожу до ее дома. Старый бедненький особняк, огромная развесистая береза. Окно, крыльцо — таких особняков тысячи. В раскрытые ворота вижу качели, на них мальчик школьного возраста. Две женщины развешивают белье. Я задаю мой вопрос нарочито медленно — чтобы овладеть голосом. Или чтоб оттянуть?

— Туркина? Нина Дмитриевна? — переспрашивает женщина.

— Да, — говорю я строго. — Сын у нее...

— А, Нина Дмитриевна? Сын? Вот, вот. Во-он он на качелях качается!

Сердце падает. Значит — не та... Однофамилица!

— Да ты что? — Другой женский голос. — Наверху живет, как не знаешь! Да у ней же малыш, Колька! Ну! Знаешь?

Не слушая, не глядя, шагаю двором, к крыльцу. Вверх — мимо каких-то дверей, держась за облупленные перила, по разлатым ступеням уютной лесенки, по которой всходил Леонид. Воспоминание и о доме Толстого в Хамовниках, и о папином, в Трехпрудном. Сердцебиение застилает все.

Навстречу мне приоткрывается низкая дверь, слева от конца лестницы, высовывается голова женщины — черт, не вижу по близорукости, — темные волосы, круглолицая, большие глаза, яркие.

— Нина Дмит...

— Входите, пожалуйста, — она протягивает мне руку. — Я знала, что кто-то придет сегодня!

— Я принесла вам печальную весть.

— Леонид? — И помедлив: — Я знала уже, я ждала...

— Погиб. Похоронен в Вологде. Завтра в час дня панихида, девятый день.

Ее руки у висков, глаза на мгновение закрыты. Выше среднего, статная. Как хорошо держится! Ведь комната плывет ей сейчас...

(К моим глазам — слезы, горло как рукой сжато.) Но разве могла быть иной — его подруга?

— Мы еле нашли вас. Я вам расскажу...

— Я сегодня в первый раз не пошла на работу, за полтора года. Я сына отнесла к маме, я знала, что кто-то придет. О нем. Я ждала кого-то из вас. Я вас сразу узнала... Сядьте. Мы будем долго говорить.

Я смотрю в золото-карие глаза, широкие. Мне кажется, они говорят — такой на них похожий голос, идущий вглубь, и такая в них проникновенная решимость, прислушивание, завороченность, служение. У нее совсем не темные, у нее — бронзовые волосы. Она совсем другая, чем я ее видела, — зреее, строже. Но когда, сказав о сыне, улыбнулась — не вяжется эта блаженная улыбка с полным женским ртом, — говорит во мне вдруг что-то: да, тут властность Юпитера тоже, но мечтательность — Луна, Луна и Луна.

— Леонид восхищался вашим мальчиком.

— Коля на него похож. Им все восхищаются. — Она ответила просто. — Я не видела Леонида Федоровича четыре года, до последней встречи. Коле — два. Сходство же явное. Он *очень* умен. И у мужа — я с ним разошлась уже полтора года назад — глаза темные, и у меня тоже. Коля — голубоглазый, но голубоглазых много, — он на *Леонида* похож. Вы же еще придете, когда он будет дома. Вы увидите... Я много видела детей, но такого — я не знаю, что будет с ним в жизни, он не похож на других детей... — Она встает, идет по комнате. — В час ночи! Вы думаете, он прыгнул? *Неудачно*? С товарняка? Нет! Он бы не мог ошибиться — нет...

— Он вез деньги рабочим.

— Думаете, убийство? Да, это могло быть...

День шел к вечеру, я глядела на Нику и слушала ее голос. И какое-то волшебное состояние овладевало мной.

Горе — отступало. *Смерть* Леонида — то, с чем я сюда пришла, — как-то странно видоизменилась. Я еще не могла себе дать отчета, что происходит, почему мне почти легко, когда совсем просто и совсем ясно, как несомненную истину — я ощутила, что Леонид — *с нами*. В эту минуту Нина встала и, повернув ко мне лицо:

— Вы чувствуете? Да? Леонида! Он — тут.

Я встала тоже. Мы смотрели друг на друга. Молчали. Чувство огромной полноты, тепла и покоя держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии. Испугались ли бы мы, если бы он — *вошел*? Было тихо в знакомой ему комнате. Две души, слившись в одной, бились, как мотылек, о светильник бессмертия.

И перешагнувший туда — был здесь.

Но молчать стало тягостно. От слабости.

— Бояться не надо, да? — спросила я Нину. — Человек слаб перед видом нарушенья закона...

— Но ведь оно и *ему* не нужно, — сказала Нина — *Леониду*? Не нужна и нам — *форма* явления. Вы же *чувствуете*, что он — здесь...

О, если есть тот мир, — как же он прекрасен, когда одно касанье к нему полнит нас такой полнотой. Подошедшее к нам длилось — недолго во времени. Но оставило по себе радость чувства *касания* к чуду, после которого все легко...

Я не помню, ели ли мы в тот день и сколько прошло часов. Уже было темно за окнами. Телеграммы о Леониде еще были, должно быть, в пути — в Архангельск, нашему старшему другу, на Алтай, моему сыну, с которым, одиннадцатилетним, тому назад лет тринадцать Леонид играл, звал “жужелицей”...

И пусть, на взгляд многих, все это было воображение, вообразилось оно как раз так, как требовалось нам — ей и мне, двум совсем разным душам. И способ дать знать — “Нина Дмитриевна Туркина”, — и способ войти и утешить (не испугав) были отменно похожи на Леонида.

(Это — тем, кто не верит).

А кто верит — тем ясно, что кому же, как не себе, мог поручить Леонид — *утешить*? В мире, где только чудо может оспорить и победить этому миру присущую *безутешность*? Никто иной — ни я сама, ни та, ни другая подруга, ни даже наш старший, самый любимый всеми, самый волшебный друг, коему шла телеграмма, — не могли смягчить уход *другого*. (Подменить собой? Собой задвинуть *отсутствие* — не свое? Попытка с негодными средствами! Отсутствие лечится только ПРИсутствием, и если отсутствие смертное — то присутствием бессмертия). С этим застенчиво и мужественно, как все, что делал, и подошел к нам, быть может, Леонид?

К жизни я очнулась в час ночи. Испугалась, что дома, то есть в квартире, где я жила, — ждут, чтобы после моего прихода запереть на внутренний замок. Ехать? Так не хотелось — и поздно — уж последние трамваи идут, наверное, в депо.

— А нельзя ли позвонить, что не приеду, чтоб запирали?

Можно, телефон в кухне, Нина проводит меня.

Сойдя с лесенки, мы вошли в дверь, мной до того не замеченную, в конце чего-то вроде “черного хода”. Нина показала мне телефон и ушла стелить нам постели. Держа телефонную трубку, я рассеянным — вполвнимания — взглядом смотрю на эту странную кухню: плитка стала посередине, как домашний божок, как в годы гражданской, давней, войны, а стена, где бы ей стоять, имела подряд три узенькие двери. Как во сне. Почему-то обои “под дуб”. Неуютно... (Какие ненужные мысли, когда человек устал!) На телефонный зов мой — не шли. Видно, спят. И вот — так бывает, когда *очень* устанешь, и в потере сопротивления непрощенные гости — воспоминания — одолевают явь. Желтый ли цвет стен вдруг перенес в другую темную солнечность давней гостиной с длинным овальным столом? Фрукты, вино, бокалы. Заздравные тосты. Из мглы (амбразура ли двери раскрытой?) — лицо. Светлые, тоскующие, в этой тоске надменные, приглядывающиеся и уже глядящие дальше глаза. Легчайшим золотом пышущая волна коротких волос. Черты римского отрока — Марина!

А рядом — лик почти! Так худ и так прекрасен. Но радостноглазый и ласковый... Двадцать три года с плеч! Вечер у Марины и Сережи, в их доме в Первом Казачьем. Сколько лиц молодых! Борис мой, моя роковая встреча, муж и отец ребенка — обреченное благородство черт, светлый взгляд, тонкие ноздри! Золото — еще светлее Марининых волос, отброшенных как у Листа. Тебя ли оставляю ради твоего юного друга, Гермеса, не сводящего с меня любующихся и застенчивых глаз, — и дальше — как гриновская “Бегущая по волнам”?

(Сквозь это слушаю напряженно молчание в телефонной трубке. Идут, нет? Спят?). О, почему — вдруг?..

Вперив в меня тяжелый и дерзкий взгляд (длинные голубые глаза, русая бородка крестьянина, широкоплеч, в себе уверен), любивший меня с моего отрочества дочитывает вслух свои стихи с посвящением: “Написавшей мне из Италии”. (Картинку с видом Средиземного моря — помню.) Дерзостно читает Толя (Анатолий Корнелиевич Виноградов, будущий писатель, погибший в 1946 году — *Примеч. авт.*) свою любовь мне в лицо, видя рядом моего молодого мужа, — мы только что из заграничной поездки, все знают, что стихи — мне. (Это летит в памяти, сердца не достигая, — в то мгновенье, когда из

тоненького далека, в коридоре у телефона слышатся игрушечные шаги. И их ритм добрасывает в мою память — конечные стихотворные строки — предсказание, что я счастлива не буду... “Покуда в родные...”)

— Слушаю! — прерывает меня голос.

— Простите, я вас разбудила? Я ночевать не приеду. Закрывайте, пожалуйста, дверь! Да, у подруги!

Трубка повешена. Озираюсь. Довспоминаю что-то, то есть ловлю ускользящее. Что-то надо довспомнить. “В родные...” А что же дальше? “Покуда в родные сени не придешь...” Это? Или нет... что, когда в голод, вернувшись в Москву, пойдя именно к этому человеку просить о работе, я получила отказ? Нет, нет, еще что-то...

Пробираюсь мимо плитки, трех дверей, чьего-то мусора — в четком ощущении, что мне не нравится эта кухня. Наша, с цементным полом, с огромной плитой, пятнадцать лет не топящейся (примусы), где гремишь ночью, после работы, корытом, — лучше!

По лесенке (Хамовники, Толстой, и наш том, в Трехпрудном!) — вверх.

— Дозвонились?

Теперь я *вижу* комнату Нины, только теперь: квадратная, низкая, как все антресольные. Два окна, мало вещей. Кровать Коли. В эту комнату входил Леонид! Тут ходил, как по моей, там сидел у стола...

Мы с Никой уснули под утро. Говорят, усталый человек не видит снов. Но я сон — увидела: я спускалась по Нининой лестнице, по которой только что наяву взошла, заглянула через закрытую дверь (во сне это мне не мешало) — напротив было два окна, сбоку третье. Это взволновало меня, и я поспешила дальше, через кухню, в дом, к тем трем узким дверям. Там на большом листе я рисую что-то и очень боюсь опоздать.

“Значит так! В комнате возле уборной жила женщина, у нее был Коля, ему было шесть лет. И все три двери — это стена *гостиной*! А плиту потому так поставили, что ей помешал — буфет! То есть не он, но тень от него мешала! Ясно теперь все!”

Я сложила рисунок и кинулась вверх по лестнице.

“Нина! — кричала я. — Я сейчас все расскажу вам! Только скажите — направо от вас есть комната? Узенькая? И в ней три окошка? Нина! Вы живете в...”

— Ася, вставайте! Опоздаем!

Я открыла глаза. Нина трясла меня за плечо.

— Где план? Подождите! — Я металась по дивану и шарила. — Я же тут все... Ах, я его ведь во сне ... Это все равно! Нина, я не сплю! — кричала я в лицо улыбающейся Нине. — У лестницы жила *Лиза*, жилища, у нее был шестилетний сын Коля (ваш второй уже). Там два окна, да? И третье — к калитке? А рядом с вашей — *узенькая*?

И в ней... Это ж *Маринин* дом! Нина, вы живете в *Марининой кладовой* — потому я ее не узнала, тут было пусто, Алины пеленки висели... Детская была рядом, а *Маринина* — та, с тремя окнами, под углом, узенькая, волшебная! Я это *во сне поняла*, и я даже план нарисовала... Но только я все-таки не понимаю, как мог дом перепрыгнуть с Полянки — на Ордынку! И совсем другие ворота и другой двор!

— А, ворота! Это я вам скажу. Это очень интересно! Только давайте скорее одеваться, сейчас закипит чай, уже поздно...

— О, не надо чаю, — просила я, одеваясь так быстро, как пожарники на пожар, — я сейчас, я только должна убедиться — взглянуть на *Маринину* дверь!

— Асенька, вы ничего не узнаете, тут было столько переделок... В той комнате, где телефон, прорубили двери в заднюю, ее переделали.

— *Гостиную*! Да, знаю! Нина! Так ведь это в кухне теперешней, в ней и стоял стол с теми винами и фруктами? И значит, я оттого и вспомнила у телефона про те стихи — а я думала, от усталости лезут воспоминания... А они пролезли, *несмотря* на усталость. Я вам расскажу по дороге... Нина! Почему тут вышло совсем обратно? Люди *просыпаются* — и тогда *помнят* и *понимают*, — а мне надо было *заснуть*, чтобы вспомнить и осознать... Да... Знаете, Нина, Леонид меня зазвал — домой, к Марине и к вам, и подарил нас друг другу... Как это на него похоже!

И в то время как я открывала дверь и с моих плеч бесшумно падали двадцать три года жизни, потому что через старые деревянные перила к Марининой двери лежал, сломавшись о них, теплым ковриком солнечный луч, Нинин голос сказал:

— Здесь заснем, а там это есть — просыпание. Смерти нет...

Обертываясь к ней, я протянула ей обе руки:

— Как я рада, что вы тут живете!

Это Леонид, а вовсе не тот Анатолий, привел меня в “родные сени”, и ведь он мне сказал, что ему этот дом — нравится... И подумать, что я в первый раз в нем, в Маринином доме, ночевала — *теперь...*

Мы надевали пальто, выходили, моя рука ласкала, спускаясь, перила, как кошку...

— И я хотела искать этот дом, не спешила, а потом пришла к *вам* — и забыла про все... И не глядела на двор, спеша к *вам*...

Солнце било в глаза, мы шли крыльцом.

— Ниночка! — Я смеялась почти. — Что же мне делать? Двор — не тот, и деревья не те, и ворота. И улица, и переулок — другие... Но это же *Маринин* дом, в Первом Казачьем!

Она улыбнулась мне — и я навек ей благодарна, что она не торопила меня в этот миг. Я оглядывалась, не понимая, бежала, как пес, по следам бывшего, гладила какие-то пеньки (“... Срубили... сожгли... тополя... А вон там береза была...”), колдовала, принималась, дышала — и мы обе опаздывали с ней на работу — но такое же *только раз!*.. То, о чем на свете — поют песни. Акации (не “белые” — желтенькие) цвели, как и в тот давний день.

— Вы хотите все же понять! — добро спросила Нина, обойдя со мной двор, где когда-то две наших старых няни под пахучими тополями гуляли с Андрюшей и Алей. — Домоуправление (это еще до меня было рассказывали) решило закрыть те ворота, что выходили в Казачий, а эти, запертые прежде, открыли — угловой участок. Вы за деревьями и не знали, верно, про вторые? Зачем Ордынка вместо Полянки понадобилась — не знаю, но факт. Вот дом и получил другой номер и числится по другому переулку... А крыльцо вы не узнали...

— Да, потому что мы входили с “парадного”, как тогда смешно звали, от Казачьего, да, да. Этот угол двора я даже совсем не помню — и березу эту...

— Березку — тогда маленькую — позабыли! А она...

Мы стояли под ней, шумной и пышной, один миг — и уже шли переулком.

Мы шли вместе, почти бежали до моего трамвая. Был белый апрельский день, летел снежок.

— Приходите, увидите Колю. Вы ахнете...

Мы шли и говорили о Леониде.

1956-1980

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ДОМОВ

(Семей: старой — Цветаевых и новой — Эфрон)

Если б, думаю, взглянуть с птичьего полета на наш дом в Трехпрудном, он явился бы, может быть, широким прямоугольником, но не квадратом. И *кажется* мне — может быть абберрация воспоминания? — Маринин дом за Москва-рекой, более квадратной массой. Двор выходил под углом на две улицы и был тоже собраннее и меньше двора нашего. Был в нем уголок с молодой зеленью, деревьями и кустами, за домом и довольно высоким забором, в уюте. Переулок, по которому он числился, звался “1-й Казачий”, за углом (дом угловой) был Екатерининский переулок. Ехать до Полянки, там — идти. Странно, что я не помню дворника в этом доме — и могло ли быть так, дом без дворника? Но я положительно не помню ни одного признака *дворникова*, и в этом тоже было отличие от дома в Трехпрудном, не отделимого от Ильи, Антона и Алексея с их гармониками, картузами, тулупами, фонарем и звонками к ним (вроде Алексева “коровьего рога”, тщившегося вызвать его из глубей младенчески-молодеческих снов).

Скажу только, что в расположении комнат было несомненное сходство с нашим отцовским — только все было сжатее, проще. Но была зала, маленькая, и гостиная, и маленький кабинет. Спальни не помню. Думаю, ее не было: Серезин был — кабинет. Маринина комната была наверху. Столовая же, из которой три двери: в кабинет, в залу и в сени черного хода, была на столовую из Трехпрудного совсем не похожа: больше нашей и какой-то овальной формы, темно-желто-блестящая.

Из сеней шла лесенка на антресоли, уютная, но на лестницу нашего детства тоже не похожая, т. к. в этой было два марша, под поворотом друг к другу, а наша детская была прямая, стрелой — вверх.

Запах в доме Трехпрудного были старинные, настоявшиеся как настойки, и их не выгонял, как не выгоняет ни из одного старого дома, ни ветер в-настежь! — окна, ни въезд других хозяев с другими вещами — запахи жили в доме сами собой, и их нельзя было расчленивать на: запах нафталина, накаленных керосиновых ламп, снадобья, которыми кормят паркет полотеры, тонкий аромат печенья из кладовой или запах пронесенных из кухни кушаний или чьих-то, здесь некогда царствовавших, духов. Категория запахов старого дома была иная, не называемая, это были тонкие смешения всего перечисленного, и еще многого, и они жили не в воздухе — воздух можно было сменять постоянно, он мог быть свежим, весенним или жарким от вошедшего в дом летнего дня, но стены (сменяй — не сменяй обои!), двери, окна, ступени лестниц, перила, полы — вся штукатурка дома насквозь пахла неуловимой прелестью старины, не имевшей ничего общего с “прелью”, а скорее воскресавшей для сравнения — мелодии затихающих старинных романсов, которым аккомпанемент шел когда-то не на рояле, а может быть, клавишине?

И когда в распахнутые окна Маринино и Серезино дома шел горячий солнечный день, а в распахнутые двери вносили мебель Трехпрудного или отдельные вещи из антикварных магазинов (Маринину и Серезину усладу!) — верилось, что жизнь здесь настанет надолго и будет настаиваться, как вино... (Что этого не случилось — в том тайна, быть может, и эпохи — и, конечно, *сердце* въезжающих...)

И каждая вещь, вносимая в дом, и устанавливаемая на место облюбованное, вдвинутая и одобренная в своем местоположении — взглядом, сразу вживаясь в свой угол, и прислон к стене, как пускает корень посаженный под окном куст. И когда, расставив несколько из них сегодня (вдобавок к привезенным вчера) поселяющихся в доме вещей, Марина и Сереза, отходя, оценивали зрелище зорким вопросительным любованием — в комнатах, все более накалявшихся их присутствием, их фантастикой, их счастьем — вещи зацветали как тот куст — тенями, отражениями в зеркале, наклоном картины, вдруг вглотившей рояльную гладь, зазолотившимся углом гравюры в старинной раме, драгоценными рядами книжных корешков, похожих на органные флейты — и когда вознесенная радостными руками Серези Маринина любимая скульптура Амазонки (голова и плечи) воцарилась на вершине книжного шкафа — в грациозно-печальном повороте головы, сверху увидевшей комнату — тогда проснулась в доме 1-го Казачьего переулочка вся Греция, с ее героями и богами, душа будущих Марининых Тезеев и Афродит, Федор, Ипполитов... А потом, устав, во внезапной радости моего прихода, мы вдвоем сели где-нибудь отдохнуть, и начиналось новое перебирание драгоценностей — выбор имен нашим будущим детям, которые скоро придут в мир. Мы знали: Марине — дочь, мне — сын! Но — от избытка щедрости (— имен!) мы вкушали и ощупывали их — и перекрестно, взвешивали на ладони; закрыв глаза, проверяли на ухо; пробовали на зуб: из всей россыпи Кириллов, Северинов, Ирин, Олегов — Ольгу, Анну, Риту (Янковскую*) (Рита Янковская — имя 14-летней героини Марининой повести об интернате фон-Дервиз, 1907 г. — *Примеч. авт.*) Бориса, Алексея, Андрея, Софию, Леонида (Адриенна Лекуврер!), Сарру, Нину (Джаваха)... Пересыпали их в руках, как Нервийские цветные стеклышки, отшлифованные Средиземным морем, как Коктебельские сердолики, халцедоны, агаты — и нам не хватало дня!

НЕПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ВЕНЕЦИАНСКОМ ДОЖЕ И ХУДОЖНИКЕ ИВАНЕ БУЛАТОВЕ

Начало этой истории рассказал сам Иван Михайлович Булатов, когда мы были в гостях у моего друга Бориса Михайловича Зубакина в двадцатых годах века. Заваленная книгами высокая комната, увешанная портретами, самодельные полати и лесенка к ним — так как реликвии прошлого не помещались, — лицо хозяина, походившего на Шекспира (поэта, импровизатора и скульптора), и фантастический облик Булатова — длиннобородого, уже седеющего, в бархатной куртке, — все как нельзя более подходило к истории, которую он рассказал. Но был этот рассказ — былью. Знала я до того дня, что художник Булатов долго жил в Турции, писал Константинополь. В этот вечер я услышала о том, что он был и в Италии.

— Я первый раз приехал в Венецию, — говорил он, — и, конечно, пошел осмотреть Дворец дождей. Итальянского не знал, но гид мой знал немного по-французски, и мы кое-как друг друга понимали. Мы шли, я слушал. Внезапно ощутил необычайное беспокойство. Не понимая, что со мной, бросился вперед. Такое необъяснимое бывало со мною только во сне — или в далеком детстве... Стал у правой стены, сиюсь что-то вспомнить, уловить, — в ужасной тревоге. “Но ведь тут была *дверь!* Тут *должна* быть дверь...” — сказал я догнавшему меня гиду. Он отвечал мне, тоже по-французски, что-то удивленное, о чем-то спрашивал... Я бежал вперед. Следующая, будто знакомая зала, большая, угловая, поперечной левой частью заканчивала только что пройденную анфиладу и поворачивала идущих назад вправо, во второй ряд комнат, начинавшихся в правой ее стороне. В горячечной спешке я вбежал за открывшийся поворот и опознал следы того, что я искал: в стене, с этого боку уже виденной мною в той зале стены, были заметны очертания замурованной двери. Тут меня догнал гид. Он смотрел на меня, стараясь понять что-то. Какая-то сила тянула вперед, я не мог ей противиться, — рассказывал художник, — что-то похожее на прозрение в бреду. Я узнавал место, где никогда не был. Долго ли я метался по лабиринту Дворца? И был ли то лабиринт? Я вбежал в небольшую — сравнительно с другими — комнату. Потолок ее казался еще выше. На стене в тяжелой темной раме висел портрет. Он был, чудилось мне, зеркалом. На меня пристально смотрел я. Мой портрет, лучше того, что был на константинопольской выставке. Моя светлая борода курчавилась под пальцами поднятой к ней руки — мои пальцы, моя рука. Мой рот готовился — чуть-чуть — улыбнуться, тем разрушая строгость черт выражения, которое не совсем удалось мне в том, турецком, автопортрете с беретом на уже начинавших редеть волосах. *Тут* надо лбом темно золотились пышные волосы. Я был одет в наряд дожа. Чудесное сверкание красок бархата и шелков, мастерство кисти, на мгновение ошеломив меня как художника, отвлекло от разящего сходства. В этот миг кто-то тронул меня за плечо. Я с досадой повернул голову — и увидел потрясенное лицо моего гида. Он переводил взгляд с меня на портрет и снова смотрел на меня. Что он пробормотал, я никогда не разгадаю, потому что я не знаю итальянского языка.

Больше ничего не мог добавить к своему рассказу Булатов. Он только разводил руками, говорил о загадочности жизни... Кто-то спросил его, как он относится к теории перевоплощения.

— Ведь если стать на *эту* точку зрения, то многое станет понятным. Можно предположить, что в каком-нибудь из прошлых веков...

Память не сохранила того, что сказал он, несомненно умнейший и самый необычайный, самый вдохновенный из нас... В ответ Борис Михайлович (туманно запомнилось мне):

— ... что у человека есть двойник — то...

Но кругом шумели, и я не помню конца его мысли. А может быть, собственное мое несогласие требовало выражения — то, что я сказала, я помню.

— Ну и что же из того, — обратилась я к только что говорившему, упомянувшему Индию, йогов, — что *много* различных учений объяснили бы это перевоплощением? Разве *множество* адептов-теософов, антропософов — доказывает их правоту? Их учение может быть тем не менее — *ошибочно*... Мне кажется даже убогим подобное толкование... Может быть, эта дверь ему когда-то приснилась? (Здесь можно чудесно впасть в лирику!) Сходство с портретом? Довольно-таки *нищее* размышление, что на нем самом, на Иване Михайловиче, столько лет назад был надет костюм дожа! Весьма скучное прозаическое объяснение...

— Ну, а как же *вы* объясните это? — возразили мне.

— А почему я должна объяснить? Разве таинственность не имеет права на жизнь? Разве мало ее вокруг нас?..

— Да, разумеется, — прервал Булатов, — трудно отрицать огульно... Но я лично никогда не занимался подобными темами, меня всегда интересовало только — Искусство! Объяснений не могу предложить... никаких... — И он перешел к своей теме — к живописи, к высокому мастерству художников Возрождения...

Прошло несколько лет.

Я, в тридцать девять возобновила игру на рояле, стала брать уроки музыки у родной сестры Ивана Михайловича, Марьи Михайловны Сысоевой. Это была необыкновенная старушка: маленькая, в черном платье, с тоненькой золотой цепочкой часов, по старинной моде засунутой за пояс. Седые поредевшие волосы были заколоты пучком на затылке. Лицо ее было некрасивое, лишь голубые усталые глазки были очень умны, — волшебница, как их представляют в театре.

Брата и сестру связывала нежнейшая дружба.

Марья Михайловна стала приходить ко мне на четвертый этаж дома восемнадцать в Мерзляковском переулке. После урока мы пили чай и беседовали. Казалось, мы знали друг друга давным-давно... Услышать же хоть изредка прекрасное качество ее игры на моем старом темно желтом фортепьяно было мне — праздник. Особенно помню я вечер, когда она долго играла Листа — и вспомнила, как где-то за границей давала концерт. “Все прошло?” Не совсем... До сих пор она исправляла руки студентов консерватории — “немевшие”. Она без негодования не могла произнести это слово, считавшееся нормой у многих профессоров: если такое случалось с их учениками, они советовали им на несколько месяцев “отдохнуть”! Вот тогда-то маленькая старушка, не по той постановке руки некогда учившаяся и учащая *своих* учеников, в очень короткий срок возвращала консерваторским ученикам — их руки, рукам — клавиши, профессорам — учеников. И ходил слух, что многие из профессуры знали о волшебной старушке, хотя и не находили гражданского мужества *самим* — прийти к ней на поклон.

Разве это меньше достойно удивления, чем то, что испугало венецианского гида, или чем то, что произошло потом? Жизнь окутана тайнами, и было бы трудно пробираться через них, если бы не было дано человеку способности задумываться и постигать.

Марья Михайловна имела трудных детей и много забот, бедность и старость уже начинали ее угнетать, но одной из главных забот ее был брат Ваня. Семьи он не имел, и она всю жизнь его опекала... И вот однажды, придя ко мне на урок очень расстроенная, она сказала мне, что ее брат заболел. Нервное переутомление, его кладут в больницу. Марья Михайловна чего-то недоговаривала. Что-то смущало ее в нем. Она еле отвечала на вопросы. Чем я могла помочь? Я постаралась лучше сыграть все заданное и скорее усадить ее за чай, подкормить: она, старенькая, иногда уже и задремывавшая у рояля ученика, не отказывалась — в пути между уроками, порой на разных: концах Москвы, — согреться в ласковости любивших ее семей, перекусить перед далекой дорогой. Сегодня она еле прикасалась к еде, не вошла сердцем в уют чаепития. “Ах, Ваня, Ваня...” “Когда же теперь пустят к нему?” “Хорошая ли больница?” Она отвечала невпопад, торопилась. Но мы все-таки условились о следующем уроке.

Исполнительная, она пришла, но, еще ничего не узнав о брате, была беспокойна. Я старалась убедить ее в том, что Ивану Михайловичу будет хорошо в больнице — отдохнет! — и питание, конечно, лучше, чем в их малоустроенной жизни... Так прошло еще урока два-три. Мне показалось, что у моей учительницы немного отлегло от души. Но когда я в этот раз спросила ее, удалось ли навестить брата, в старческих глазах ее появилось выражение еще углубившейся боли. Но она знала, что я ее люблю.

— Ваня не узнал меня! — сказала Марья Михайловна. — Или *вид* сделал, что не узнал... — медленно размышляла она вслух. — Он похудел, он мало кушает, но главное, он... не говорит — ни с кем. Он сначала отвечал на вопросы доктора, а потом — замолчал. Ни словечка — никому! Доктор сказал: “Понаблюдаем, потом будем лечить”. Ну, что ж, давайте сыграем...

В тот раз я видела слезы у нее в глазах. Теперь они были сухи. Но уж лучше бы она плакала... Я села играть.

И пошли наши уроки в ее углубленном молчании и в спешке уйти.

— Молчит! — говорила Марья Михайловна. — И все меньше кушает. Надо что-то *найти*... сготовить, чтобы ему понравилось... Изюму у Елисеева достала — целое сокровище! Если бы любимые его восточные сладости — да где же их теперь найдешь?

Искала и я — но не те времена были. Питались мы тогда — сурово.

Я очень старалась хорошо приготовить урок и получила похвалу за “Лунную сонату” — одолела вторую, не нравившуюся мне часть. Морщинистое личико Марьи Михайловны посветлело. “Неплохо, не плохо. Поработали!” — сказала она своим прежним голосом. Но, может быть, не во мне было дело. За чаем она сообщила мне с каким-то незнакомым выражением лица — точно силилась отгадать что-то:

— Какое-то движение в его болезни! Вчера мне сиделка сказала: “Начал бормотать что-то!” И сегодня бормочет... Нагнулась я к нему — понять нельзя, а интонации будто веселые... Несколько изюминок в рот взял.

В следующий раз она вошла — повеселевшая и сама.

— Лопочет! — с порога сказала она. — Доктор ведь говорил: “Как вернем ему речь — так дело пойдет на выздоровление!..” Только вот не по-русски он говорит! По-турецки? Обещали мальчишку достать — мать у него турчанка была, из Турции ее один наш солдат вывез — влюбилась! Сама-то она умерла, но мальчишка от нее научился — может, с ним хоть поговорит, вспомнит Константинополь!

Я с интересом ждала вестей. Но Марья Михайловна пришла огорченная.

— Приводили мальчишку! *Старался* понять, самому интересно — мать, говорит, вспомню! Ни с кем после нее не говорил! Слушал-слушал, спрашивал Ваню — ни тот, ни этот! Точно и не жил в Константинополе!.. Отдала я мальчишке изюм, с горя! Подросток уже, а обрадовался... А Ваня все равно его только по штучке...

И вот когда дело еще больше запуталось — оно пошло разясняться с другого конца, хоть и малопонятно. Доктор пытливый не оставлял надежды разобраться в странном пациенте. К нему стали приводить людей, знавших французский, учившихся в школе немецкому (в этих странах много различных наречий), — но никто из них не понял ее Ваню. Вспомнив, наконец, что в другом отделении больницы работает медсестра, отец которой был женат не то на англичанке, не то на венгерке, доктор попросил и ее попробовать счастья. Что пациент уже *не* безнадежен, было ясно — вместе с речью, хотя и невнятной, вместе с *процессом* речи больной стал понемногу есть. Сон тоже стал глубже — без снотворных. Доктор повеселел.

Гостя из соседнего корпуса произвела в неврологическом отделении — фурор: с первой же минуты, сев возле больного художника, прислушавшись к его тихому бормотанью, она что-то сказала ему. Больной широко раскрыл глаза — и они оба защебетали все громче и громче, а затем медсестра (веселая была — “Я вся в мать!” — она потом говорила), смеясь, обернулась — только няня одна проходила палатой, да еще сестра больного вышла в этот миг (начало приемного часа): — “Да он у вас говорит на нашем чистейшем тосканском наречии! По-русски не говорит? Так он же — итальянец!”

С того дня Булатов стал день ото дня поправляться, медсестра заходила к нему каждый день, и они вели веселую беседу. Только странное начало делаться с речью Ивана Михайловича: он вставлял в свою возвратившуюся речь — русские слова, их делалось все больше и больше, они смешивались с тосканскими (хорошо, что медсестра была полуйтальянка-полурусская!). Она по-прежнему *понимала* Ваню — но отвечать ему на этом смешанном языке ей было трудно, да оно уже и не требовалось по ходу лечения — русская речь возвращалась в том же темпе, сказала Марья Михайловна, как исчезла итальянская, больной уже узнавал всех, ел, спал... Доктор попросил медсестру более не беспокоить больного — и к моменту выписки его из больницы Иван Михайлович нацело забыл итальянский, которого он, впрочем,

«никогда и не знал!» Он сказал это сам, когда неосторожные внуки сестры с любопытством стали расспрашивать о его “приключениях”.

— Итальянского — не знал! — просто ответил он. — В Италии я был всего несколько дней, в Венеции, Флоренции и Риме. По-французски говорил плохо. Но все-таки этот язык мне там помог...

— А говорил, турецкий знаешь, — дерзко сказал беспечный юнец старику, — а мальчишку-турка не понял!

— Какого мальчишку? — спросил Иван Михайлович, но в это время пришла Марья Михайловна и замяла, рассердясь, этот разговор.

Вот все это я рассказывала — друзьям. Но никогда я не делала это так подробно, как в последний раз, уже на восьмом десятке лет. И решила записать этот случай, чтобы он не ушел со мною. Но я ощутила это как долг, может быть, потому, что, как в тот день, когда сам Булатов нам рассказал о себе во Дворце дождей, так и вновь последовала беседа различно об этом думающих. Давно уже не было с нами ни его самого, ни Бориса Михайловича Зубакина, ни сестры Булатова... Но мне хочется записать слова прослушавших мой рассказ.

— По-моему, это великолепная иллюстрация к теории о перевоплощениях, — сказал довольно молодой человек. — Чем другим можно объяснить рассказ этого художника, если верить вам и ему, что это — быль?

— Вот этому можете верить — безоговорочно, — сказала я, — что же касается теории перевоплощения — я, прожив жизнь, могу сказать только, что она по-прежнему кажется мне — вульгарной. Точно надо прожить *x*-количество жизней, чтобы понять что-то! Точно истина не является нам иногда — в один момент! Какая лень — какое отсутствие чувства драгоценности данного часа, отсутствие ответственности дремлет где-то в этих повторных явлениях на земле... К чему тут наряд дожа, когда-то на тебе висевший? Надо считать человека чем-то ужасно тупым, чтобы согласиться с такой организованной средней повторности! И где вы видите этот рост? Разве в глазах и в верности собаки часто не много больше благородства, чем в ином человеке? Прогресс, регресс зависят от самого человека в каждый идущий миг!..

Я остановилась, чувствуя, что говорю слишком долго. И уже стоял между нас мне знакомый, явно ждущий конца моих слов: они, может быть, были ему прозаичны?

— Я только хотел сказать... Вот этот необъяснимый миг — я не знаю, это со мной часто бывало, особенно в детстве! Что это все уже раз было — эта комната, окно, дверь, — мы даже предчувствуем, что сейчас кто-то скажет, уже когда-то сказал... — Говоривший замолчал, ища слово. — Это нельзя объяснить, но чувство очень сильно. Оно уже в литературе называется “*deja vu*...” Значит, так оно и было — когда? где?

— Мне думается, — сказал молчавший дотоле человек, — дело еще проще. Оно кроется в *генах*. Воспоминание передается по наследству — и может быть очень давним. Это еще малоизученная область, но в ней таится ключ ко многим загадкам... Человек несет их в себе. Но живет он — один раз...

— Вы, наверное, правы, — сказала я, — если, может быть, кому-нибудь хочется знать еще о Булатове и его сестре, я могу сказать, как они оба — умерли, хоть это относится сюда не более того, как смерть откосится к жизни. В 1941-42 годах в деревне Жары, куда их вывезла их друг Мария Ивановна Кузнецова-Гринева, они в эвакуации, пока их носила негостеприимная тогда земля. Сестра своими старыми пальчиками, так игравшими Листа, перебирала в овощехранилище вместе с актрисой Кузнецовой-Гриневой картошку — и тем кормила брата и себя. “Мириам! — говорила она, — спасибо тебе, что взяла нас с собой!” Она была кротка, весела — пока не слег ее Ваня. Он болел не долго, но все повторял, что Пасху они встретят вместе с сестрой! Он не дожил до этого дней десяти. “До восхода солнца — доживу!” — сказал он. Ночь прометался. При первых лучах солнца сказал: “Ура!”

Это было его последнее слово. Сестра его после него легла, сказав: “Не будите!” И все спала и спала. “Мы ведь уговорились с Ваней встретить вместе Пасху”, — сказала она еще. Она умерла накануне Пасхи, в страстную субботу 1942 года.

О МАРИНЕ, СЕСТРЕ МОЕЙ

Мальчик к губам приложил осторожно свирель,
Девочка, плача, головку на грудь уронила,
Грустно и мило,
Скорбно склоняется к детям столетняя ель.

Старая ель в этой жизни видала так много
Слишком красивых, с большими глазами, детей,
Нету путей
Им в этой жизни. Их радость, их счастье — у Бога.

Море синее вдали, как огромный сапфир,
Детские крики доносятся с дальней лужайки,
В воздухе — чайки,
Мальчик играет, а девочке в друге — весь мир.

Словно читая в грядущем, их старая ель осенила,
Мощная, старая, много выдавшая ель,
Плачет свирель...
Девочка, плача, головку на грудь уронила.

Легко ли поверить, что эти стихи написала девушка, еле перешагнувшая порог отрочества?.. Такова была Марина. Она все знала — заранее. Ее грусть, в ней зажженная еще в детстве, чуя все, что потом придет, делала ее в 15, в 16 лет — тою столетнею елью над теми детьми.

Отец наш писал о Марине: “Какие способности дала природа этой 13-летней девочке! Как она будет жить с ними? Ей будет очень трудно жить!..”

Да, в 12 лет, приехав во Фрайбург (Южная Германия), где лечилась наша мать, поступила в интернат немецкой школы, она после экзаменов, ею пройденных, была определена: по предметам, ей чуждым, — математике, химии, естествознанию в класс *своего* возраста, а по гуманитарным — истории, литературе и по языкам — в старший класс, к 17-ти-18-летним.

В ответ на просьбу написать о Марине *что* хочу — захотелось об удивительном, с нею связанном.

В моей книге “Дым, Дым и Дым” (1916) есть страница, начинающаяся словами: “Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим — слов нет — горем моей жизни”. Нам было 24 и 22 года. Марика всегда, с детства, была здоровее меня. Как смогло перо мое написать о ее смерти слово “будет”? Ничто не предвещало ее. Откуда было это душевное предвестие? Без всякого “если”! Как я могла окунуться в силу, в ощущение этого горя — вдруг? С птичьего полета заглянуть из 1916 года в 1943, когда, два года бережа меня от вести о ее гибели, все же не смогли уберечь — весть *дошла* до Дальнего Востока, где я была на десять лет в заключении. ОДНОГО не предугадала — что буду *далеко* от нее, не смогу даже мертвую ее увидеть, проститься.

На похоронах одного из братьев Гонкуров другой поседел. Но он на этих похоронах был. У меня было отнято даже это. Только *силу* удара я в 1916-ом вдруг ощутила.

Было еще и другое: был *сон* в конце августа 1941 — или в первые дни сентября — нет, первого сентября был, помнится, ликвидном (ликвидационная комиссия) проектно-сметной группы, где мы работали, а значит, сон *был в августе*, когда решалась судьба Марины — сон о ее смерти. Я проснулась в таком испуге, что не дала себе осознать, *кто* умер, но и лгать не могла и определила, что сон был о смерти самой близкой мне женщины — имени не назвав?

Этот сон! Поданный мне, ее, по *ее* названию — “неразлучной” — и как он мог не быть подан? Узнала я, что он был *правдой*, — только через два года. Но он *был*.

А что Марина умрет раньше меня, я написала и в пропавшем при аресте двухтомном романе “Нюрнбергская хроника”. Там семья наша была переселена в Германию. Мама звалась фрау Мария, мы — Беата и Эрика, и старшая из нас была невестой англичанина, когда разразилась мировая война 1914 года — и разлучила их. Тогда Беата поступает на курсы сестер милосердия, перебарывая нелюбовь к медицине, и идет на фронт в фантастической надежде где-то в боях встретить своего жениха. И погибает. Младшая, Эрика, остается жить.

Откуда я знала, что Марину — переживу?

Идем дальше, узнав о Марининой гибели и об оставленных ею письмах — сыну, мужу, дочери и Асееву (поручая ему сына), я спросила себя — и весь воздух, который только и могла спросить: как могла Марина уйти, не упомянув меня? Молчание в ответ было моим живым страданием. Но на этот вопрос я *получила* ответ и именно в эти дни. Вторая жена моего мужа Бориса, самый близкий мне человек после Марины, прислала мне письмо, где сообщила, что в бумагах своего погибшего в тюрьме второго мужа, Б-ка, она нашла подобранное в Марининой квартире в Борисоглебском переулке (после ее отъезда из России) — письмо ко мне 1910 года, прощальное, написанное перед ее неудавшимся самоубийством и *не* уничтоженное ею с 1910 до 1922 года. “Я передам его при встрече, — писала Мария Ивановна, — а пока шлю его копию”. Это было как удар грома в мои тоскующие и вопрошающие дни.

Увы, когда я пишу все это, у меня опять нет его со мной в мои 94 года, — но его содержание: Марина прощалась со мной, просила меня не бояться ее, знать твердо, что она никогда ко мне не придет даже призраком, помнить ее и в весенние вечера петь те песни, детские, девические, которые мы пели вместе после нашей двойной любви к В. О. Нилендеру, — просила меня никогда ничего не бояться, ничего не жалеть. И была в конце фразы: “Только бы не оборвалась веревка! А то не доведется — гадость, правда?”

Я держала листок копии этого письма, руки мои дрожали, я стояла на моей лагерной койке на коленях перед уже висящим на стене портретом, карандашным, увеличенным мною с присланной мне ее фотографии. Я стояла лицом к нему, к ней, спиной к комнате, к женщинам, моим спутникам по беде. Заливалась слезами...

Разве не чудо было читать его впервые теперь, в 49 лет, не чудо ли, что Марина не порвала его — разве оно не попадалось ей в руки? И не чудо, что оно пришло теперь, после ее самоубийства, — узнать, что она не забыла меня, в ответ на мое горе оставленности?..

В 1960 году, когда я смогла поехать искать ее могилу в Елабугу, я узнала от А. Ив. Бродельниковой, ее елабужской хозяйки, что узнав ее имя и отчество, Марина повторила его и — “У меня есть сестра Анастасия Ивановна...” Так она за несколько дней до смерти произнесла мое имя.

В 1943 году, на Дальнем Востоке, в Сталинском лагере, когда я узнала о смерти Марины (от меня два года скрывали), я все свободное время сидела за увеличением Марининых фотографий, портретов. И с лучшим из этих портретов произошло следующее: техника увеличения — крошечные клетки, легко начертанные на фотографии, автоматически повторялись в масштабе увеличения, и ни йоты фантазии в этой работе не могло быть. Я начинала всегда — с глаз. Правый, затем — левый...

Фотография, мне присланная, была, увы, неудачная по выражению лица: будничное, никакое. Я автоматически воспроизводила линии и тень между них, то есть автоматически повторяла, увеличивала глаз с неудачной фотографии. Но на меня глядел, *неуловимо себя утверждая, живой Маринин* глаз. Удивясь, я, туша радость, сказала себе — Идиотка! — ты сфантазировала тут что-то — и теперь между глазами будет несходство, психологическая косина! Но и со вторым глазом произошло то же, и оба — правый и левый — переглянулись единством на пустом лице...

И еще о Марине: с 1907 по 1910 год она жила на антресолях отцовского дома в крошечной комнатке — письменный стол, диван и портреты любимых героев — на стенах. А в 1910 году Марина сошла вниз, поселилась в бывшей кладовой, а позднее — в комнате экономки, двухоконной, окнами во двор. И

подоконники она устала горшками комнатных растений. Любимый ее цветок был “серолист” из семейства бегоний, листья которого усыпаны серебряным узором.

Итак, в 1943 году, на Дальнем Востоке, погруженная в свое горе, я увидела у одной вскоре освобождающейся женщины, у койки ее в большой кадке как бы увеличенный в лупу, как с ее подоконника, цветок, любимый Мариной, разросшийся в комнатное дерево — серолист. Я сказала о Марине владелице дерева и она подарила его мне, заповедав ежевесенне его пересаживать в новую землю. Дерево стало моим.

В тихий осенний вечер мы сидели, человек пять, пришедших с работ, кто за письмом, кто за вязаньем, кто за чаем, в полной тишине — многие еще не пришли, и дерево с нами, как член горестной нашей семьи. Я — рисую Марину...

Было совсем тихо, никто не шел по мосткам, ведущим в маленький наш барак, и не было за окном ветра.

Внезапно, как бы в порыве сильного ветра, все ветви серолиста всплеснулись шумно. Все мы пораженные смотрели друг на друга, молча, я — оторвавшись от Маринино портрета. Дерево медленно успокаивалось...

Марина дала знать о себе?..

Моего заключения прошло шесть лет, оставалось еще четыре. Эти годы прошли без переездов, на станции Известковой. Каждую весну я пересаживала Маринин серолист в новую землю. Переносили мне мою кадку из барака в барак — кто-нибудь из мужского барака — за полпайки. И рассталась я с ним в день освобождения 1 сентября 1947 года. У кого этот серолист дожил свой век?..

И последнее: с 1941 года жизни я впервые начала писать стихи. Сперва — английские, затем — русские. Поток стихов залил мои тюремные дни (стихи, рожденные в воздух, утвержденные памятью, ибо даже карандаш в советских тюрьмах был запрещен). Стихи продолжались и в лагере. Но с дня, когда я узнала о гибели Марины, стихи иссякли. И только через 31 год, в 1974 году я написала “Мне 80 лет”, мое последнее стихотворение.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

I

Сколько лет назад это было? Лет двенадцать, должно быть. Я получила письмо в мой тогдашний московский адрес — из Москвы же, подписанное фамилией Вишневская. Инициалов, имени — увы, не помню. Мне сообщали, что среди своих книг корреспондентка моя нашла маленькую книжку в переплете под названием “Разлука”. По надписи узнав, что книга когда-то была подарена автором — Мариной Цветаевой — сестре ее Асе, нашедшая книгу просила о свидании — чтобы, если я опознаю почерк и установлю принадлежность мне этой находки, — возратить ее мне. Следовали адрес и извинение, что так поздно это все происходит. Я тотчас же ответила, сообщила дни и часы, когда бываю дома; благодарила и радовалась книге, знакомству.

Почерк — тонкий, сильно наклоненный, с широким размахом, но одновременно как бы сжимавший разлет букв, графолог сказал бы о чертах стремительности — и застенчивости, о сложной деликатной душе.

Если правильно помню, писавшая пришла едва ли не в первый мною помеченный день, час.

Я пошла на звонок, но по длинному коридору уже шли навстречу — кто-то из соседей впустил. Я пошире открыла дверь, приглашая посетительницу, отступая за рояль ближе к окну.

В комнату вошла высокая стройная женщина в чем-то легко накинута, широко, должно быть, шелковом, длинном, темном. Была весна. В движении запахнуть и кланяться, подавая руку с тонкими пальцами, было несказанное изящество, артистичность. Актриса? Но еще что-то останавливало, поражало глаз — что это? Все сердце устремилось в таинственную непонятность — *Этого*, что было важнее артистичности, важнее красоты вошедшей: а! тут царила, главенствовала — болезнь. Огромные глаза глядели, темно блестя, полуулыбаясь виновато и нежно, бледные пальцы прижимали отвороты пальто к груди, голос говорил слова, просящие извинения, и красота голоса, прерывистого и глухого — ранила

слух. Она только вошла — но она уже отступала, она протягивала мне маленькую коричневую книгу, она не находила слов, чтобы испросить прощение.

“Мне совсем непонятно: как, когда эта книга у меня очутилась, я ее обнаружила совсем случайно, я очень долго болела, кто-то принес ее и оставил, мне не сказав... О, простите меня, что я так поздно Вам написала, так поздно Вам ее принесла...”

Интонации были почти — музыка. Но человек был только наполовину живой, почти — умирающий. Казалось, она еле дошла, — как назад дойдет? Но она уходила.

“О, спасибо Вам! Да, эта книга — моя, я ее очень давно не видела! Зачем Вы *сами* ее принесли? Если бы я знала, что Вы — болеете, я бы приехала к Вам...”

Как груб был мой голос после прощающегося шелеста ее голоса! Но я все-таки выговорила вопрос, недавний: — *Чем Вы больны?*

— О, — отвечала она, — все уже в прошлом, то есть здоровье мое позади, — и — как бы боясь собою нарушить чье-то относительное благополучие — уже отступив почти к двери, провалы щек в глубоких тенях аккомпанировали попытке улыбнуться: — У меня... *туберкулез почек! Простите* меня, я *очень* прошу Вас меня простить! Я так виновата...

Я шла вслед — но ее уже не было в комнате. Мы скользили по коридору, спешили... Окунутая в мою благодарность, она спускалась по лестнице... Внизу хлопнула выходная дверь.

В моих руках была зажата книжка Марины. Ее почерком, легкой прямой вязью были написаны чернилами слова:

Дорогой Асе — на память о нашей второй встрече в Москве, летом 1921 г.

Марина.

Берлин, 21-го нов. июля 1922 г.

Ни Посетительницы, ни Марины, ни молодости, ни — свидания, все — в прошлом.

Неумолимо чернело посреди белизны листа — слово РАЗЛУКА...

II

На той же улице Горького, бывшей Тверской, куда ко мне пришла, в бывший Пименовский переулочек, Посетительница, мне напомнившая строки стихов Марины:

Вдруг вошла

Черной и стройной тенью

В дверь дилижанса.

Ночь

Ринулась вслед.

Черный плащ

И черный цилиндр с вуалью.

Через руку

В крупную клетку — плед.

Если не хочешь муку

Принять, — спи, сосед!

На той же улице Горького жила моя хорошая знакомая, музыкантша. Она позвала меня к себе, сообщив, что у нее будет вдова скрипача Г-го и что меня ждет “приятный сюрприз”.

Г-го я когда-то встречала, он был очень талантлив и очень мил. Мне навстречу поднялась маленькая полная женщина. — Здравствуйте! — сказала она, шагнув ко мне крепкими крупными шагами, и сжала мне руку, — я принесла Вашу книгу — чтобы Вы мне ее надписали. Надпишете?

— Конечно, — отвечала я разочарованно. И, погашая это недоброе чувство, постаралась сделать надпись возможно приветливее и добрее.

Гостья прочла, одобрила, поблагодарила и хозяйственно уложила

мою книгу (2-е издание) моих “Воспоминаний” в столь же хозяйственную сумку.

— А вот это, — и она протянула мне другую книгу, — с полки из библиотеки моего покойного мужа.

На титульном листе на французском языке стояло имя, знакомое мне с детства: — Людвиг Второй Баварский.

Историей этого юного короля увлекалась наша мать, и увлечение это перешло по наследству Марине и мне, сердце забилось еще сильнее: во всю страницу Марининым почерком были написаны французские стихи (ее — или переписанные откуда-то стихотворные строки?), восхваляющие легендарного короля, любимца народа, друга Рихарда Вагнера; короля, жившего в своем замке, где ночью звучала оркестровая музыка, а днем люди спали.

Людвиг Второй утонул в озере молодым. На месте его гибели из воды возвышался золотой крест. Наша мать, девушкой проплывая со своим отцом в лодке по озеру, сняла с пальца кольцо и опустила его в воду — на месте трагической гибели. Еще одна перевернутая страница — и предстало большеглазое задумчивое юношеское лицо.

— Это почерк Вашей сестры? — спросила гостя.

— Без малейшего сомнения, — радостно ответила я. — В 1941 году моя сестра перед отъездом в Елабугу поставила все свои книги на хранение к больному поэту С. — у него была большая квартира — но, когда после смерти Марины муж ее дочери пришел к поэту, — он и его жена встретили пришедшего полным отказом от книг (отданных им на хранение — в спешке без расписки) — а позднее сын Марины в 1943-44 гг. встречал многие ее книги у букинистов. Эта — одна из этих книг. Как я рада, что Вы ее сохранили! Только теперь *Ваша* очередь мне написать ее!

Я благодарно кивнула нашей хозяйке-музыкантше, расставлявшей на столе угощение к чаю. Вот какой сюрприз она приготовила мне!..

— Вы не поняли меня! — негодуяше воскликнула гостя, — Вы думали, я хочу подарить Вам книгу из библиотеки моего покойного мужа? Что вы! Я так берегу его книги!..

— Но эта книга — украдена из библиотеки моей сестры! — сказала я изумленно, — Ваш покойный муж — я его знала! — протянул бы ее мне обеими руками!.. Конечно, если Вы с ним в этих вещах расходитесь, — я не могу Вас переубедить! — Пожав плечами, я отодвинула резко от себя книгу. Но, беря себя в руки: — Но, может быть, Вы разрешите мне приходить сюда — и переписывать из нее то, что мне тут особенно нужно? Подробно — про его смерть...

Лицо гостя стало неожиданно-любезно:

— Возьмите книгу с собой, пожалуйста, и дома перепишите, что Вам надо...

— Благодарю Вас! — сказала я, — я это сделаю очень скоро и позвоню Вам — условиться о свидании.

Мы обменялись телефонами. Наша хозяйка несла чай. Мне стыдно сознаться, что в ответ на широкий жест неширокой натуры гостя я ответила недостойно: позволила себе во время всего чаепития не сказать ей ни слова, беседуя лишь с хозяйкой, “тактично обошедшей молчанием” происшедший за ее столом инцидент.

Москва, 1980 год.

ЗИНОВИКИ

Посвящается Жене Куниной

Мне не удалось в этот вечер поговорить с моим другом Женей Куниной — у нее прочно сидел один из ее названных внуков — называвшийся Зиновиком: так его звала в детстве бабушка. И было еще дело в тот вечер — не опоздать к себе домой, куда обещал прийти наш общий с Женей Куниной друг, Борис Александрович Тарасов. Он еще у нас звался “Ищейка” по способности находить в моих папках с надписью “Не разобрано”, или короче “Хаос”, — те страницы машинописи, которые куда-то

запропастились, этим прекратив или прервав смысл главы. Глав же было великое множество, и смысл в них спотыкался об эти запропастившиеся страницы. Словом, я торопилась: если не найти всех страниц — машинопись в издательстве будет уж совсем непонятна Гусу (*не* Государственному ученому совету, имевшему такое сокращение в первое десятилетие революции, а рецензенту Гусу, написавшему, что мой стиль — он его едко ставил в кавычки — ему “не всегда понятен”). Чтобы не заставлять ждать Бориса Александровича, была пора идти.

Да. Но как уйти так, чтобы моих *сборов* идти не заметил Зиновик? Глаза у Зиновика ясные, голубые, младенчески-зоркие. Ему ведь тоже пора идти, — он встанет, не прерывая разговора (Зиновик всегда говорит), и пойдет меня провожать, потому что куда-нибудь же надо идти, раз поздно, и все равно с кем говорить, раз разговор не окончен? Разговор же не кончился — вообще. Но была *еще* причина, почему именно сегодня Зиновик пойдет меня провожать: в прошлый раз, когда я его прервала, потому что уж очень с ним была не согласна, он не успел договорить своего опровержения моего опровержения, и это мучило его все прошедшие дни.

Задача моя состояла в том, чтобы уйти незаметно, избегнув того, чтобы, как он сказал: “Я Вам докажу, что я прав, что Вы меня не поняли насчет той мертвой птицы, которой я любовался, — и Вы *непрерменно* согласитесь со мной”. Мне было ясно, что я не соглашусь с Зиновиком, что мертвая птица в перьях и перья в крови — красота! Я же ему уже *ответила*, что *если* ему нравится цвет крови — пусть разрежет себе ладонь и любуется на свою кровь. Другого я не нашлась бы ответить, а два раза такую чушь слушать и отвечать в 74 года — и вообще совершенно некогда — и как же мне сейчас уйти?

Уже один раз Борис Александрович, не дождавшись меня, ушел! Так, сжатая со всех сторон, я встала. Но судьба, должно быть, хотела быть ко мне милостивой — за моей спиной Роза что-то показывала в книге Зиновик, и оба они стояли, не видя меня. И после *этого* говорить, что “старость не радость” — и все в этом роде такое?! Как кошка, бесшумно скользнула я в переднюю, захватив по пути кошелку и сумку, схватив шубу — руки сами влезли в рукава, палка сама прыгнула в руку, шапка на голову — и в то время как старые глохнувшие уши ловили продолжающийся разговор за стеклянной Жениной дверью, ноги бесшумно — дай Бог девушке в 16 лет такие движенья! — пролетели переднюю одной спешкой и ощупью, потому что было — оттого, что так приказала Клава, которую в ее комнате беспокоил свет из передней, — было, как англичане говорят, *pitch dark* (как сажа, темно), — и уже семидесятичетырехлетняя хитрая негодяйка, убегающая от — в чем, собственно, повинного Зиновика? — скользила варежкой по поручню лестницы — 1-й марш, поворот, второй поворот... Господи, сделай, чтобы мне уйти от Зиновика с его мертвыми птицами... сердце билось, как когда-то в шестнадцать! Ноги летели, не спотыкаясь и по крутым ступеням, я была легка и ловка, как живая птица... страх и радость слились в одно! Я — вниз! Разве не все старухи — колдуньи? Когда на них найдет — все!..

Мысль работала — ни к селу, ни к городу: *такая* черная дыра передней, собственно, возмутительна! Как я себе не сломала в ней голову в такой спешке? Эта их Клава... Но *некогда* возмущаться! Если только начать... Уф! Обегая оледенелости тротуара, отгребаясь, как веслом, палкой, я уже пробежала аптеку, почтовый ящик, киоск... Сзади не слышно Зиновикиных шагов! Не догоняет, не догонит! Хватится — поздно! Чудная Роза! Поворот направо — Лермонтовское метро. Тут бы передохнуть — дыхание на пределе! Но торжество — что удалось! Десять минут в метро с книгой... Но надо еще *добежать* до эскалатора, успеть сунуть пятак в щелку... Руку в карман — и все замерло: нет пятака! Копейки и двушки! Вот тут-то он и догонит меня... Я заметалась, затопталась... что делать? Назад, навстречу — ему?

Куда девалась девичья прыть, меня вынесшая из дома? Металась и топталась старуха... пойманная в капкан! Голос. Гражданка: “Монетку, бабушка, на тебе пятак!” Радостно сыплет рука в чью-то руку копейки и двушки, гражданский голос кричит, что много, — но я уже уехала, рука — поручень, ноги — дробь по ступенькам... кто сказал — старуха? Лечу с одной страстью — исчезнуть! Чтобы сверху не увидел Зиновик... Ух! Уф! Залезем — за выступ стены, в нишу перрона, где урна. И уже подлетает поезд.

Вскочила. Двери закрываются. И как купальщик в воду — в книгу. Три остановки — мои: “Кировская”, “Дзержинская”, “Маркса”! Проспект Маркса. Выхожу, делаю переход на “Свердлова”. Никаких Зиковиков! Освобождение...

На платформе, где еще не было поезда, было мало народу — вечерний час! Маленькая старушка, нагнувшись — не то к рассыпавшимся, не то к переключившимся кошелкам, авоськам, — строго выговаривала мальчишке лет десяти, грубо одергивала, стыдила. “Дразнит старуху? — пронеслось во мне. — Толкнул ее вещи?”

В эту минуту старушка явно передразнила чужого? мальчишку:

— Лыбишься! — она скорчила гримасу. — А вот что тогда не глядел?

В голосе старушки я уловила что-то похожее на отчаяние. Отогнать его и помочь собрать вещи? Вдали громыхал поезд.

— Где теперь Ленку будем искать? Раззява!

Мальчик опустил голову, отвернул от нападавшей лицо — и я увидела прелестную мальчишескую, виноватую и огорченную мордочку. Поезд подлетел. Распахнул неслышные двери, старушка и мальчик, подхватив вещи, вошли в ближние. За ними заводной голос: “Осторожно! Двери закрываются...” Мы неслись, пролетев освещенными мраморными стенами — в полутемном жерле туннеля.

Мальчик, явно обиженный, отошел от старушки и вещей, встал отдельно, постоял-постоял и сел. Старушка стояла наготове, у дверей.

Чем-то надо было помочь ей, ясно. Нерешительно:

— Вы... потеряли девочку? На станции...

— На станции! — передразнила она, не выходя из состояния возбуждения. — Потеряли. Чего он не углядел ребенка? К вещам кинулся! Уехала незнамо куда!

— Но она же среди людей! Спросят! Высадят!

Скорее тоном, чем смыслом слов:

— Высадят! Отстаньте Вы от меня.

Зеркально обиделась я:

— А так на людей надеяться — мало толку! Я Вам помочь...

— Идите Вы! Помогла она!

За стеклом уж мелькавшие очертания станции — не той станции, в обратную сторону села! — отрезвили меня. Вот идиотка! Вечно не то!

“Разрешите...”

И опять старуха с мальчишкой... Они загородили путь. Но, должно быть, что-то уже склепало меня с их судьбой!

— Ты туда беги, — кричала она ему, крепко вцепясь всюю собою в свои вещи, — эту спроси, что у лестницы, направо...

Двери за нами сомкнули свои замшевые тихие челюсти. За спиной замелькали вагоны. Мальчик кинулся налево. Я шла за ним. По пути исполню приказание старушки! Ну, а если Ленки там нет? Не та станция, ждущий друг, дела — все исчезло пластично и плавно, как тот не тот поезд. Мы уже стояли вдвоем возле молодой женщины в форме.

— Нет, девочки никакой не видела.

— Значит, там, — кивнула я мальчику в обратную сторону коридора, куда бабушка пошла. — Пошли!

Не удивясь, он пошел рядом, очень чем-то милый (может быть, равной участью нападавшей на нас бабки?!).

— Я только за сумку взялся, а Ленка в вагон вскочила!

— Ленке сколько?

— Шестой.

Но, должно быть, не возрастом ее сейчас поглощен мальчик. Его тревога отразилась на мне зеркально: в коридоре, среди многочисленных пассажиров — старушка сгинула! На обеих платформах — в почти безлюдный час — ее — не было: ни Ленки, ни бабушки!

— Ладно, — сказала я в эту неладность, — значит, уехала, тем же поездом. Думала, может, ты тоже успел сесть? Тебя как зовут?

— Зиновик, — просто отозвался он ладно и прочно, точно был не один с чужой бабкой на чужой станции. В этот раз я оказалась из реальности выпавшей. Мне показалось, я ослышалась.

— Зиновик?!

— Бабушка так зовет. — Тонем взрослости, мужской: — Полное имя — Зиновий.

Бабушка? Зиновики и их бабушки были сегодня судьбой.

— Отлично, — опомнилась я. — Мы сейчас, Зиновий, тоже с тобой уедем. Следом за бабушкой. Вы, вообще-то куда ехали? Ленка знала станцию, где вам выходить?

— Зна-ала! К тете Гале... Мы часто к ней...

Грохот поезда мешал.

— Ты, Зиновик, постой здесь — не иди никуда, чтоб нам не потеряться. Я только сейчас скажу этой женщине, что если кто-нибудь приведет Ленку...

Но все Зиновики, видимо, своевольные. Едва я это сказала, как он ринулся бегом наискось к платформе.

Бабушка? Я — за ним.

— Вот она! — Мой Зиновик сиял, ведя за руку маленькую плотную девочку, шепелявившую счастливо и весело.

— Куда вы спятайись? Знаеь, как я пьякая? — Так сочно и быстро говорила она, точно ей было совсем легко выговаривать такие сочетания звуков — и так весело, точно не она потерялась.

— Я одна в поезде пьихайа. Меня тетенька посадийа — к бабушке поезьйа... бабулька здет! — Синие Ленкины глаза смеялись.

Умиленно я вела Ленку справа — она шла между нами, и мы с Зиновиком решали план действий.

— Сначала мы поедем, дети мои, на следующую станцию — бабушка, наверное, там — думает, что Леночка вышла из поезда и ждет ее.

— А может, бабушка поехала прямо до конца, — размышлял Зиновик, — как к тете Гале. Она нас там будет ждать...

Было как-то трудно решить, что думала бабушка уже без обоих ребят. Но с этим Зиновиком у меня было больше единомыслия: так рассуждала я. Перебиваемые Ленкиным щебетом, мы сели в подошедший поезд. Но на первой станции бабушки не было. Удивительная старушка! Ее активность превышала все ожидания. Но когда, сев еще в один поезд к спросив, как и на предыдущей станции, — не видел ли кто из стоявших служащих метро старушки, которая ищет девочку, мы получили отрицательный ответ. Зиновик сказал убежденно:

— Домой надо ехать!

— А ты адрес ваш знаеь?

Мы сказали это одновременно. Было ясно, что я — вместо той исчезнувшей бабушки — должна выполнить начатое до конца.

— Чего его знать? — сказал Зиновик, — адрес. Просто поедем домой — и все.

Усталость ли того вечера, но прошедшие года два с того времени спутали в моей памяти станции. Куда мы, собственно, ехали — я сейчас забыла. Надеясь, что Зиновик дом свой найдет, но не доверяя его способностям, а Ленка, устав, уже начала хмуриться, я вверилась Зиновиной памяти. Выйдя из метро, мы шли по обледенелой улице.

Узнав ее, Ленка вновь оживилась. Плохо было одно, на мне слабые очки (в спешке бегства от Зиновика первого — видимо, к Зиновикому второму — я забыла на Женином столе мои настоящие). Ступени лестницы, где нам надлежало идти вслед за ее братом, представляли мне какими-то очень большими, отчего

их скользкость — тоже росла. Не хватало хлопнуться тут или уронить девочку! Но мальчик рыцарственно вернулся к нам, протянув нам руки. Миновало!

— Вот наш дом! — бодро сказал Зиновик. Но я взошла с ними по лестнице нового дома, задыхаясь, не выпуская Ленкину руку.

— У вас есть телефон в квартире?

— Есть! — закричали хором ребята, отчаянно стуча и звоня в дверь.

Чудесно, я сейчас позвоню домой, может быть, Борис Александрович...

Нам открыла молодая еще женщина. Я поспешила объяснить — что, как было. И только хотела подойти к телефону, как он зазвонил.

— Ага, — сказала мать детей, взяв трубку, — откуда звонишь? Тут гражданка детей привела. Ага. Из метра. Они за тобой ездили — куда ты пропала. Ага, приезжай. Что? Какие? У Гальки, — а на что? Нет, не надо. Что? Да, нет, все в порядке.

В таком стиле беседа длилась. Я ждала — и мне как-то удалось все же взять трубку.

— С Вами говорит та старушка в очках, которая ехала с Вами и Зиновиком в метро. Не беспокойтесь, и Лена, и он — дома.

В ответ послышался такой согретый благодарностью голос, что мне стало стыдно. Но она еще и еще благодарила меня, а потом стала благодарить мать, а когда все это кончилось, я посмела взглянуть на часы. И тогда я поняла, что звонить к себе бесполезно: Борис Александрович давно уже был у себя дома в Кузьминках — и пил чай, осуждая меня за хамство. Даже не позвонила! Но ведь Ищейка сама бросилась бы за Ленкой!! Ищейка бы нашла бабушку!

Отказавшись от предложенного чаю, в свою очередь благодаря и откланиваясь, я уходила, потрепав по голове Зиновика, погладив кудрявую Ленку, но Зиновик надел шапку:

— Я провожу!

— Ты покажи, как проходным дойти до метро, лестницей — скользко...

Доведя меня до скверика, мальчик порылся в кармане и, вытащив что-то, протянул мне. Деловито и строго, как когда-то давали ему.

— На метро! Пятачок...

Я умиленно смеялась, отказывалась, уверяла, что — есть, сжала вместе с пяточком лапку Зиновика. Широко раскрытые глаза его, карие, улыбнулись. Он повернулся — и побежал в дом. Нет, не у всех Зиновиков в голове путаница, это было ясно как... — но я не нашла сравнения.

Домой — осуждающим оком взглянуть на нетронутую машинопись...

Куда же я сейчас поеду? — подумалось мне, только теперь поняла, что где-то, подспудно, надеялась, готовилась — рассказать все это Борису Александровичу.

Рассказать было сейчас необходимо, особенно — про пяточок...

И про то, что сегодня мне два раза давали на метро пяточок — чужие...

И про *двух* Зиновиков, и про то, как ничего не знаешь о следующем своем часе...

— К Жене! — радостно решилось во мне. — К кому же! Поеду к ней, она еще не легла, расскажу, и вместе заночуем, уютно. В ком, как не в ней, еще раз оживут эти — на какие-то полтора часа мои — дети и две бабушки, в разных направлениях катавшиеся по метро.

“И ведь продолжают кататься, — улыбалась я, всходя на эскалатор, — одна поедет сейчас сюда, другая — отсюда...”

Все же не припомню — какая же это была станция метро?

ВАЛОВАЯ, №7

Быль

День был так сложен, перегружен заботами и делами (ночь — тоже), что читать было совершенно некогда. Я читала в трамваях, в очередях (метро еще не было), иногда позволяла себе блаженный короткий отдых — пройти боковой дорожкой бульвара с раскрытой книгой в руке — там встречные редки.

Осуждающие взгляды встречающихся мало нарушали единство с книгой. Ибо были они плодом непонимания того, как может быть дорог человеку час и миг. Шелест ветвей с боков моего прохождения — вознаграждал: деревья — это были друзья, и они все понимали.

В этот день я также вышла из дому с книгой в портфеле, хоть и была эта книга мне случайна, не избрана, а кем-то дана ("прочтите!"), книга не высокого ранга, занимательного, — "Аэлита" Алексея (Николаевича) Толстого.

Дело, по которому я вышла из дому, было следующее: друг, драматург, только что окончивший драму "Прометей", должен был в условленный день отвезти ее на просмотр признанному литературоведу, профессору, но, заболев, не мог, и попросил это сделать меня. От бывших Никитских ворот, площади Тимирязева мне предстоял по бульварному кольцу довольно долгий путь до Добрынинской площади, откуда начиналась нужная мне неизвестная Валовая улица. В букве "А" посчастливилось свободное место, и я стала читать. Мне казалось, что книга ниже по художественным качествам "Атлантиды" Пьера Бенуа (не говоря уже о "Дороге гигантов" того же автора), но она заняла, однако, мое трамвайное время, была отдыхом от работы и дел. Полет героя на Марс, красавица Аэлита, любовь. Я не заметила, как мы домчались до Добрынинской площади. Закрывши книгу, я двинулась с выходящими к выходу, сошла, пересекла озеро площади в указанном направлении и вступила в один из ее притоков, на угловом доме коего значилось: "Валовая".

Так. Дом № 1.

Я шла по левой стороне. Дома были новые, большие, и, пройдя, мне казалось, порядочно, я взглянула на номер: дом 3.

"Только 3-г, значит, мне через дом 3... 5... 7".

Я шла, привычно сжав под мышкой портфель, где отдыхали "Прометей" и "Аэлита". ("Прометей" — от ночей поправок и переписок, превосходная, первоклассная вещь). И я бы дорого дала — позднее — чтоб узнать — *вспомнить*, о чем я, идя, думала. Думала ли я об "Аэлите" — не помню. *Восхищения* перед этой книгой я не чувствовала. Я совсем не помню, о чем я думала, идя по Валовой улице, — только о нумерации домов?..

— Скажите, пожалуйста, где остановка трамвая? Проехать к Никитским воротам.

Я стояла на углу Валовой и Добрынинской площади, обращаясь к айсору, чистильщику сапог. Близорукость ли мешала мне ориентироваться, или это дефект, не связанный со зрением, — но я плохо ориентируюсь в городе. Мне ответили, я поблагодарила, перешла площадь, в трамвае было свободно, и я без труда возобновила чтение.

Внешние события разлучали Аэлилу и героя повести, ему предстояло вернуться на Землю, ей — оставаться на Марсе. В это время что-то случилось с трамваем — затор или порча, и я сошла, торопясь домой — сын должен был прийти из школы, надо было его накормить. До Никитских ворот оставался один бульвар, и, свернув на боковую дорожку, я снова вынула из портфеля "Аэлилу". Немного мешали тени ветвей, рыжих, шумных, — двойной помехой: развевания в ветре и исчезновения и появления их вновь на странице. Но это неизбежное зло окупалось описанием расставания героев и запахом осеннего ветра, подымавшего и ветки и волосы из-под шапочки, и полы пальто, казалось, и самый шаг.

Перейдя Никитскую площадь, я завернула в Мерзляковский и вошла в свой дом. Сына не было, и я разрешила себе прилечь на диван и дочитать "Аэлилу" — книгу надо было на другой день отдавать.

Было тихо, соседей не было дома — о, редкие блаженные часы одиночества в городе, в квартирах, где живут по нескольку семей... И я погрузилась в конец фантастической повести — о межзвездных пространствах. Герой уже возвращался на Землю. В это время пришел сын. Его серые глаза, топкие черты были оживлены недомашним весельем. Мальчишеским движеньем он бросил на стул ранец с книгами, порывшись в своей парте, что-то вынул, что-то положил, со свойственным ему лукавством ускользая из-под моей опеки, кормежки, и попросил позволения не есть сейчас — позже! — только сходит с алгеброй к Борису Михайловичу (это был автор "Прометей").

— Можно? Я скоро — там всего две задачи!

Ему *пора* было есть. Но не хотелось не пойти навстречу редкому гостю — мальчишеской ласковости, так не хотелось бесконечных споров о еде... да и дочитать — в мире и тишине — хотелось. Я уступила.

— Борису Михайловичу не передать ничего?

— Ничего. Привет. Узнай, как здоровье. Так ты не будь долго, Андрюша!

Шаг по коридору, хлопнула наружная дверь, и я снова лежу и читаю, каким-то кончиком слуха наслаждаясь квартирной тишиной, драгоценной.

А там — меж Марсом и Землей уже протянулась междузвездная Разлука, она рухнула, как гром, в глухую вату пространства, он уже никогда не будет с тобой, Марсианка, научившаяся земной любви...

Тебе разлука — гром, а ему она — тишина забвения, омытая струями Леты, страшной, земной.

Но, должно быть, на Марсе любовь сильнее земной, сильнее даже Леты, зов от Марса на землю пробуждает забывшего — и он выходит в ночь, и подымает голову к небу. Красноватая мерцала звезда — среди тьмы тем звезд.

— Аэлита! — крикнул он, в безнадежном порыве, протянув руки — в мировое пространство.

В этот самый миг что-то ударяет мне в мозг и в сердце. Я вскакиваю, отбросив книгу, на диване, на колени и озираюсь: “Прометей”?! Куда я ездила? Где была? Я была? — у профессора? Я не? была — там? Пустота. Пустое тире в памяти. Провал сознания. *Да и нет* качаются во мне, как две чашки весов, на которые ничто не положено. Но *такое* возможно лишь один миг. В сдержанном бешенстве о *таком* безобразии я протягиваю руки к портфелю — к контрольному рычагу. Но, уже взяв, на мгновение замираю: “Прометей” *там* — или *нет* “Прометей”? Одно страшнее другого. Если его нет — я же *не помню*, как его отдавала. Дом № 7 — вход — квартира профессора. Если он там — как могла я не дойти до дома № 7, сочтя “3... 5... через дом!” *Что* могло заставить меня повернуть назад, к Добрынинской площади, не выполнив поручения?

Замерев над портфелем силой двойного страха, я открыла его и сунула руку. Рукопись “Прометей” была там.

Тогда я вскочила с дивана в состоянии накаленного бешенства: Андрюша, уходя, мне о “Прометее” напомнил, сказав имя и отчество его автора, и я спокойно ответила “передай привет”. И друг мне доверил *дело*, годы зная мою исполнительность.

Руки судорожно лезут в рукава пальто, пальцы летают, ускоряя обязанности: шапочку, портфель и пояс пальто уже застегнуты, ключи, кошелек — все. И, сжигая стыдом и негодованием усталость, с четвертого этажа лестницы — на Валовую, № 7.

... Прошло 29 лет с того дня, мне 63-й. Быстротечность и нагроможденность пережитого и за эти годы не выделили из себя ни одного подобного “отдыха мозга”, ни одного более провала сознания за всю жизнь. Правда, годы спустя я писала: “Я столько пережила — я уже половину забыла!” (литературная метафора, конечно, — гипербола). Количество пережитого переходит в качество такой быстротечности, что уже нет дыхания осознать. Крупной солью Валовой улицы посыпано в моей жизни — все... Пусть так, но случая, подобного этому, не было.

Так что ж это было?

И при чем тут была Аэлита? Сколько первоклассных, любимых книг прочла в атмосфере ясности, при наибольшем подъеме волнения — “Идиот” Достоевского, “Уеста Берлинг” Лагер-леф, “Туннель” Келлермана. Будь это Гоголь, Диккенс, Рильке, Марсель Пруст, будь это “Тайфун” Конрада или “Алые паруса”, “Бегущая по волнам” А. Грина — тогда бы Валовая могла быть объяснена.

Чаша весов, на которых прыгают всевозможные проблематичности ответов (и каждая начинается с чьего-то равнодушного “Просто Вы...”), прыгают в пустом воздухе, как пацан, — и мне не на что тут смотреть.

НОЧИ БЕЗУМНЫЕ

Феодосия. Конец гражданской войны.

— Вот вам ордер, — сказал мне вежливый юноша в очках и кожаной куртке, — найдете свободно комнату — предъявите. Нам дадите знать адрес.

На верху голой горы, вблизи Генуэзских башен, я долго бродила меж маленьких домиков с черепичными крышами, забрела и в Цыганскую слободку, но комнат нигде не было или хозяева их скрывали, не желая связываться с неизвестными жильцами по ордеру. Я подошла к небольшому дому с уютным крыльцом, с окошками на далекое, впереди и внизу, море. Стоявшие в очереди у водокачки сказали мне, что там, кажется, комната есть. Я постучала, подождала, постучала вторично. За приподнятым уголком колыхнувшейся белой занавески мелькнуло и скрылось лицо. Низкий женский голос:

— Кто там?

Вежливо, но настойчиво я объяснила.

— Да у нас нет комнат... У нас только зала.

— Мне все равно, я вас очень прошу, отворите! Я служу в библиотеке наробраза, у меня сын в детском саду, вам от нас не будет неприятностей.

— Сейчас!

Голос смолк. Мягкие шаги ушли куда-то вглубь дома. Что-то шевелилось там, обеспокоенное мной. Усталая от хождения по горам после работы, еще не использовав свой талон на обед, я стояла спиной к стене, смотрела на море, лиловое — не по-летнему, не знойной помпейской лиловизной, а тяжелым осенним свинцом. Норд-ост рвал ветки. Выла сирена. Между мной и морем лежал город, живой чертеж домов и древесных кулис, сжатых законами перспективы, у моря плавившихся солнцем и далью. Я подрагивала от холода. Горел янтарь черепиц.

— Войдите, — сказал тот же голос, и маленькая худая женщина сделала приглашающий жест.

— Я понимаю, — сказала я, — вам не хочется чужих, но могут вселить военных, больше народу, а мы с сыном... — я глядела в мягкие, темные, чуть пугливые вглядывающиеся глаза женщины, — я думаю, мы будем друзьями.

Мы стояли в полутемной парадной, я ощупала на себе широкополую мужского фасона шляпу, под нею — очки, кудри. Я взглянула на себя взглядом этой хозяйки, и мне захотелось шляпу снять. И вдруг вся усталость прожитого рухнула на меня. Я искала и больше не находила слов.

Миром, уютом веяло от стоявшей передо мной, будя и во мне, такой другой, нежели она, желанье покоя и отдыха. Что-то во мне говорило ей, что я безопасна? Она вдруг сказала приветливо:

— Входите, пожалуйста, тут темно. Вот ваша зала. Мы не топим, дров мало, но она, вообще, если топить... Окон, конечно много...

Как мало надо человеку — какую-то крошку несомненного (неагрессивность моя, прозвучавшая в моей просьбе), чтоб от тона самозащиты перейти к обратному — извинениям, объяснениям. Уже хотелось ей и похвалить “залу”, куда только что не хотела пускать. Порог я переступила с застенчивым чувством, что нарушаю чей-то покой: для женщины было все же лучше, чтобы я ушла, для меня было надо — остаться. Как волшебным, как уютно было бы тут Андрюше — после дорог с потерянными, брошенными кем-то патронами и динамитом, после случайных жилищ! Я погрузилась в мечты.

А хозяйка стояла передо мной и ничего не говорила, а только немножечко улыбалась, и от этого, и от того, что она казалась маленькой, этот рост по голосу низкому был неожидан. И мне было почему-то неловко.

— Я сейчас поговорю с мужем, — сказала она. — Посадите, пожалуйста.

Кивнув в сторону старозаветной группы дивана и кресел с овальным столом посредине, она скрылась. Я успела запомнить худенькое некрасивое лицо, очень милое, и внимательный взгляд печальных карих глаз.

В тайной и сильной радости предчувствия, что я буду жить здесь, и мой мальчик, столько видевший уже недетского, увидит кусочек “дома”, мира и детства, я не села, а глубоко, тепло вдохнув прохладный, чем-то знакомым пахнувший воздух (пряниками? нафталином? мышами? коврами?), я пошла обходить стены комнаты, любуясь давно невиданным стилем провинциальной, нерушимой в своей провинциальности, старины.

Овалы багетных рам с вышитыми овечками и девушками и в Pendant (на пару) им — букет цветов и птичка над ними, маленький гобелен с подобием рыцарского турнира, а меж них на плюшевой темно-зеленой скатерти и на маленьких темного дерева полочках — портреты, портреты, тоже в овальных рамах или в бисерных, с бархатом, с золотом, ободками. Лица незнакомых людей, по одному, вдвоем, группами, — только бы смотреть и смотреть! Но хотелось запомнить и очертания фантастически изогнутого лампового абажура стоячей керосиновой лампы, и розово-зеленый перелив огромной перламутровой раковины — не из тех коричневых, с остриями по краю, которые мы с Мариной так не любили в детстве, а округлых, сияющих, в которых, по детским понятиям, шумит океан. (Где Марина сейчас? Почти три года не знаем ничего друг о друге.) У всех окон целые джунгли с лианами, кудри вьющейся зелени и цветочных горшков, подвешенных в причудливой форме — не хозяйского ли мастерства? — деревянных футлярах, так что в залу эту и норд-ост, и гудки сирен доходили не через один аквариум стеклом, а через всю эту зеленую рощу. Стоячая, на двух ножках, резная ширма сияла на подоконнике рыжим и малиновым шелком, старинные, красного дерева, кресла, чуть пыльные, опрокидывали в наклоненный блеск трюмо свои повторенные очертания. И все это покрывал низкий потолок, делал залу шкатулкой, увозя вошедшего в детство.

Странно, что тут не было кошки — кроме вышитой на диванной подушке. Роль кошки исполняла сейчас я. Но был страх, что этот, где-то там внутри, муж хозяйки пришлет ее ко мне с отказом, и придется мне вновь шагать и искать, и просить, и забыть про уют, годы не виденный. Я медленно шла вдоль стены, увешанной фотографиями и дагерротипами, глядя в глаза неведомых, давно прошедших людей: в старинных нарядах, в военных мундирах, в свободном атласе, с вычурными прическами. Печальное личико мальчика лет четырех в старомодной курточке, с чуть наклоненным лбом, с темными, чудными, чего-то не понимающими глазами. Панталончики с фестонами — девятнадцатый век. У его ног лежала большая черная собака, ее глаза тоже глядели в мои.

Я перевела взгляд на следующую, довольно большую, более поздних времен рамку — и... и... Будто исчезли и стены, и пол, словно ошеломление мое и любопытство вспышкой магния вмиг сожгли только что существовавшую комнату: невдалеке от широкой деревянной террасы, среди группы людей, расположившихся на траве, незнакомых, сидела

и смотрела вполоборота, повернув взгляд на глядящего, — я. Что я — не было никакого сомнения. Никакое сходство не может дать тождества взгляда, я глядела на себя очень пристально, чуть улыбаясь, и с некоторым оттенком насмешливости. Этот взгляд, взгляд моих шестнадцати лет, жег меня всем колдовством случившегося, и я смотрела в себя не глазами и не удивлением, а всею собой, нацело забыв все.

На мне было — цвет был скрыт фотографией, но жив в памяти — очень бледное изжелта-розоватое платье и на распущенных волосах — тоже широкополая, но девическая, с лентами, шляпа тех времен. Я никогда не видала этой фотографии, не помнила тех, кто был снят со мной вместе — двух-трех женщин и нескольких молодых людей. Терраса была мне тоже вполне незнакома. Было четкое ощущение сна.

Как жаль, что такие минуты не могут длиться в яви, по какому-то внутреннему закону соразмерностей (какое поприще для работы памяти, для деятельности мозга, для...).

Но я не услышала, как открылась позади меня дверь, иначе бы я не осознала и вход хозяйки, и то, что она несет мне ответ, но, как подобало в ту минуту отхлынувшей яви, женщина предстала передо мной совершенно бесшумно, и я глядела на нее. А она улыбалась. Теперь лицо ее казалось моложе и еще привлекательнее от улыбки — той самой, с которой она тогда вышла, — только теперь улыбка была глубже. Но ощущение сна шло, должно быть, еще дальше, потому как ее слова оказались совсем не теми, что я могла ожидать. А между тем она видела, у какой фотографии я стояла, взгляд понимающе скользнул по ней, но не выразил удивления, и она не ответила на мой молчаливый вопрос.

— Не узнали? — спросила она меня — не о том, а о чем-то рядом, что ей было важнее, и, бросаясь переплывать на улыбчивой гондоле ее улыбки канал на Лидо какой-то, хоть не сейчасшней, яви. — Позабыли?

В голосе, очень мягком, таком же, как этот взгляд, была легкая тень укора.

— Вас?.. Я... Я, по-моему, никогда... И вот это... — я повернулась к раме с портретом группы и смолкла.

И тогда раздался ее веселый грудной чудный смех:

— И “Ночи безумные” позабыли?

Удар цимбал в оркестре! Сразу, по всему тому, что зовется фибрами, по затаенным темнотам сознания брызнуло до мельчайших черт озаряющим ливнем света.

Жизнь, назад, назад!.. Коктебель — позади!

Южный быстрый закат погас, вспыхнув, и пала, и стала падать гуще, гуще, став мглою, радостно становящейся тьмою, ночь.

... Мы ехали под уже исчезнувшим небом, крепко припав к земле скрежетом колес, бултыханьем соломы под нами, тихим оркестром перемежающихся голосов, тем крепче друг к другу приникших, чем выше и чем безмолвнее делалась пустота над нами, черная пустота ночи над многозвучием кончавшегося дня. И все чаще молчание, и приступы его все длиннее: это нас укачивало движение жогары — степной колыбели, усталость и власть ночи, падение каждого из нас порознь в темные объятия сна.

Как различал возница дорогу в наш Старый Крым, куда мы держим путь?

Но крымская ночь была ему с детства матерью, ему — татарчонку, ему — татарину, может быть, без часа уже — старику.

Он ли один не спал над утихшей жогарой — или не спал и старший меж нас, Макс Волошин? Может быть, он различал над собой звезды, Млечный Путь, Малую и Большую Медведицу? А может быть, строка стихотворная поднималась над степью, опускаясь с темных небес?

Услыхал ли кто из нас, как повернули кони вбок, как ровнее покатались колеса, и мое шестнадцатилетие пробудилось, когда что-то длинное (ветха?) мягко задело голову и вновь поднялось к дереву.

Помню, как из глубин сна мне почудилась непонятная и неожиданная теплота жилья, как обнявшая с двух сторон — широко, беззвучно нас окружившая... улица? — по которой мы ехали, не будя ее, в ее ночь, в ее сон, вливаясь своей тишиной, своим сном.

Я приподнялась, оперлась на локоть.

Что это? Высоко над головой в полной тьме что-то колыхнется — густое и мягкое встречается и разлучается...

Свод над нами?! Но он плывет, он проплывает, нас пропускает... И — только подобие звука...

Мохнатое, как кошачьи лапы... В воздухе!.. (Как я не закричала: “Макс, что это?”) Не успела, потому что сбоку и ниже в вечернем сукне ночи вдруг вырезался подлиннее квадрата — янтарь! Это — окно? Без перекладин?

Окно, распахнутое от летней жары в ночь. С другого боку — второе... И третье, и рыжие — в свете их — деревья справа и слева...

Мы едем по улице! Кто-то еще не спит? Спят! Пропали окна. Старый Крым спит... А мы колышемся вбок, и еще вбок, и наоборот. И уже что-то спорят, решают Макс и татарин. Мы просыпаемся один за другим...

Въезжаем во двор. В окнах появляется свет. Макс стучит в дверь, нам невидимую.

Тени выбегают во двор. Тени спрыгивают с можары. Голоса, крики, нас окружили...

— Ничего, ничего! — кричит женский голос, не очень низкий. — Макс Александрович, мы еще не успели уснуть — музицировали... Только что потушили свет. Входите, входите, милости просим!.. Ужин на столе, только прикрыли. Кушайте! Сейчас будет чай...

А через час, почти что под утро, этот же низкий голос — поет! — под глухие аккорды рояля ту самую незабвенную песню “Ночи безумные”...

Шаг вперед — и мои две руки держат две руки певицы, той, той самой, неузнанной, не узнаваемой за истекшее десятилетие, и чей голос, чье пение нельзя было позабыть. Пела ночью нашим табором на коктебельской арбе поднятая с постели в маленьком городке Старый Крым — вместе с тем самым мужем, который сейчас, может быть, шлет свой отказ.

Мы смеялись, как две девчонки: она — пожилая женщина, я — уже переходящая к зрелости, мы трясли руки и снова смеялись, и, может быть, ни в один давний свой триумф (никогда не выдавшая эстрады — только дом и друзей заливавшая своим темным, как ночь, голосом) не была она так счастлива, как от моей в этот дом ее близкой старости ворвавшейся похвалы:

— Позабыла? Да разве можно ваши “Ночи безумные” позабыть?

Мы смеялись и радовались, что все остальное забыто, смеялись и смеялись еще, но и у моря есть берега, у реки — устье, и когда мы стали переставать смеяться, мы все же еще не успели вернуться к ответу мужа о комнате — потому что я, повернувшись к фотографии, начать какой-то первый мой слог не успела, потому что она:

— А я вас узнала, не сразу, ко все же! И пошла и сказала моему Николаю Ивановичу. Мы часто всех вас вспоминали — такая была хорошая компания! А у нас ведь гости тогда были, только уже спали, и так все перепуталось, помните? Все повставали, первый раз люди друг друга видели, а тут — эта музыка, пение, и еще этот фотограф на восходе солнца: вы же дальше ехали — в Ислам-Терек... По жаре-то нельзя было: испечешься! И никто из вас тогда не получил фотографии — разъехались кто куда, а ведь неплохо? Только из вашей компании, кажется, никто не попал в снимок, музицировали все еще, после пения и я с ними... А это мои родственницы, а это рядом...

В эту минуту дверь скрипнула и вошел ее муж:

— Так это я вас видел на улице с мальчиком! Здравствуйте! Такой большой сын! Я еще сказал жене: не это ли — знакомая Максимилиана Александровича? Ведь это он вас привез к нам на арбе из Коктебеля... Так вам — комнату? Что ж, пожалуйста, только холод здесь — у-у-у!..

— А знаешь ли, — сказала жена, Олимпиада Никитична, — не очистить ли нам ту, заднюю, где красноармейцы стояли? Загромождена, и поменьше будет, но зато — теплей...

И вот я лечу вниз по горе, в детский сад, за моим Андрюшей, рассказать ему о чудном доме, где будет жить после всех испытаний, а навстречу жерло пожара зажжено заходящим солнцем, и море полыхает разбившимся зеркалом, расплескивая до горизонта закат.

СОН НАЯВУ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ЯВЬ ВО СНЕ?

Двадцатый век. Гражданская война. Приморский город. Полковник генерального штаба писал стихи. Он преподавал тактику и стратегию, но стихи были его страстью. В стихах он славил родину, Единую — Неделимую.

По рубрике политической он, будучи спрошен, назвался бы, вероятно, монархистом. Но рубрика поэтическая — выше, и в ней он был — либерален. И дифирамб России он кончал так:

*Мне все равно, с царем или без трона,
Но без меча над чашами весов!*

Годами позднее, когда звезда поэта-полковника закатилась, Марина Цветаева похвалила эти стихи. А за сестрою М. Цветаевой полковник ухаживал, прельщая ее близким будущим жены генерала, на что та качала головой и смеялась. (О, кто знает будущее? Будущего не знает никто.) Полковник был либерален не только в политике, он простил измену жене (уже разведясь), позволил свидание с сыновьями, учащимися в кадетском корпусе.

На руках у жены была полугодовалая девочка чужой крови, больная сухоткой. Глаза ее были огромны, неземные глаза... Старший брат девочки — копия отца, красавец. Младший не был одарен красотой, но глаза его были сходны с глазами обреченной сестрички — видно, в мать...

Свидание состоялось в небольшой квартирке полковничьей. Мальчики сразу страстно привязались к сестренке, наперебой называли ее выдуманными ласкательными именами.

А над городом назревали свинцовые тучи. Еще пленяли жителей гремевшие речи отца их о близкой победе, еще трепал норд-ост гигантский плакат о Грандиозном Дивертисменте, но приближалась уже зловещая тишина, разгорался костер слухов, все дальше от пристани дым отходящих пароходов. Армия врага была уже на подступах к городу.

Враг вошел нежданно-мирно — Красная дивизия сибирская, с лохматыми сибирскими лошадками. А Гигантский Дивертисмент все еще полыхал на ветру, подметая собой тротуар.

По неведомым причинам прозвучала амнистия тем, кто, на пароходы не попав, притаились в городе. При взрывах пороховых погребов и при еще на рейде стоявших кораблях со спасшимися — прочь от родных берегов, по пути в Турцию! Во дворце покойного художника Айвазовского, в опустевшей половине его внуков, бежавших от новой власти, поселился их друг, на Зевса похожий, художник и поэт Маке. И там же, его не гоня, поселилось новое название — Ревком. Он, по древней манере поэтов, читал им стихи. Он читал им о Царствии Божьем стихи свои “Святая Русь”, и ревкомовцы слушали с услаждением, потому что они и считали себя этой Русью, как-то не дождавшись у своего просветителя Маркса толку, и толковали о том, что необходимо в новом государстве иметь Макса этого (в одной только букве имена не сходились) — Министром Искусств, чтобы был порядок в библиотеках и музеях, — так все чинно — светло было в те дни в том приморском городе под кончающиеся, стихающие взрывы пороховых погребов.

А с противоположного края города, от мыса Св. Ильи подходила другая, Дивизия Южная — совсем иного духа. Но разве кто-нибудь знает будущее? Будущего не знает никто.

Те, что вошли в город от дачи Стамболи — *справа*, объявили амнистию, и мирно не знали о входивших от мыса Св. Ильи... *слева*. Амнистия? — Террор?.. их встреча. Ранее, чем сообразили первые, что происходит, вторые осмеяли и отменили амнистию. Зашныряли по всем домам, квартирам города, где прятались или после амнистии открыто жили генералы и офицеры. Услыхали ли вошедшие про квартиру полковника, им оставленную своей странной семье, — то ли сочли квартиру для себя удобной — для своего ревкома. Две женщины и четверо детей, не страшно? Нет, страх перерос в действие — в стоячую печурку, на которой только что варилась картошка, засунули — в огонь — бумаги генерального штаба. Сняли с себя мальчики кадетские мундирчики. И тогда, как по биению женских и детских сердец, в их большую переднюю комнату вошел молодой великан в шинели и папахе и за плечом — винтовка.

— От мыса Ильи *вошли* в город? — спросила, стараясь сделать тон радостным женщина, коей полковник посвящал стихи.

— Мы! А кто же? — отвечал великан, — помещение нам ваше удобно. Перейдите с ребятами в заднюю.

Когда смерклось, оставив 8-летнего своего сына с женой полковника и грудкой девочкой, крадучись, выходила она со старшими на темный под небом холм. Младший 13-ти лет нес лопату; старший, 14-ти, нес ворох носильных вещей своих и брата кадетского корпуса обмундирование, кортики... Землю

разровняли на славу. Мать встретила 2-х простых мальчиков, в земле скрывших родство с отцом. И тогда над приморским шумевшим городом взошла луна.

Ночь. В большой комнате, где в печурке недавно сгорели бумаги генштаба, допрос пойманных амнистированных генералов и офицеров.

Допрос — приговор. Допрос — приговор. Очередь взятых в городе. В задней комнате — две женщины, три мальчика и еле живая крошка. Очень долгая ночь. Под утро арестованных гурьбой толкают нам в комнату: — Ночуйте тут, с ними.

И до утра офицеры прощаются с жизнью, пишут записки последние, по адресам приморского города. Женщина, младшая, обещает доставку их по домам. Она уверена в успехе: у нее на руках — мандат позапрошлого года, когда она служила в народной читальне. Она знает, как говорить с пришельцами. На ней — широкополая шляпа, почти мужская, кудри до плеч и уверенность в правом деле. Она помнит час, когда, закрыв, под стрельбой, читальню, понесла ключ к начальству своему, в Наробраз, но комнаты его были пусты, ящики столов выдвинуты, а вечером, когда бежавших догнали и им грозило избиение шомполами, она пошла в штаб хлопотать за них, предупредила, — что если откажут, то она будет требовать и себе того ж?...

Сегодня — ее час — иной. И она разносит записки — в слезы жен, матерей, и тогда вспоминает тех, вошедших первыми в город сибиряков, что во дворце Айвазовского слушали “Святую Русь” Макса, тех, веривших, что несут добро, знают ли они, что творится, что творилось сегодня ночью по этот бок города? Знают, и, щадя братскую кровь красных, своих, они отступили от города, учтя превосходство сил.

Крошечный гробик снесли все вместе на кладбище: безотцовая девочка под плач матери и трех мальчиков умерла. Она успокоилась на далеком кладбище. И оставшаяся семья, покинув свое полковничье жилье, прожила до весны в маленькой квартирке той женщины, что не захотела стать генеральшей. Дружно прожили зиму, мечтая о Москве, ожидая, когда родные пришлют вызов от учреждения — на работу, без чего не отпускали из приморского города.

О полковнике, писавшем стихи, ничего не известно. Через много лет женщина, у себя семью приютившая, получит письмо, что старший, на отца похожий, — женат, младший — умер. Женщины мечтали увидеться, но кто знает будущее? Будущего не знает никто...

Москва, 1990 г.

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

(Как я переводила Карлейля)

Когда-то, году в 1921-м, летом после гражданской войны и Крыма, после четырех лет снова в Москве, в 7-м Ростовском переулке над Москва-рекой, куда меня устроила моя сестра Марина, я прочла кем-то данную в отвратном переводе “Герой и героическое” часть книги Томаса Карлейля “Heroes and heroworship”, но не восприняла ничего из того, что хотел сказать автор, точнее — чего не сумел перевести переводчик, и прочтенное позабыла, как многое, что прочла и что не вошло в душу.

К оправданию переводчика — имени его не запомнила — надо сказать, что современники Т. Карлейля и на родном их языке не поняли и не оценили его — из-за сложности стиля. Трудно передавая свою мысль — повелительную и оригинальную от самых ее корней, Карлейль вкладывал ее в ту свою образность периодов, за которой только самый внимательный читатель, одаренный талантом разведчика, страстно пускался в путь, намеченный автором, и — чем труднее задача, тем жаднее и вдохновеннее продолжение этого, открываемого чтением, пути.

Таковы все почитатели этого исключительного стилиста, где стиль — лишь путевая палка, на которую опирается мыслитель. “Как он закручивает мысль!” — восклицают — и в Англии в 19 веке восклицали профаны, не владея средствами оценить всю точность передачи тончайшего изгиба мысли, которая владела Карлейлем в час вдохновения и которую он тщился изложить.

И хотя Томас Карлейль так и остался в горьком величии своего одиночества, если не счесть за дружбу его пламенный интерес к творениям Жан Поля Фридриха Рихтера, но на немецком языке, тоже сложного и мало с кем в Германии сходного. [В больших скобках добавлю, что некое сходство с судьбой творчества Карлейля можно усмотреть в отношении современников к Роберту Браунингу. Сюда принадлежит литературный анекдот, следующий. В те годы удивляла английскую печать поэтесса Елизабет (ставшая, позже, Браунинг), да простят моим 95 годам забвение девичьей ее фамилии. Это была очень сложная поэтесса. И Вордсворт, поэт старшего поколения, классик, в письме, сообщая о свадьбе Роберта Браунинга с данной Елизабет, добавляет: “I hope they will understand each other, — nobody else would”. (*Надеюсь, они поймут друг друга, никто бы иной не смог*.)

Для характеристики стихов Роберта Браунинга сообщу, что он вы брал темой сказку о флейтисте, обещавшем за большую плату вывести из старинного городка всех крыс, от которых горожане страдали. И, обманутый, жестоко отомстил им тем, что тою же флейтой увел за собой потом, как и крыс, всех детей.

Нет сомнения, что пленила Браунинга, как и Марину Цветаеву, в этой сказке — возможность словесно изобразить сказочное потопление, топот детских ног, замороженно вступающих в воду по зову волшебной дудочки, зловеще их уводящей и губящей. (Robert Browning, “The Pied Piper”, — соответствует “Крысолову” Марины Цветаевой.)

Прошло — с 1921 года — много! 12 лет, и я вновь встретилась с именем Томаса Карлейля. Шел шестой год моего обучения английскому языку. С детства зная французский и немецкий, я легко овладевала трудностями английского и все более им увлекалась.

Окончив в 1931 году курсы английского языка в Леонтьевском переулке, я кончала трехлетний курс занятий в комбинате иностранных языков на Сretenском бульваре, где преподавали лучшие специалисты. Раз в 10 дней нам читал лекции старик-англичанин Уикстид. Он вводил нас в особенности языка, первую свою лекцию начав словами: “If somebody tells you he knows the English language, you may tell him — he is a liar.” (*Если кто-то говорит вам, что знает английский язык, вы можете сказать ему, что он лжец*).

В его роду отец, дед и мать преподавали английский язык. За 10 дней работы с учениками мы, преподаватели, приносили ему затруднившие нас вопросы учеников, просили нам помочь. Уикстид, седобородый, в рабочей вельветовой куртке, просил тишины, уединяясь среди нашего молчаливого общества, иногда даже полускрыв глаза, — шептал. — “Дегустирует!” — сказал кто-то из нас. И, никогда не прибегая к самым сложным поворотам английской грамматики и ее исключениям, Уикстид скромно — и в скромности этой звучала некая императивность — произносил: “I should say so...” (Я должен сказать об этом...)

Увы, толстую тетрадь моих записей этих своеобразнейших лекций Уикстида постигла в 1937 году та же участь, что и целый сундучок моих рукописей — романов, повестей, сказок — они не вернулись ко мне. А когда я возвратилась в Москву через 22 года — Уикстида уже не было.

Английскую литературу преподавал нам Михаил Михайлович Морозов, после, в годы моего исчезновения из Москвы, ставший профессором (он окончил курс в Оксфорде, начав говорить по-английски с трех лет). И вот однажды, когда пришла пора ему говорить и рассказывать нам о Томасе Карлейле, Михаил Михайлович, сказав о сложности его стиля, сообщил нам, что французский академик Казамьян назвал Карлейля — *intranslatable* — непереводаемым. Это слово — как спичка о спичечный коробок — вспыхнуло во мне непередаваемым, высшей степени интересом. И в тот же вечер я просидела в Библиотеке иностранных языков, тогда занимавшей церковь Косьмы и Дамиана? у начала Столешникова переулка. Склоненные головы читающих, самоуглубленность, тишина... И в моих руках впервые! английский текст “Heroes and hero worship” (*Герои и поклонение героям*) — Я намеренно взяла ту самую книгу, что когда-то в пушкинские времена так исковеркали переводом).

И вот я окунаюсь в чистый величавый поток языка Томаса Карлейля...

Не могу описать, что со мной сделалось, когда я, ответствуя на слова Казамьяна, ощутила в себе этот тихий азарт переводчика, этот переплеск слов английских и русских, бросившихся друг другу навстречу!..

Сколько строк, а может быть, страниц текста я перевела в тот незабываемый вечер — и *что* я переводила?

Как окунувшись в пучину “непереводимых” трудностей я вливалась в водоворот и из него — вырывалась — не помню. Это были куски страниц знаменитой книги, в которой отразилась душа — с кем сравнимого? прозаика, этого величавого поэта в прозе, ключ от которой до сей поры был зарыт в могиле писателя.

Три? четыре часа? разве знаю? Только закрывалась библиотека — и я встала, как в опьянении, держа в руке тонкую стопку листков блокнота. Послезавтра, через три дня (как я переживу их?) я протяну их Михаилу Михайловичу на продолжении лекции по Карлейлю.

С чем сравнить мой тогдашний жар перевода? Только в музыке бывает такое: то, что ведет к доминант-аккорду, преодолевает его гору — и растворяется в разрешающем аккорде. Это было хождение по горам, взятие вершин. Еще и эту вершину. Тихий восторг побед, исследования, несравнимый ни с чем. Обогащение себя ежестраничное. Медленный рост страниц.

Жалостно улыбнувшись, Морозов кладет в карман листки, уже о них забывая: кто-то перевел Карлейля?! Но строго, неумолимо твердо говорит вслед ему незнакомая какая-то пожилая слушательница: — Я Вас прошу прочесть этот перевод — непременно...

Дни прошли. С замиранием сердца я вхожу в большую комнату, где начинают собираться слушатели. Морозов уже на кафедре. А я почти теряю сознание от счастья: он кого-то ищет глазами. Он увидел меня. Кивает. Встает навстречу. Позванная без слов, еле чувствуя под ногой пол, подхожу.

В его руках — листки моего блокнота.

— *But it is brilliant! (Но это замечательно!)* — говорит он, и его лицо, красавца, сейчас похоже на чей-то, где-то — портрет.

И пол уходит из-под моих ног.

Этой минутой начинается незабвенная полоса моей жизни. Отказавшись от всех уроков, от которых я могла отказаться, оставив лишь то, что давало худенький прожиточный минимум, живя почти впроголодь, я сижу за переводом Карлейля. Недели идут. Воплощается задуманное: дать русскому читателю галерею избранных им портретов писателей — Данте, Шекспир, кто еще? За мощью, великолепием этих двух имен тают и исчезают следующие, но помню еще имя Бернса, поэта Шотландии, мне плохо знакомого, но нежно Карлейлем любимого, ибо и он — шотландец.

Теперь Морозов приходит ко мне в Мерзляковский (д. 18, кв. 8), на 4-й этаж без лифта — слушать мой перевод. Он сидит на тахте, я — рядом за Марининым секретером, я ей написала, что перевожу непереводимое. Марина пишет на французском и по-немецки свободно, как по-русски. Английскому она училась всего один год, 12-ти лет в немецком пансионе Бринк, но азарт моего дела ей сообщается, она гордится мной и эта ее гордость меня укрепляет.

Когда особенно удачен перевод, Морозов даже подпрыгивает на диване от удовольствия. За месяц моей работы — их, помнится, было 3,5, подхожу к концу задуманного. И мы говорим о том, где это выйдет, кому это предложить. Собственно, только одно подходящее издательство “Academia”. Его возглавляет друг Ленина, Каменев. Я его видела у Горького шесть лет назад. Профессиональный революционер, но человек европейской культуры, знающий языки. И по мере того как мой труд продвигается, он переходит в руки людей, могущих оценить его и дать отзыв. Таких людей трое: Михаил Михайлович Морозов, Екатерина Павловна Херсонская, специалист по литературе, работающая в Ленинской библиотеке (в бывшем Румянцевском музее, где папа проработал 28 лет, из них 15 лет — был директором). И переводчик Горбов, из самых тех Горбовых, где — дед их? прадед? папа его знал — перевел «Божественную Комедию» Данте. Все три отзыва, оценив качество перевода, говорят о том, что это первый художественный перевод Карлейля за 100 лет.

Я хожу по облакам. Мои силы крепнут. Михаил Михайлович радуется не меньше меня. Моя любимая глава — Данте. Я до сих пор, до 1989 года, помню начало: “Написанный словно на пустоте в простом венке лавра...”

Еще в начале моей работы, когда были на руках деньги за преподавание, я увидела в окне комиссионки чудное темно-золотистое одеяло. (Цена — 40 рублей.) У меня не было теплого одеяла — я пошла за деньгами. Сегодня я буду под ним спать! По пути, в Камергерском, в магазине букинистическом, в окне стояли 7 томиков Томаса Карлейля — не чудо? В коричневом переплете. Они стоили 40 рублей. Я несла домой вдохновенную добычу — и золотистое одеяло досталось кому-то другому.

Радостные похвалы Морозова (раз в них мелькнуло заблудившееся слово “конгениально”...) придавали мне силы. Сколько я спала в те дни?

Наша галерея портретов шла к концу. По приблизительному подсчету получилось 3,5 печатных листа. Далее открывались бесконечные полосы счастья: перевести всю книгу “Heroes and hero worship” («Герои и поклонение героям»), затем его первую, в 1837 свет увидевшую “Sartor Resartus”.

Мой труд кончен. К нему приложены все три отзыва. И я пускаюсь в мой победный, невероятный путь: я несу в издательство “Academia” папку с будущей публикацией. Я спокойна. Морозов проверил все, он готов писать предисловие.

Секретарь назначает число, когда будет ответ. Я набираю уроков — немного себя подкормить. Русский читатель получит неожиданный подарок! Я радостно доживаю до назначенного мне дня.

Кто писал тот ответ? Изысканным слогом мне сообщают, что, к сожалению, несмотря на высокое качество перевода, издательство не может его напечатать — читатель к нему не готов.

Кто может сейчас меня утешить? — думаю я, потухшим медленным шагом возвращаясь, пешком, домой — никто! Какой удар Морозову! Ясно: главредатор открыл том БСЭ и в Большой Советской Энциклопедии прочел, что Томас Карлейль вместе с Джоном Рескиным — ретрограды, враждебно встретившие идею мировой революции... Я доплелась домой. Соседка встречает меня на пороге: — Вам от Елизаветы Яковлевны Эфрон — конверт.

Открываю: в тоне сепия, золотисто-коричневый портрет Карлейля, вырезанный из журнала.

... *Он* утешает! Чего ты ждала, моя переводчица? Если меня не признали — как же признают тебя? разделяй судьбу!

Не отрываю глаз от портрета Карлейля. Он сидит у окна в профиль. Смотрит вдаль. На коленях — шаль. Больной, одинокий. Нет, не одинокий! *Есть* у него друг.

Было первое сентября. Идя тропинкой над Окой в местах, где жила с Мариною в детстве, я встретила Михаила Михайловича. Еще помня тот наш удар, мне сочувствуя, он сказал мне: “Теперь, когда я читаю о Карлейле — о словах Казамьяна, о его непереводаемости, я всегда добавляю: «Но образец его стиля блестяще перевела Анастасия Ивановка Цветаева». Это было благословение на 10 лет. На другой день второго сентября я в Тарусе была арестована и до 1947 года содержалась в Дальневосточном лагере.

1990 г.

МОИ ПЕРЕВОДЫ ЛЕРМОНТОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Время, как самум в пустыне, замечает все. И песок на странице писателя высушивает самые пылкие строки. Поставив крест на переводах Карлейля, я переводила на английский стихи Лермонтова. Те стихи, что принадлежали его смертному году: 1841-му. К столетию. Первым я перевела стихотворение “Молитва”, вторым — “Парус”. Была весна. Я начала любимое “Выхожу один я на дорогу”...

Скоро лето, сын возьмет мой чемодан и рюкзак и повезет меня в Тарусу, где мне нашла комнату моя подруга Цветкова Зоя Михайловна, профессор английского языка. Она взялась и кормить меня, чтобы я могла отдохнуть от конца моих экзаменов в Институте повышения квалификации при МИНЯ (Московском Институте Новых Языков). Со мной был перевод об американской музыке, с которым меня торопили, обещая уплатить тотчас же.

Перевод стихов Лермонтова будет маленькой книжкой стихов. Морозов хвалил первые два перевода, предельно близкие к оригиналу, без вольностей, так часто превращающих перевод в переложение. Размер каждого был, естественно, взят тот же, что в оригинале, — насколько может ближе он прозвучать на другом языке; ритмованный и рифмованный перевод. Морозов напишет предисловие, где будет сказано, что переводчица никогда не была ни в Англии, ни в Америке. Почему качество перевода говорит о качестве преподавания языков в нашей стране. И книжка выйдет к столетию со смерти Лермонтова. Я всегда любила его больше Пушкина — обратно Марине. Это мой скромный долг.

Усталость от сданных экзаменов — 7 или 8 (забыла!) научных дисциплин, все на высшую отметку. Усталость от сложности перевода об американской музыке. И поправки двух первых стихотворений...

За конец лета в Тарусе я перевела только третье — “Выхожу один я на дорогу...” Но с такой работой, думалось мне, не надо спешить: впереди — почти четыре года, я спокойно успею все кончить, проверить — вместе с Михаилом Михайловичем.

Я встретила с ним первого сентября, вечером. Он еще раз похвалил мой перевод Карлейля, даровав ему титул “блестящий” — мой загубленный издательством перевод.

Пожимая друг другу руки, мы не знали, что никогда больше не увидимся..., что это — в последний раз.

На другой день, под вечер, я пошла навестить слепую старушку, вдову священника церкви на Воскресенской горе, Надежду Даниловну Успенскую. Она знала меня с детства, я дружила с ее детьми. Я вышла от нее в тот час дня, когда в Оке отражается справа — рожденье голубой ночи с первыми звездами, слева — остатки заката, золотисто-смуглого. Я торопилась: дома ждут мой сын и его невеста, буду их кормить ужином.

В моих окнах — непривычное освещение. Освещены и окна хозяйки. Тени людей военных. Какая-нибудь проверка паспортов?

Это был арест. Переночевав в остроге, куда в моем детстве сажали пьяных и жуликов, я утром была увезена в центральную тюрьму, — а оттуда с 10-летним сроком на Дальний Восток, в лагерь.

В 1941 году я слушала по радио — это нам позволяли — празднование 100-летия Лермонтова. Но ни слова о моих переводах, конечно, там не было...

Все, написанное мною до 43-х лет, мне не было возвращено — два романа, повести, сказки. Погиб и перевод стихов Лермонтова. Память сохранила только восемь строк “Выхожу один я на дорогу” и четыре строки “Паруса”. Я приведу их здесь.

1

*Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.*

*Lonely I go out the glistening;
Flinty road that lies in mist-afar;
Night is still. To God the waste is listening,
And the star is speaking to the star.*

2

*В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?*

*In the skies' tis mavelous and glorious!
Earth is Sleeping in radiant blue...;
Why then all my troubles and my sorrows?
Do I wait for? Do I ever rue?*

А дальше — в памяти уже через 10 лет лагеря — один голубой туман. “Молитву” — самую легкую изо всех, я забыла нацело. Молюсь по-русски. А из “Паруса” — последние четыре строчки. Вот они:

*Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!*

*Beneath the stream as light, as asure,
Above the sunbeams golden light...
In storm he rebel seekst thy pleasure,
As if the peace thou founds in fight!*

Много лет спустя я, когда мне выдали лист с печатным текстом заседания суда (запоздавшего на 22 года), узнала, что мое дело прекращено за неимением в нем незаконных действий, я послала Корнею Ивановичу Чуковскому эти мои строки.

— У меня много переводов “Паруса”, — ответил он, — Ваш — лучший...
Но к стихам я уже не вернулась, писала том прозы — “Воспоминания”.

1990 г.

ДЕТСКИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕСЕНКИ

(Пропущенная глава в “Воспоминаниях”)

Откуда спустились из взрослого певческого словаря в детскую нашу эти три песенки? Их не пела наша мать, не их пела! Нежным альтom своим мама пела, помнится, — “Сквозь...”

*Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она...*

(Из двух музыкальных шкатулок? Да нет... Там — бисерным почерком, со взлетом заглавных букв — стояли другие слова...) Какую-то песнь про долгую дорогу, про дорожный колокольчик. И французские песенки, детские, которые ей в детстве напевала приехавшая из Французской Швейцарии воспитательница ее...

Совсем другие песни пела звонким своим сопранo наша старшая сестра, мамина падчерица Лера, — “Когда я был аркадским принцем”... Про “Эльдорадо”, которое ехал искать — рыцарь... Наши гувернантки-француженки, сменявшиеся немками (чтобы не за были ни того, ни другого языка), вообще песен не пели, кроме одной глупой прыгающей песенки, которую в очень раннем детстве пела нам балтийская немка, бонна Августа Ивановна. Эту песенку мы совсем не любили, понимая, что она никому не нужна, кроме Августы Ивановны, — “Ach, mein lieber Augustin, Augustin, Augustin” — да и мелодии у нее не было, один повторенный прыжок!

Стихи-песенки, которые я вспоминала и хочу поведать, имели каждая — упоительную мелодию, и, сливаясь со смыслом слов старше нашего возраста, дарили нас троих — Андрюшу, Марусю, меня — каким-то иноземным иковозрастным волнением, волнением чужого царства.

Марина (Муся, Маруся) и я все делили. Любимые книги — “Ундину” взяла себе Маруся, “Рустема и Зораба” себе отвоевала я. Синие стеклянные шары (четыре: три снизу и сверху на них четвертый) и перламутровая маминогo детства раковина — две равные драгоценности, их мы меняли все детство, все отрочество, не в силах решить: что лучше, почти что до замужества.

Наши “заморские” песенки так слились со своим мотивом, что с ним составляли совсем особое, от всего отдельное, существо, мы пели их постоянно. Но откуда сейчас явились мне, спустя столько лет и потерь, эти песенки? Никто на этот вопрос не ответит. Тем упорнее, тем заколдованнее я хочу подарить их

всем, в наше детство заглядывающим (сколько я получаю о нем писем, сколько меня уверяют, что они, читатели, живут в нем вместе с нами!). Они, получив их в последние дни перед тем, как начнется мой 97-й! — может быть, полюбят их? Сохранят?

Строки — вспоминались не без труда: какая-то строка из четырех пряталась, не соглашаясь на замену слов, ускользала, и потом, сразу, из воздуха на меня падая, клала в руку карандаш: запиши! Было и так, что, вспомнив часть второй строки, я, увлекшись делом, бытом, людьми, вдруг слышала внутренним слухом всю — до конца строку вторую, неоспоримо, точно в ухо пропетую. Потом — не слова забытые, а мелодию — третьей, и по мелодии добиралась до слов следующей строки и так далее... Вот с такими фокусами песенки, покрытые годами — пеплом забвения, за какие-нибудь 1-2 часа обрели плоть и кровь.

Это не чудо? Та страсть, с которой песенки пробивались в сознание, в память, в свой дом, отключенные моим неверием, что их вспомню, этот процесс, меня победивший, сам по себе — тема. Тогда же, в детстве, слова песенок жили только в напевах, жили естественной жизнью, как радуга, как далекие звуки оркестра...

Каким образом Муся, Андрюша две своих — поделили, не знаю, мне была оставлена, протянута — третья, самая простая, добрая, слабая (видимо, такую я и была для них: “Ася, — пусть твоя...”). И я, не споря, не спрашивая, приняла ее, полюбила, напевала и тащила все детство с собой:

*Violettes embaumees,
Quand viendront les beaux jours
Dites a ma bien-aimee
Que je T'aime toujours...*

*Душистые фиалки,
Когда настанут прекрасные дни,
Скажите моей любимой,
Что я по-прежнему ее люблю.*

Слова эти французские... Мы понимали их смысл, но они были одно с мотивом, этого не рассказать! Песнь Андрюшина, нашего юного красавца, похожего на свою умершую маму (рядом с ним мы были — обыкновенные девочки), — была такой:

*J'ai l'ame folle
D'une espagnole,
Dont les beaux yeux
Ont enchante mon coeur
Mais la cruelle,
Toujours rebelle,
Croyait se faire
Un jeu de mon bonheur.*

*Моя душа безумна
От любви к испанке.
Ее глаза
Зачаровали мое сердце.
Но жестокая,
Всегда изменяющая,
Хотела сотворить из моей любви
Себе игру.*

Это, может быть, не восемь строк, как я их записала, по ритму, а всего четыре длинных строки? Об этом предоставляю судить каждому, как он хочет, лишь бы он знал, не хуже нас тогда, французский язык... В мелодии этих строк было нечто перегоняющее друг друга, одолевающее, осуждающее, жалующееся,

взахлеб сообщающее. В то время как в мотиве моем была кротость, ласка, надежда, верность и радость это все — ощущать.

Но вот Муси, Маруси, Марины! Самая лирическая из всех, обращенная к имени той романтической цыганки, что от века овеяна красотой и поэзией, — песенка начиналась на: “Oh...”

*Oh Gitana, fleur de Boheme,
De folles nuits et de beaux jours,
Four moi ta vie est un poeme
Et je voudrais t'aimer toujours...*

*О Гитана, цветок Богемии,
Безумных ночей и чудных дней,
Для меня твоя жизнь — поэма
И мне хотелось бы любить тебя всегда...*

Некой грустью веяло на всех нас от Марусиной песенки, и в грусти той было предчувствие еще нам неясных тайн жизни, тайн любви... Слышу голос: какой бред. Вы утверждаете, что ребенок — в восемь лет! в шесть лет! в четыре — что-то из этого может почувствовать и понять? *Утверждаю!*

Ребенок — неисследованная область! То есть та, которую долго еще — сколько промчится вокруг солнца — земля — изучать будут! И я, в поддержку себе, расскажу еще о других, не из нашей семьи детей, о *подобном*, чего не могла понять собственная их мать. Но что *было!* Пылало, рвалось из рук — вверх! В непознаваемое! куда и Маруся Цветаева в шесть лет вместе со своей четырехлетней сестрой рвалась, вырвав себе песнь об этом...

Так вот, были другие дети. Леля Миронова четырех лет и Коля, брат, на полтора года младше. Заговорив о них, надо затронуть вопрос об их генах. Их бабушку, цыганку, певицу, выкрал их дед — цыгане тогда жили в Грузинах, — и женился на ней. У сына их был голос. Им ли он пленил немецкую девушку по имени Берта? Берта не любила цыган, но любила своего жениха-полуцыгана. Было в этой любви “превосходство” германской крови над этой, какой-то, даже “неприятно сказать”, — цыганской. Она запретила мужу говорить их детям, что в них есть цыганская кровь. Дети росли, но были еще совсем маленькие, когда кто-то, не рассчитав эффекта, при них прочел стихи Пушкина:

*Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...*

И после дарованного ему Видения —

*И в пустынях Палестины
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам, —*

*Lumen coelum, sancta rosa! (Свет небес, святая роза! — лат.)
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман...*

Что произошло с детьми после этих стихов — кто мог бы сказать? Что они запомнили из них, исказились ли в детском лепете эти строки — но, придя в детскую, мать остановилась, пораженная необычностью зрелища: дочь маленькая и, еще меньше, — сын, прыгая в кроватках, нет не прыгая, а скача! в диком исступлении восторга, захлебываясь криком, произносили какие-то слова и среди них — фразу на неизвестном ей языке. Доступный ей ритм их криков, подчеркивание детьми рифмы, дали понять ей, что это не детская бессмыслица, а нечто в звуках организованное. Она стояла потрясенная

непониманием происходящего: уже в ее ум закрадывалось подозрение, что дети ее не в разуме, но и вид остолбенелой матери не остановил детей...

А для детей это было участие в чем-то прекрасном, нацело их изгнавшим из их жизни. Они, охваченные силой страсти романтических строк, в два голоса, отчеканивая непонятное, прыгали в кроватке младшего Коли (огражденной, чтобы невозможно было упасть), и чуть старшая Леля, тоже потрясенная, кричала в унисон:

Lumen coelum, sancta rosa!
Восклицал он дик и рьян...

Выросши, они сказали мне, что, пожалуй, лучше, счастливее минут в жизни они не испытали... Так и для нас эти французские песенки нашего детства остались в памяти чем-то необъяснимо прекрасным...

СОЛОВЬИНАЯ КРОВЬ

(история одного портрета, одной фотографии и одного дагерротипа)

*Посвящаю памяти моей племянницы
Инны Андреевны Цветаевой*

Зимой 1970 года я получила письмо от незнакомой женщины из рода Иловайских. Ей было нужно со мной свидеться. Мы условились о часе встречи. Ко мне вошла бодрая старушка, чинная и благожелательная.

— Я давно искала возможности с вами поговорить, — сказала она, — с тех пор как прочла публикацию в “Новом мире”. Ваш батюшка был в родстве с историком Иловайским. Мы — другая линия семьи этой.

Лично его мы не знали и даже портрета его не видели, а между тем немало знала наша родня о его жизни. Вот и ваша сестра пишет о нем, и я бы хотела...

Я отвечала, что он часто бывал у нашего с Мариной отца, но мы обе в его доме почти не бывали: туда ходили его внуки, наши сводные брат и сестра.

— В памяти остался образ красивого старика, так и не воспринявшего ни наши имена, ни нас — так далек он казался от всего, что не было его работой над учебниками истории, над издававшейся им газетой под названием “Кремль”. Никаких человеческих черт как-то о нем не запомнилось, кроме рассеянности, отдаленности ученого от мира сего. Никакого тепла, старческого, в нем не было. Но я помню, что он с большим уважением относился к нашей матери, второй жене отца, заменившей его умершую дочь в доме, некогда данном им ей в приданое. Вы, верно, слышали, что она умерла от вторых родов, оставив мужу семилетнюю дочь и новорожденного сына. По портрету умершей мы знали, что она на отца не похожа, южный цветок! Его же красота была северная...

— Я принесла вам семейный альбом и еще — шкатулку...

И гостя с трудом положила на рояль свою тяжелую ношу. Блеснула черная крышка, и свет перламутровых инкрустаций волшебным образом осиял нас.

Что бы дал и чего бы не дал за этот клад старины Ираклий Андроников! Пушкинские, допушкинские времена, сумрак отблескивающих фольгой — дагерротипов... На тяжелых страницах пожелтевшего картона, обведенные золотинкой по краю легких, местами облупившихся рамок, жили давно исчезнувшие с земли лица, старинные прически, причудливые наряды, эполеты и аксельбанты парадных мундиров. От них веяло севастопольской кампанией, слухами о Бонапарте и еще более глубокой стариной — суворовскими походами — сколько на них полегли...

Моя гостя называла имена, рассказывала биографии, об иных — “сведения — погасли...”, след утерян...

Долго гляжу я в личико тринадцатилетней Оли, умершей от туберкулеза, чудной светлоглазой девочки. Нежным движением ее обняла старшая сестра, обе грустно смотрят на нас, а над ними — крыло смерти...

— У Дмитрия Ивановича от второго брака тоже была дочь Ольга, она выжила, — говорю я, — а брат ее и сестра, Сережа и Надя, в расцвете юности погибли от той же болезни, незадолго до нашей матери.

Я закрываю альбом. Могильной плитой опустилась на лицезренье и повести тяжелая крышка, черный блеск — но цветут ручьи перламутра, бледные краски Авроры, легкий огонь, радужная зелень, розовость и матовость серебра.

— Знаете что? — говорю я внезапно, — мне все это видеть одной? Не поздно еще! Поедем к Цветаевым — ко вдове брата и его дочери!

И мы едем.

— Вы увидите портрет Варвары Дмитриевны Иловойской. Брат мой Андрей был на нее очень похож, а его доченька, дочь Инна, Инна Андреевна, ей было два года, когда отец ее умер от туберкулеза, — повторила черты отца. В ранней юности она так походила на свою молодую бабушку, этот таинственный в северной семье облик. Да и сейчас...

Новый дом на отдаленной московской окраине, уютная квартира, низкие стены. В комнате Инны в темной раме красного дерева писанный 80 лет назад женский портрет. Он когда-то висел в нашей зале, царствовал над роялем и люстрой, над воздушной высотой дома, по которому она прошла как сон. Над печалью отрочества, Маринино и моего: наша мать ушла тем же путем за своею предшественницей...

Но гостья еще не видит его. Происходит знакомство со вдовой брата и его дочерью. Невысокая, грациозная, темноволосая женщина накрывает чайный стол, в то время как я раскрываю шкатулку, переполненную быльем.

Чай отпит. Наша гостья приступает к рассказу и цели своего визита:

— Когда историк Иловойский был молод, в Россию приехала знаменитая итальянская певица Аделина Патти. Вы не слыхали об этом знакомстве?

Нет, мы не слышали ничего.

— Вот что писал о ее голосе Чайковский, — гостья вынимает древний театральный журнал, — не в силах словами сказать о волшебстве ее голоса, Чайковский пишет: “нечеловеческий”, “бесподобный”, “неповторимый”. Ее слава гремит по всем странам, но семья Иловых взволнована небывалой вестью: потеряв от ее пения и красоты голову, Дмитрий Иванович собирается сделать ей предложение. Семья восстает вся: столбовой дворянин женится на певице? Нет! Никогда! Времена были не те, что теперь, — и ему приходится покориться... Но Аделина Патти приезжает год за годом в Россию. Сколько длилась эта любовная связь, неизвестно. И она приехала еще раз в Россию! Уже пожилой.

Она умерла в 1919 году...

— По странному совпадению, — говорю я, — Иловойский умер, *кажется*, в том же году...

— Но мою мать и все то поколение родни нашей интересовало всегда, не было ли ребенка от этого длившегося романа? Вот тут, — гостья перелистывает театральный журнал и кладет перед нами на стол, в овале пожелтевшего листа отделяя изображение от текста, портрет Патти — так вот она, слава Италии!

Продолговатое лицо, снятое в три четверти, обрамленное по моде тех лет. Высоко подняты волосы над лицом, высоко поднята на стройных плечах голова. Темный взгляд из-под ресниц, стрельчатых, скорбь у рта. Разлука с любимым? В полуопущенном взгляде — какая горечь... Вырез белого платья. Обнаженные ниже плеч руки в длинных перчатках уронены, в их движении борются и безнадежность и грация — и одна не победит другую. Я смотрю потерянно и влюбленно — не влюбиться в это лицо нельзя! В нем — тайна... Но я уж не гляжу на нее. Всей остротой близорукого зрения я стараюсь прочесть тонкие легкие буквы еле зримого факсимиле.

Дальше стерто, и снова четкие слова.

Росчерк длинный, как шлейф. Все. Это длится — минуту. В комнате еще дышит вопрос нашей гостьи: был ли ребенок от этой связи?

Молча я подвожу гостью к висящему на стене портрету.

Продолговатое лицо, повернутое в три четверти, только не левым профилем, а правым, в обрамлении длинного, каштанового локона. Грациозно поднята на плечах голова. Во взгляде больших карих глаз — грусть. Тень улыбки трогает рот. Вырез голубого атласного платья, вырез кружев, приколотая к корсажу роза, обнаженные ниже плеч руки. И в *то* время как в том лице нет красок, они только угадываются в сером изображении журнала, здесь они — цветут. Зноем юга нежно пылает щека персиковым загаром.

Четыре человека стоят перед портретом. Трое из них знают его долгие годы. Для гостьи он — открытие.

Будь оба лица повернуты в одну сторону — сходство было бы явно. Но портретное большое лицо повернуто навстречу взгляду маленького журнального изображения.

Смотрят ли друг на друга — мать и дочь?..

— Д-да... — говорит за моей спиной кто-то из Цветаевых, вдова брата или его дочь, внучка женщины на портрете — я не могла разобрать.

— *Если* так, — говорю я медленно, упоенная пониманием, разверзающимся над прошлым, — то понятно, *почему* Дмитрий Иванович запретил дочери сцену: чтоб не постигла ее участь матери, отнявшая у певицы — любимого. Счастья хотел дочери... Им потерянного. Только став женой нашего отца, она смогла петь за границей. Она пела в каком-то из итальянских театров. Неужели на своей родине? Господи, какая судьба...

В лице матери — скорбь. Разлука с любимым, где-то в снегах России растущая, ее не знающая дочь!

В лице матери — грация печали, что-то оленье. Может быть, в юные годы, когда росла и голос рос, а отец запретил ей будущее певицы — и зажглась во взгляде эта печаль. Мы долго и дружно беседуем в этот вечер. Никто не спорит.

Скепсис и трезвость наших хозяек — и вдова брата и его дочь, дети века, — сражены.

— Знаешь, на вопрос мой о матери Варвары Дмитриевны — Лера, ее дочь, отвечала, что в доме Иловайских не сохранилось ни одного рассказа о ней, не чтилась ни одна ее вещь. Не осталось воспоминания.

Точно ее и не было в доме!

— Помню дагерротип, — говорю я, — где рядом с пожилой, точно вырубленной топором женщиной (говорили — румынкой, женой Иловайского), стоит совсем на нее не похожая девочка и очень маленький мальчик, вскоре вместе со своей матерью ушедший из жизни. Мачеха Варвары Дмитриевны? Как властна и живуча итальянская соловьиная кровь! Подарив в дом, суровый и северный, непонятно-южный цветок, она и его в поколениях одарила своей печатью? Оставленный ею сын, маленький красавец, мой брат Андрей, воспитанный нашей матерью, после долгой разлуки услышал от нее восхищение: “Как ты похож на неаполитанского юношу”.

Видя его неразлучным с мандолиною, она, умирая, завещала ему гитару, и он играл на этих инструментах постоянно. А Лера пела — ведь тоже сопрано. Так возрождался в покинутой дочери, в невиданной ею внучке — бесподобный голос Аделины Патти, два поколения, стихия, наполнил колоратурой анфиладу нашего дома, под добрым согласием мужа вырываясь назад, в наглухо замолченную Италию...

Разве выдумаешь такой рассказ?

— Ася, ты, может быть, не знаешь: когда Инне было шесть лет с половиной, годы спустя после смерти Андрея, — говорит вдова брата, — я повела ее на проверку ее ранних музыкальных способностей в Гнесинское музыкальное училище. Инна была зачислена кандидатом на первое место — рука была мала, решили начать со скрипки. Увы, летом мне пришлось из Москвы уехать далеко, надолго, и музыка для Инны осталась мечтой...

Наша гостья смотрит на взрослую Инну. В легкой смуглости ее лица, в волнистых темных волосах — явное сходство с портретом.

— Как она могла оставить так далеко дочь! — думаю я вслух.

Аделина Патти восемь раз приезжала в Россию. К любимому? К покинутой дочери, которую себе взял отец?

Поздно! На часах — полночь. Надо успеть на метро, с драгоценной ношей альбома, шкатулки. В сердце моем — или в их сердцах тоже? — какое-то удивительное тепло... Жар смолкшей элегии — или ноктюрна? На улице — ночь и мороз. И не долг ли был записать все это?

Но если все это — бред, то *почему* — портрет ее нам показала, закрывая альбом, гостья, — *почему* в нем среди семейных фотографий — высоко поднятая голова обожаемой, жизнью отвергнутой Аделины? Почему?

Станным, экзотическим цветком — как, может быть, ее дочь в семье русского историка Иловайского, цветет среди членов этой семьи фотография Аделины Патти.

ПЕВИЦА ЗОЯ ЛОДИЙ

Это было много лет назад... Не назову года! До второй мировой войны, конечно. Думаю: хватит ли у меня дарования вызвать из прошлого образ этой изумительной певицы, камерной, — которой заслушивалась вся моя родная Москва! Но мне не дает покоя то, что ее позабыли, а молодое поколение и не слыхало о ней! Потому — чтобы хоть чуть-чуть...

Поклонники Зои Лодий составляли ту часть Москвы, ту часть интеллигенции, которая гонится не за силой голоса, а за тонкостью подачи мелодии, слитой с содержанием песни, как два крыла! Откуда к нам приезжала Зоя Лодий? Куда исчезла? Я ее слышала только в Москве. Мы все те же встречались на концертах Лодий всегда в Малом зале консерватории, ибо голос этой певицы был совсем невелик (помнится, меццо — или сопрано?), но выражение столь тонкой подачи чувства, чувств (их было — разливанное море!), что зал слушал их с равной силой внимания, в состоянии завороченности (что выше восхищения знатоков!), вне предела оценки, на едином дыхании восторга, тишайшего, как *pianissimo*...

Но довольно бесплотности слов, — перехожу к воплощению: после грубости приветственных, предвещающих появление, аплодисментов, — легким, как дуновение, шагом выходит на сцену певица: помню ее в светло-сером, жемчужно-сером (*gris perle*), длинном шелку, на каблучках, высочайших, почти нечеловеческих туфелек; простерши руки к нам, словно крылья, идет к роялю — волшебное существо, в легчайшем боа из перьев, никакого цвета, и становится на свое место в амбразуре, в изгибе рояля, улыбаясь пленительно и победно, зная нас, зная себя, вся готовая к отплыванию в звуки, вся — грация, вся — предвкушение, вся — служение тому, что *она* слышит...

Зоя Лодий — всегда лицом к слушателям, никогда не в бок, никогда — не спиной, даже в миг исчезновения со сцены. Ибо Зоя Лодий — горбатая, но никто не видит ее горб, если шея ее, переход к спине скрыты искусно и плавно воздушностью боа из перьев, составляющих часть ее тела. Нечто птичье в ней, так давно, в трагедии рожденности, что иногo ей не послав, судьба одарила ее этой воздушностью тела, шага, движений, которых не дала никому, кроме нее! (О, несомненно, будь у Зои Лодий обычное, здоровое тело — был бы у нее обычный, как у всех певиц, голос, и растаяло бы неземное очарование, которое мы видим и услышим сейчас!). Мы ничего не знаем о ее жизни. Ни, точно, о ее национальности, — где-то Чехия реет за плечом ее, кажется? Нет, нам ничего не надо из реальных примет, она их *собой* побеждает, и в улыбке ее, с которой она приступает к “программе”, — вся волшебная власть превращения, претворения, проникновения в то, куда мы сейчас приплывем вместе с нею... Мы с ней отплываем в гондоле, в венецианский вечер, еще голубой, уже становящийся синим, синей лунной ночью — итальянскую песнь начинает сегодня Зоя, мы по Grande Canale, в гондоле скользим за ней...

И когда окончена песнь, синева утопает в почти черный круглый — купол-венец, ночь окутала нас...

И оттуда — во Францию! В ее изящество, со склонением в прошлое, в гром истории, отгремевшей, как налетевшая гроза. Время Первой Империи, оставившей имена и песни, — и одну из них за другой нам поет Зоя Лодий, в прелестной изысканной точности произнося иноземные звуки, давая им жизнь — в мелодии, возвращая в XVII и в XVIII. Унося нас за собой до полного забвения всего (концертного зала, люстр, потолков) — только она и мы (и это боа трагическое, скрывающее калечество ее...).

А затем — темп германских легенд о рыцарских замках, это Рейн течет, сама Лорелея поет... — И в ее песне — песнь Гейне, песнь детства:

*Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn...*

Эта песнь перебивает мне ту, что поет Зоя...

Теплая мгла произношения германских звуков — разве не в Германии родилась Зоя Лодий — не она ли склонилась, любя, над рыбаком, утонувшим; к ней, русалке, пришедшим на дно...

*Die Luft ist kühl und es dunkelt
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein...*

О, неужели Лорелея пела лучше, чем Зоя Лодий? Они вместе поют, голоса слились — такого Москва не слыхала, оттого зачарованно тих — зал...

Рукоплескания: плеск восхищенных рук и, выходя из русалочьих слов, Зоя радуется, улыбается, она тянет к нам неуловимо-длинные руки, и очнувшийся зал благодарно, восторженно аплодирует, аплодирует, аплодирует, не смолкая никак...

Репертуар Зои Лодий?

Лист, Шуберт, Шуман, Моцарт...Глинка, Чайковский...

Помню — шубертовскую Серенаду... Но какими словами попробовать напомнить Гармонию слившихся с мелодией слов? Баркаролу...

Это плавное качанье мелодии, равное покачиванию волны... Голос Зои вибрирует флейтным звуком, упиваясь ритмом, воплощая его, постигая его тайну, тайну ночи венецианской, поющей Баркаролу Венеции, тайну ее превращения из голубизны в — Синеву, рождающую огни, окунающиеся в синюю черноту, в черную синеву Венеции, качающую синие всплески по черной глубине волны. Это сердце гондольера воспевает имя любимой. Душа Серенады подымается (снизу вверх и), взлетает все выше — ночь поет Луне Серенаду, Луна воспевает Ночь... Мне сказали, что сопрано было у нее, а не меццо... Почему же тогда ей все было возможно?

А иногда, насытив нас лирикой прошлого и торжеством исторических дней, Зоя начинает знакомое, как баловство! О, если б не запела она сама эту русскую детскую песенку, которая никогда не кончается, мы бы хором *просили* ее не забыть эту, *любимую*, заранее восхищенные тем, как Зоя поет ее...

В совершенной серьезности начинает ее Зоя (будто няня, а мы — малые дети), и держит она нас в напряжении рассказа, — его, каждым из нас — наизусть! — но как рассказывает его Зоя — не ускоряя, не замедляя, в строгом ритме повтора, в совершенном терпении, наслаждаясь и терпением зала, вместе с нами предвкушая и предвкушая продление...

*...Еду дальше. Вижу мост,
На мосту ворона сохнет.
Я беру ее за хвост
И кладу ее под мост —
Пусть ворона мокнет.
... Еду дальше! Вижу мост,
Под мостом ворона мокнет.*

Я беру ее за хвост
И кладу ее на мост –
Пусть ворона сохнет...

Разве число ритмического повтора не нагревает зал до предела? Разве мы хотим, чтобы бессмыслица прекратилась? Мы боимся, что она — прекратится, но мы знаем, мы знаем, мы помним, как Зоя Лодий прекращает ее пением.

...Еду дальше. Вижу мост,
На мосту ворона сохнет!
Я беру ее за хвост
И кладу ее под мост –
Пусть ворона мокнет...

Это скороговорка? Замедленная скороговорка, раскаляющаяся огнем сдерживаемого смеха. Все жарче... Уже вдохи и охи по залу, смех огоньком перебегает по рядам — и вдруг уже Зоя медленно нам протянула руки, их размыкая створками раковины, размыкая уста в улыбку, зародившуюся, намеком, что сейчас *будет* смех — и еще раз: — “за хвост... сохнет — мокнет”, — Зоя неудержимо смеется — весь зал раскатисто и счастливо вторит ей...

А жизнь идет...

Концертмейстер, пианистка, подруга, которую я запросила о Зое, вот как о ней мне ответила: “Эго хорошо, что вы хотите воссоздать — дать талант ее, ее образ...”

Зоя Лодий — профессор Ленинградской консерватории. У нее было чистое сопрано дивной проникновенности и выразительности. Только что прочла для Вас в книге Е. П. Гершуни такие строки о Зое Лодий: “Запомнились мне концерты ее в Тенишевском училище. Сколько прелести было в хрустальном тембре ее голоса. Она знакомила нас, молодежь, с произведениями многих русских и западных композиторов. Это был настоящий *русский* университет. И помню последнюю встречу с Зоей Лодий в трагические дни блокады в Доме Красной Армии. Ослабевшая от голода, но всегда сохранявшая присутствие духа, она мужественно продолжала преподавательскую деятельность, готовила новый репертуар с артистами, выступавшими на Ленинградском фронте. Замечательная певица и редкостный педагог, истинной души человек — такой запомнилась мне Зоя Лодий”.

Драгоценное добавление о Зое Лодий в годы, когда я была далеко от обеих наших столиц...

Но разве могло быть о Зое иначе?

Разве та “тонкость подачи”, которая завораживала в годы мирной жизни, — могла претвориться во что-то *другое*... в год всенародного бедствия — как не в мужество, не в самоотдачу, не в жертвенность до конца?

Жизнь, смерть...

Но жизнь восторжествует, все равно... И та, Вечная, и эта, которую мы помним...

АНАТОЛИЙ ДОЛИВО-СОБОТНИЦКИЙ

Это было в ту же эпоху певческой жизни, тонкого великолепия камерного пения, как и вечера Зои Лодий.

И было в вечерах их огромное душевное сходство (“огромное”, а не “большое”, потому что слово “большое” — ходовое, обычное тут не звучит). И хотя “огромное” звучит о *таком* — косолапо, но оно звучит (и прости ему громоздкость его, этого слова — за то, что превосходит другие, за это одно).

То, что Зоя Лодий по калечеству своему, по горбатости, так отдалена от других певиц, дает трагическую ноту ее судьбе. И вот эта нота, звучащая и в певческом даре Доливо, роднит их: Доливо был хром. В его выходе на сцену была преодоленная тяжесть. Он шел с палкой.

И было в них обоих еще и душевное сходство, что оба они — думается — высоко презирали свое калечество, пренебрегали им во славу высоты этого преодоления. И они умели так петь Веселие жизни, как я не слыхала ни у одного певца, ни у одной певицы (удаль Вяльцевой или Плевицкой так разнились от того, что я стремлюсь выразить, как разнятся природная Простота от природной же — Сложности).

Мне всегда казалось, что Доливо и Зоя Лодий каждый раз завоевывали зал — заново, что их трагическое несходство стоит у них за плечом, как у птицы крыло, даже когда она по земле ходит. И как взмывало это крыло, как только раздавался первый звук пеня, как хочется Их Искусство писать с Заглавной!

И было, кажется мне, еще одно сходство в их певческих судьбах: у Зои, как у Доливо, голос не был, может быть, так велик, как у других певцов, но что они делали этими голосами! Как оба они подавали песнь, как преображали ее! До какой тонкости проникновения в мысль, в чувство доходило их участие в том, о чем они пели! Такого волшебства овладения *смыслом* и даром его — углубить, усилить, возвысить, собой отеплить, сродниться с ним — и подарить это все залу — где это еще найти?

И были они тут в родстве с чем-то большим, чем они были в этом, — брат и сестра. Но никогда не выступали они вместе, хотя, думаю, более преданных слушателей, чем друг друга, они не обрели за всю жизнь.

Я помню их всегда в Малом зале консерватории, и афиши их привлекали безотлагательно и бесшумно ту же публику, не могущую пропустить концерты их, как насущно нужные сердцу.

Если кто-нибудь из тех москвичей еще жив — вспомните бетховенскую Застольную — как ее пел Доливо! Высокий, смуглый, черный как цыган, но ни ноты цыганского в пении.

Все, что могла дать Европа в наивысшем своем достижении, одарив, нам раздаривал, щедро перевоплотив, Доливо!.. И каждую песнь накаливал тайным пламенем — и бетховенская Застольная звучала в его устах такой мощью, таким беспредельным весельем, словно весь Мир пировал в его пении... все Бетси, все Дженни... Грог всех пиршеств сверкает в стаканах, в руках всех пирующих на всем Свете! Все простое счастье, данное человеку Богом, поет Хвалу Жизни, которая не кончится никогда!

И все это — в тепле баритональных нот, в одном голосе, драгоценном, распахнувшемся для нас на мгновение... но уже и прощание веет над залом, ибо не может такое — пребыть!.. Что еще пел Доливо? Рука рвется к бумаге! Подскажи, Доливо! С Того Света! От Света — в мою тьму! Памяти... Ведь в руках у меня — всего строчка, — как Ты ее пел! Во славу Добра и Веселья — на Божьем Свете — жил!..

“Бетси, нам грогу стакан...”

“Налейте нам, Бетси,

Грогу — в стаканы...”

(Да, конечно

— “Налейте!”)

Поскальзываюсь я написать “Налей-ка”, и в грубости этого “ты” — пропадает во тьму — Твое пение! Разница английского “you” — с нашим “ты”! Почему — английское? Бетховен ведь немец. Еще туман! Но “ты” — не было! Галантность просьбы равнялась — широте Жеста!! Руки со стаканом! Рук со стаканами!.. “Налей-ка” есть пошлость! Там пошлости — не было... Удаль — и Радость: во Славу Богом дарованной жизни! Во славу Его — пир!

...Вечер, поляна, эстонская. Холодно. Все, кто в креслах читал, — ушли. Я — одна. Белая ночь. Бело будет — до полуночи. Дом спит... — Бетси, нам Грогу стакан!., (единственная реальность — в тетрадь... Тетрадь, доброй ночи! Good night! Bonne nuit! Gute Nacht... В той, старой Германии и Ночь — с Большой буквы — Добрая!) Сказав вечерние, ночные молитвы, ложусь. И не спится... Все думаю: как ветер, эстонский, с залива, два дня назад вырвал из рук письмо подруги моей, Жени Куниной! В моем письме спрашивала ее о Доливо, и это, может, ответное. (А ведь было не одно “Бетси”, было и — Дженни?) Вчера и сегодня ждала — что кто-то, может быть, поднял улетевшее. Спешила с почты — домой, там

прочтут почерк — мелкий... Вырвал! На конверт? — мой адрес — я тут 21-е лето, многие знают... Опустят в почтовая ящик — и я во второй раз — получу? Надо ждать.

А наутро письмо.

“..Я вчера нашла на дороге около магазина письмо, но не было время. Вам принести торопилась на автобус. Вышло теперь из Раквере Ваше потерянное. С приветом. *Вайкэ*”.

Вайкэ!! Дочь умершей подруги хозяйки моей Марии... Не чудеса? “...Скучаю по тебе. У вас холодно. Выгревай постель грелкой перед тем, как лечь...(на четыре года моложе меня, 89-й год...) Радуюсь твоему творческому настроению. И вот о Доливо-Соботницком. Анатолий Леонидович. Родился в 1893, умер в 1965.

Помню незабываемые шотландские и ирландские песни в аранжировке Бетховена. Шотландскую застольную, например...И старинные французские и английские песни...”

Читаю и пламенею. Не чудо? Все — потерей, от ветра. С находкой — человеком из нашего дома! Через почту из соседнего городка.

Память ее из семьи музыкальной! Брат же — музыковед... Одну за другой — книги о композиторах. И как — к сроку! Это Доливо на зов мой — откликается!

Подсказал... 1893 — рождение... На год старше меня! Слушала его до 1937-го, до разлуки с Москвой, в мои 43. До его 44-х слушала, в самый расцвет, мужественный, пения. Вчера “слепой музыкант”, женщина Лидия Филипповна Иванова, поправила меня: “нет, и в Большом зале пел”, она его там слышала... Вчера — “имя его? на ”А”. Сегодня имя и отчество... А я и тогда не знала; “Доливо” — все...

В том же доме, где живет седой человек — моложе меня, конечно, который, когда я прочла друзьям написанное о Доливо, оказался его поклонником и обещал, когда придет домой, прислать мне сохранившуюся у него программу его концерта и даже дословное содержание его песен. И вот я, благодаря Марку Яковлевичу Гольдбергу, могу процитировать то, что Доливо пел!

*...Еще! Бетси, нам грогу
Стакан! Последний
В дорогу.
Бездельник, кто с нами
Не пьет!*

*Теперь, выпьем за Бетси
еще!
Выпьем за Бетси!
За рот смеющийся
Бетси!
Пусть Бетси сама нам нальет!*

*Ну, да,
Нам выпить нужно
За девушек всех
Дружно!
Давай же за девушек выпьем,
А Бетси нам всем поднесет!*

*Еще
Бетси, нам грогу!
Стакан
Последний в дорогу,
Бездельник,
Кто с нами не пьет!*

Но это — не Застольная, это — другая!

И где-то там, в — некогда, Петербурге, сидит седой человек, помнящий голос Доливо, и пишет мне, скоро 93-летней, строки Застольной, к которым приложил свою львиную лапу — Бетховен!..

Значит, недаром мне английское “you” примерещилось в бетховенской Застольной... и французские, и шотландские, и ирландские...

Но еще об одном не сказала я, что роднит Зою Лодий с Доливо — о *Доброте*, звучавшей в их пении, обоих. Об этой ноте тепла в интонациях их обоих. Еще это отличало их пение от пения других певцов и певиц. Да, эта нота тепла, дававшая нам отдохновение от перегруженных трудом дней, и веселье, звучавшее в их концертах, дававшее надолго силу работать и жить. И мне вспоминаются фронтовые песни, сыгравшие такую большую роль в годы войны... в которых было столько душевной грации и добра.

А Ирландия, история ее! Стремление к независимости, горечь неудач... Мечты... Ширится грудь певца. А Шотландия... Жарче мелодия — цветет народная песнь давних времен, имя Робина Гуда, как цветок, как Виктория Регия расцветает в песне. Какой тонкой игрой цветет голос Доливо, как меняется голос.. Шотландские песни, голос его накаляется... пляшущий... это сам Робин Гуд поет о своей стране. Величав, великолепен Доливо! Это — народный трибун...

Как смириться, что сейчас будет антракт?! Что это последняя песнь отделения...

Как он дорог нам! Как увел за собой! И не знали мы, что таким может стать его голос, что эхо вторит ему, зажигая зарницы... потухая о горную даль...

Но жизнь богаче, контрастней, чем программа концерта!

Французские песни, колыбель старины, солнечные лучи, пробуждение долин, вековая правда труда и семьи, глубокая простота жизни. Улыбается голос певца, наклоняясь над колыбелью младенца, над счастьем юной матери. То, что роднит все народы, чему не видно начала и не видно конца! То, для чего человечество населило землю, освещенную солнцем... Отражением его горит голос Доливо, как он любит жизнь, как он любит всех нас! И как мы ответно любим его, и как невозможно, что сейчас это кончится вдруг — он уйдет со сцены — и все?

И он чувствует, что с нами! Он поет на бис, он *выбирает*, он знает, что нам спеть! Он поет веселую песню, он обещает свидание, утешает, радуется, *воплощение* Доброты!

Из раскопок памяти я извлекаю, по-моему, драгоценность — и не чудо ли, что именно я, которая через глыбу лет это восстанавливаю, тогда увидела это в антракте, проходя с кем-то под руку, молодая, и что именно в ту минуту была открыта ошибкой дверь в артистическую, где перед зеркалами, трехстворчатыми, сидит, ярко освещенная, Зоя Лодий, вскинув на колено ножку, — как говорят, нога на ногу, и в светлом длинном шелку и, отражаясь сразу в трех зеркалах, ест яблоко!

Откусила, весельем крепких зубов, и пытается скорей доглотнуть, потому что, проходя, как и мы, в антракте, Доливо (обратно нам, сторонящимся скорее исчезнуть), останавливается, тоже смеется, кланяется, берет ее протянутую руку, и склоняясь перед Зоей Лодий, медленно несет ее к губам. Отражение в зеркалах! Остановись, время! Время, остановись!..

...С того мига, во мне живого, через всю сложность прокатившейся по моей спине эпохи, прошло более столетия, ибо с 1937 года я более не слышала и не видела ни Доливо, ни Зою Лодий, половину этих лет, четверть века отсутствия из Москвы.

А с 1962 года, состарясь и вновь поселясь в Москве, я не слышала их имена. Я уже больше не слышала их и от подруги моей Жени Куниной. Из этого письма я узнала, что Доливо умер в 1965 году. Я их не искала, занятая совсем другими заботами...

Правда, услышь я о концерте любого из них, я бы упростила друзей достать мне билет... И, должно быть, была судьба мне прожить еще четверть века и в тихий эстонский вечер, на десятом десятке это все дописать...

*Лето 1987,
Кясму, Эстония*

ПЕВИЦА МАРИАН АНДЕРСОН

*Не забыть это чудо!
Голос, которому нет названия.*

Я не знаю, как тогда (в 30-х годах, помнится, был назван ее голос — в певческой номенклатуре), но в моей памяти он не может быть назван никак, ибо такого второго за всю мою жизнь, мне идет 10-й десяток, слышать не довелось. А исходил он — так и должно было быть — из вполне сказочного существа, зрительно. На сцене стояла женщина мощных очертаний, в белом, длинном атласе, — мулатка? — лицо, шея и руки темно-серого цвета (по-французски этот цвет называется *taure*). Этот нечеловеческий цвет в окружении блеска белого атласа длинного и широкого платья, королевски-сияющего, был сказочен сам по себе. А то, что она так одевала тело такого цвета, было лишь утверждением сказочности, только добавлением к нему.

Что еще мне вспоминается? До начала звучания голоса — впечатление (в нем оно скрыто?), что в первые минуты появления, еще беззвучного — было веяние (необычное: от певцов к публике) — веяние большой доброты. Что-то подобное снисхождению доброго Великана к обычным (между собой — несогласным), совсем маленьким перед ним, людям. Зал, заволновавшийся, затих: последние звуки кашля, сморкание... вознесенные к глазам бинокли... Руки аккомпаниатора пробежали по клавишам рояля вводными ручьями предвестия — и тогда раздался нечеловеческий голос, нечеловеческого тембра, рокот, очень низкий (нотно) — словно заговорила скала.

Она пела. Что она пела в тот вечер? Что вообще пела Мариан Андерсон? Но чего не пела она? Все: от классики (Шуберта, помнится, как она пела Шуберта!). Песни всех народностей, и негритянские — *spirituals*, нечто сходное с гимном, молитвенное; и любимые залом романсы... Репертуар ее был безмерен — как голос: от самых темнот, низких первых клавиш рояля, левых — до конца правых, до золотых искорок самых высоких нот, уходящих в молчание.

Романсы прошлого века, всем еще дорогого, — и, может быть, достигнув голосом, песни будущих веков... (Может быть, люди, из которых состоял зал, уподобились пешеходам, поднимающимся по горным тропинкам и замеревшим при звуках вдруг заговорившей скалы...)

А голос Мариан Андерсон, наполнив и переполняя высоту потолков Большого зала консерватории и как бы стесняясь, боясь его сокрушить, пытался уложиться в слова, певческие, умалиться, вчеловечиться, и, казалось, так мал для него концертный зал Московской консерватории. Быть может, что-то подобное игре взрослого человека с детьми — происходило в том пении... Вспомнить бы, что в тот час пела Мариан Андерсон!

И не моя память, а память когда-то ее слышавшего подала мне такое, рассказанное: среди песен разных народов Мариан Андерсон пела по-русски, но, может, это был перевод, может быть, — с английского языка о другом вознице, тоже певшем свою песнь, певшем — и засыпавшем, вдруг всхрапывавшем и вновь певшем, — все это положив в звуки, воплощала эта певица в теплоте материнского чувства (что ли?).

И, прощаясь на ночь, прощаясь, пробег по всем голосам, прежде тут прозвучавшим, упражняя себя только в одном: старании уместиться в зале? в слухе слушателей? или — в резонансе потомка?! Может — только пробег голоса по возможностям влево и вправо, по мужским и женским регистрам? Нет, нет и нет... Как ей не удавалось спеть во весь голос, — так мне не удастся сказать...

И внезапная тишина. И улыбка темно-серого лица. И как-будто извиняющийся поклон...

Явь: большая женщина в белом атласе, серые мощные руки прижимают букет цветов, не умея их уместить в руках... И все кланяется, и все отступает... от рухнувших рукоплесканий.

Так с ней и со мной на нескольких концертах.

А потом прошло несколько *лет*.

Из которых каждый — десятилетием...

...В чем-то, вроде прорабской конторы, прилежно, над листом ватмана, на ДВК (на Дальнем Востоке), зажав в рейсфедере каплю туши, — вдруг срываюсь с места — замерла — слушаю — так слушает сторожевой пес! — миг! узнаю! *То* узнаю, ни на что не похожее... позабытое... незабвенное... словно заговорила скала! Это по радио передают отделение московского концерта.

Москва? Дальний Восток? Все пропало! Кинув за собой дверь, стою во дворе зоны, выбежав, как в детство, — на волю? — Пешеход на горных тропинках, пью нектар нечеловеческих звуков. За все! За прошедшие годы, прожитое, недожитое... Слушаю ЭХО ГОР! Эхо моей — дрогнувшей — жизни...

БЕДНЫЙ ПЕВЕЦ

Бедный певец” — так, кажется (на 93-м году в памяти своей сомневаешься), — так называется романс Глинки? О нем, об этом романсе, я поведу речь и о родном племяннике композитора, Александре Николаевиче Глинке-Измайлове.

Старый певец, ему было за 80, но и в том предложении, с которым он впервые приехал в Москву из провинции в начале 20-х годов XX века, свое пение, которому он знал цену, он предлагал, как равноправную часть. Что “старый конь борозды не портит”, на Руси давно знают от века, и в Наркомпросе, где он искал свидания с Луначарским, были, видно, того же мнения, беседуя с маленьким, скромным, но элегантно, старинных манер, артистом. Его слушали, ему обещали свидание с Анатолием Васильевичем, но с первого же приезда давали понять, что предложение его принять и осуществить — нелегко, что на пути надо будет преодолеть немало препятствий, пройти через многие инстанции, — это Александр Николаевич понимал отлично, но считал, что молодое государство несомненно пойдет навстречу его предложению. Увидавшись с представителями московских учреждений, после див за прохождением продиктованных ему бумаг, уезжал полный надежд в свой, помнится мне, Рославль, где он бережно и любовно хранил стол, шкаф и кресло знаменитого дяди. Был ли среди этих вещей рояль? Размышляю: будь он, его бы давно забрали в центр, а не будь его — как же осуществилось бы предложение Глинки-Измайлова? — ибо предложение состояло в следующем — маленькую квартирку, где он жил, он мечтал и просил превратить в Музей мемориальный, дяди, а его, родного племянника, сделать чем-то вроде экскурсовода — он будет рассказывать биографию композитора, сообщать обо всем, что связано с сохранившимися экспонатами, и, в завершение, будет петь романсы так, как пел их сам великий русский композитор... Кому могла не понравиться трогаящая душу перспектива узаконения памяти русским сердцем любимого музыканта? И то скромное артистическое достоинство, с которым об этом говорил старый певец, маленький седой старичок с правильными чертами, со следами былой красоты, в его пользу располагающих?

Меня, тогда молодую женщину, служившую младшим научным сотрудником в Музее, созданном моим отцом, Изящных — теперь Изобразительных — Искусств, познакомил с Александром Николаевичем профессор-археолог Борис Михайлович Зубакин, знакомый с Луначарским по делу хлопот о звонаре Котике — так звали все в Москве известного сына дирижера и скрипача Константина Соломоновича Сараджева.

Звонарь этот ничем не схож с обычными звонарями — мастер колокольного звона, восхищавшего Москву своими гармонизациями, как он называл свои колокольные сочинения. Дружил с Зубакиным, человеком исключительного дарования импровизировать целые поэмы с еще большим искусством, чем некогда Адам Мицкевич. Среди недругов он слыл вторым Калиостро и был наружности примечательной, двойник Шекспира, но холод заменивший пламенем, темнокудрый, как истинный бард, блеск и глубина речи и — о нем — шлейф молвы, и, на каждом шагу, — перлы, изумляя, пугая граждан. Он брал подписи музыкантов под ходатайством перед Наркомпросом о выдаче звонарю Котику нужных по тональности колоколов. Это ходатайство было удовлетворено. Мечта воплотилась, отменные колокола

выданы и водружены на колокольню св. Марона в Замоскворечье. Рассказ об этом наполнял надеждой Глинку-Измайлова и его друзей.

Проходил год, вновь приезжал старый певец, племянник знаменитого композитора, снова обходил инстанции и, обнадеженный, приходил к нам мечтать о мемориальной квартире своего любимого дяди, в Рославле — скольким людям он расскажет о нем, скольким споет романсы его — именно так, как он пел! Только чуть старше было с каждым свиданием лицо его, глубже — морщины...

Уже состоялась встреча с Луначарским, Зубакин делал что мог, “лез из кожи”, старался и Луначарский, но и он не все мог, — ведь это только чрезмерно критически настроенные, равнодушные люди думали, что нарком может все что захочет, невежественно сметая — злословием — с пути, мановением руки, препятствия! Жизнь сложнее мечты, обстоятельства слагаются так, что почти невозможно повернуть их, и снова уезжал в свой Рославль племянник знаменитого композитора, и друзья его печально смотрели ему вслед. Там, в Рославле, его, должно быть, встречали — поклонники — с торжеством, разделяя его надежду, гордость заранее, тем, что его хлопоты, его энергия подарят их городу — долгожданный Музей.

Весь год шла — правда, делаясь все реже, переписка с Москвой. И, без сомнения, выступал на концертах племянник Глинки со старинным своим, любимым согражданами репертуаром.

Я не могу вспомнить, сколько раз появлялся в Москве маленький старичок из Рославля, и в который раз заинтересовалась его судьбой пожилая певица Кашперова (увы, я не помню ее имени и отчества); думается, она была уже на покое, певческое ее прошлое было уже позади, но известность ее пламенела в кругу любителей пения, и ее имя — звучало. Познакомься с Александром Николаевичем, его младшая коллега — Кашперова, узнав, чьей школы он придерживался всю жизнь, — помнится, это было итальянское имя, она решила устроить вечер пения. Конечно, бесплатный — дело было не в сборе, а в том, чтобы знакомые — среди них были и знатоки — могли послушать, тут, в Москве, как в его родном Рославле, его пение.

И в одном из задних зал в здании консерватории, осененных именем Рубинштейна, был назначен осенним вечером концерт Александра Глинки-Измайлова. В каком высоком подъеме духа находился в этот день Александр Николаевич, я не берусь описать. Он был просто великолепен. Обычный сюртук его был сменен на фрак (почему это прибавило ему росту?). Он казался роста почти среднего, тщательно причесанная седина почти сияла.

И старые стены консерватории, высота потолка резонировали приветственно, акустически принимали в себя голос певца. Ко мне наклонился Борис Зубакин: “У меня предчувствие — нехорошее...” — шепнул он. В эту минуту Александр Николаевич начинал романс Глинки “Бедный певец”. Отлично звучал голос, баритон, мягкий, как летняя ночь (англичане называют низкий голос — темный — “dark voice”...). Он искусно вел голос своей темно-хрустальной струей. К кульминации, где, повышаясь, звук крепнет в почти катастрофическом напряжении. Все шло отлично; должно быть, психологическое напряжение вечера, торжество минуты не по силам оказались певцу, старику, и для себя совершенно неожиданно он трагически “дал петуха”...

Зубакин больно сжал мне руку. Я видела, как вздрогнула Кашперова. Я не глядела на того, кто стоял на эстраде — взглянуть было выше моих сил. Но также неожиданно, как то, что сейчас случилось, вдруг просветлело лицо Зубакина. “Необходимо внушить ему, что этого не было...” — сказал он мне очень сердечно, и, уходя, — “я иду к нему. Не ждите меня. Может быть, быстро не справиться”.

— А, вот он о чем... — пронеслось во мне, — один из его талантов. — Его тайная сила гипнотизера...

Я выходила, не глядя кругом, я больше ничего не замечала. Я шла и молилась об удаче эксперимента, нужнейшего в этот миг. Этот вечер так и кончился для меня. Верой в то, что для певца, бедного, не будет сорван вечер его торжества. Приезжал ли еще в Москву Глинка-Измайлов? Но в следующий ли год или через следующий — напрасно прождали его. Должно быть, ушел на свидание с кумиром своим, дядей своим, Глинкой...

30.06.87.
Кясму, Эстония

ПОД "КЛЕВЕТОЙ" РОССИНИ

Памяти певца Сладковского

Прошу прощения у читателей, что не знаю не только имени и отчества его, но и даже инициалов, ибо было это в такой обстановке, где люди — заключенные — встречаются мужчины и женщины — мало, потому что общение между бараками запрещено. Но есть в лагерях агитбригады...

Это было — то, что я хочу рассказать — на вечере агитбригады, на Дальнем Востоке, на станции магистрали — Известковая. На этих вечерах присутствуют вольнонаемные.

Слух до нас, живущих в женском бараке (где насчитывалось 100 женщин), дошел, что сегодня будет петь солист Большого театра, Сладковский. Нам и ранее называли его — показывали старика в лагерном облачении. Мне привелось обменяться с ним приветствием и несколькими фразами и запомнилось, что он, полусутоливо, должно быть, назвал меня “Марфа-Посадница”. (К стыду своему, я не помнила о ней ничего ясного.) В одном из барачков за прожитые две трети (?) — три четверти десятилетнего срока, меня, помню, добро, шуточно назвала дневальная Соня — “наша игуменья” — вероятно, и титул “Марфы-Посадницы” был в мою честь дарован за некоторую мужественность и убежденность, что мы выйдем отсюда, что не надо падать духом, особенно в последний год, когда кажется, что “не доживу до освобождения...” (это общая болезнь лагерей).

Но хватит о себе, эту “Марфу-Посадницу” я вспомнила как характеристику того мира, где продолжал жить солист Большого театра, — может быть, есть опера о ней, или такая, где она упомянута? Я не знаю опер. Но облик морщинистого гологолового, как все заключенные, старика в памяти моей жив. Я, конечно, пошла на вечер агитбригады, где он будет петь.

Барак. Вместо нар и “вагонок” — т. е. второго этажа нар — пустота, воздух и ряды скамеек, на которых заключенные готовятся отдохнуть, вспомнить прошлое. На первой скамье — начальство.

Сначала обычное женское пение лагерниц из уголовного мира с душеспасительным воспоминанием о невинных годах детства, с рефреном “ма-ма”, а на смену — что-то из “Чтеца-декламатора”, вроде (мужской голос):

*Зачем же в белом мать была?
О ложь святая! Так могла
Солгать лишь мать, полна боязни,
Чтоб сын не дрогнул перед казнию...*

Жидкие аплодисменты, шепоты, призыв к тишине. На сцене — невысоком помосте — невысокий старик в черной рубахе навыпуск и черных штанах. Он, некогда во фраке с белой манишкой (как попавший сюда, за что? Этого в те годы не спрашивали, ибо кроме урок, воров, убийц, попавших за дело, — все остальные — под именем “казровцев” (контреволюция) — все ни за что, по доносу или за неосторожное слово)...

Что он поет сегодня, Сладковский? Он поет свою — и на воле — коронную вещь, знаменитую “Клевету” Россини!

Бас? Баритон? Не помню. Но помню, что гром негодования — невинно осужденности, составляющий силу этих известных строк, в тот вечер потряс стены барака.

*...Клевета все потрясает
И колеблет мир земной...*

Некрасивое старческое безбородое истощенное лицо — вдохновенно. Он — да, в честь Россини и в честь своего учителя пения — там, в дали забытой, — Мастер, солист Большого театра, поет себя, свое горе, свою невозможность быть понятым, свою погибшую жизнь.

*Тот же, кто был цель гоненья,
Претерпев все униженья,
Погибает в общем мненье,
Пораженный клеветой...*

И начальство, как один человек, перед ним встало, аплодируя изо всех сил — чтоб он не тянул так последнюю, прославленную ноту, за которую вот сейчас лопнет эта старческая жизнь — эти напряженные мышцы шеи, это багровое, задохнувшееся лицо, но он тянет ее, пьянея от своего мастерства, служа ему так же, как своему горю и осознанию *победности* над этими людьми первого ряда, в военных мундирах. Апофеоз певца, не слушающего аплодисментов, умоляющих его — во имя его жизни — прекратить сейчас последнюю минуту пения, могущую его погубить.

Как спичка от слоя, ее зажигающего, зажглись они — об него, *так*, как, может быть, никогда — Большой театр от своего солиста.

Он был почти страшен сейчас, в своем неземном вдохновении, старик-лагерник перед своим начальством. Да, он был страшен, зверь в клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка свое обвинение, им, рукоплещущим голосу, попавшему в клетку (им, бессильным что-либо изменить в стране, превращенной в грандиозный зоопарк, ибо они были лишь служителями зоопарка...)

Где еще искони россиниевская “Клевета” прозвучала так, от загубленного клеветой!

Он был *свободен* сейчас, *совершенно свободен*, освобожденный до срока, под гром рукоплесканий...

ТРИ ВСТРЕЧИ С МАРИЕЙ ВЕНИАМИНОВНОЙ ЮДИНОЙ

1.

Меня просили написать, что помню о Марии Вениаминовне Юдиной. К какому году относится моя первая встреча с ней, мне сейчас трудно установить.

Я шла к ней потому, что узнала: она видела Марину в те годы, когда я этого была лишена — в конце ее жизни. Я подымалась по, казалось, бесконечной лестнице — на, помнится, девятый этаж (как и Марина, я избегаю лифтов). Шла и думала: что она мне сейчас расскажет? Музыкант — о поэте. Помнит ли? Ведь это было давно... Может быть, ей помешаю?

Меня встретила женщина необычного вида: мне трудно определить ее рост. Она, как я писала о Максимилиане Александровиче Волошине, казалась большой, но не была, может быть, такого высокого роста. Тут присутствовала некая огромность, неподвластная измерению. В первый миг она как-то даже и подавила — тяжестью очертания. Но улыбка ее, сменившая на чем-то другом сосредоточенность лица ее, облегчила подход к пониманию этой встречи. Узнав, что я сестра Марины, она оживилась. Она старалась восстановить свое единственное свидание с нею. Тему его, мною за эти полтора десятка лет утраченную, я припоминаю теперь, прочтя запись Юдиной о Цветаевой — музыкант шел к поэту с просьбой о переводе стихов немецких поэтов, положенных на музыку Шубертом. Марина согласилась перевести только Гете. Их беседа была недолга, сближения не получилось. Говоря об этом, Мария Вениаминовна, должно быть, стеснялась того, что не оправдает моих ожиданий. Она старалась быть приветливой. Но меж ею и мною повторилось отсутствие близости, отмеченное в ее записи о их встрече с Мариной. Я боялась, что ей мешаю, отняла время. Благодарил, и поднялась идти. Она провожала меня, звучали какие-то добрые слова. И все-таки я спускалась по той бесконечной лестнице в тяжелой печали.

“Почему, — думала я, — музыкант, и какой музыкант! И обе мы любим Марину. Я старалась о чем-то — и не получилось... Но отчего же они друг друга не поняли?”

Вот слова ее воспоминаний о Марине: “...Вчитавшись в ее стихи, я поняла, что они — ”не мои...” Блистательное сверкание формы, виртуозно решенные задачи ритма — я их зрю воочию... но ... не о том скорбит душа, не того жаждет дух...”

Хотелось бы знать, что сказала бы Юдина о “Поэме воздуха” Марины Цветаевой. Я не знаю другого произведения в мировой поэзии, подобного этому. Не поясняя, не поучая, поэт говорит о столь трудных своих ощущениях, столь сложных, неуловимых... читатель следит с трудом. И останавливается вслед за автором, у предела, выше чего — в поэме этот предел назван шпилем — не проникает сознание. Но и это еще не дух, коего жаждет музыкальная душа Юдиной. И мне вспоминаются слова другого человека, когда-то о Марине сказавшего, видя ее мучения о непонимающем ее окружении во Франции: “она могла обрести покой только в области чистого духа — но она была к этому не готова”. Когда, годы спустя, я услышала, что Мария Вениаминовна простудилась и болела воспалением легких, выйдя в непогодливый день кормить во двор кошек, легко одетая, чуть ли не на босу ногу — вспомнила тот двор. Кто-то мне недавно сказал, что она в то время жила в районе Ростовских переулков на Плющихе. Кошки! Еще одна тема близости ее с Мариной, со мной! Какое-то психологическое колдовство держит между людьми завесу, смыкает уста.

2.

Что же смело эту завесу в день, когда мы встретились с ней на панихиде по Анне Андреевне Ахматовой, устроенной Марией Вениаминовной в церкви в Вешняковском переулке? Шла служба, затем говорил священник, затем москвичи окружили Марию Вениаминовну, и мне показалось излишним пережидать их, да и не к чему — слов было не надо. Я ушла в состоянии светлой душевной легкости, как будто мы с ней обо всем переговорили, все понятно, все согласовано — хотя мы, обратно первой встрече, не искали никаких слов, ни о чем не старались, вообще не говорили, а только улыбнулись друг другу и постояли рядом — в недолгое панихидное пение.

3.

И вот третья встреча — десять лет назад, в этой же церкви, в Вешняковском переулке, и тот же священник говорит — о лежащей в гробу Марии Вениаминовне Юдиной. Он говорит слова о высокой ее жизни, в которой музыка слилась с религией, аскеза — с помощью людям. Последним сомкнуты уста лежащего музыканта, последняя тишина объяла ее. Уже не услышим! Ни Баха ее, ни Бетховена из-под ее живых рук! Последним восковым холодом смнен, заменен мощный огонь этих рук, пламя потухло о вековую тишину.

Но какая же последняя тайна размыкает ее уста в берег улыбки, в преодоление воскового молчания, в почти блаженный покой! Проповедь надгробная смолкла. К ее изголовью подошел — и стоит над ней необычный священник. Монах? Встал и стоит. Молится. Люди шепчутся: “Из греческой церкви... Она туда жертвовала...” Он стоит до тех пор, когда все простились, когда над ней последним взмахом, словно рояльной крышки, поднялась гробовая.

Мы на кладбище. Долгая дорога — позади. Холодно. Далеко.

Классический пейзаж мертвенности, многожды повторенный, в каждой бессчетной могиле, каменный беззвучный крик одиночества... Но что это? Кажется? Пенье? На кладбищах не поют, ведь? Поют, значит... Громче, стройнее, гармоничнее и победней — ширится и высится хор! Во Всевластном взлетании голосов будто зацветают деревья, осенние ветви, поднятые к небесам.

Долго господствует хоровое пение. Уже не мертвенно кладбище! И только когда, взлетев, отлетел последний затихающий звук — там, впереди, сметенье: что-то с землею не ладится. Шепоты, голоса, вопросы... Ответом доходит: “Могилка мала! Подкапывают...”

В этот миг радость внезапной символики переполняет сердце: не уместилась в обычной могиле Мария Вениаминовна Юдина!

18-19 ноября 1980 г.

АННЕ ГЕРМАН

Анна Герман ушла в зените своей славы, в зените своей красоты. Сама душа Лирики звучала и томила в невыразимой словами прелести ее голоса, сама Любовь тянула к нам руки в каждой ее песне, само Прощание прощалось с нами в ее интонациях, в каждом углублении певческой фразы, сама Природа оплакивала свой расцвет и свое увядание — потому так неотвратимо очарование ее тембра, и только те, кто слышал ее пение, смогут понять скорбь расставания с ним. Если я проживу еще год и несколько месяцев — мне пойдет уже десятый десяток, — я за мою жизнь слышала не один, казалось, неповторимый голос певицы, — но только голосу Анны Герман принадлежат по праву слова — неповторимый и несравненный.

На концерт Анны Герман впервые повел меня ее поклонник, мой младший друг, литературовед, человек тонкого вкуса, много раз ее слышавший. Он говорил о ней с таким восхищением, что я еще по пути предвкушала радость услышать необычайное. В жизни я слышала Мариан Андерсон, — думается, мулатку, певшую голосом невероятного диапазона и силы, и, в те же времена моей зрелости, я не пропускала концертов Зои Лодий — средних лет, горбатой и очаровательной, выходившей в легком, светлом, длинном платье, на очень высоких каблуках, в накинутом на плечи боа из перьев. И ее смеющееся лицо, гордое восторгами публики, светилось победой над своей искалеченностью — и побеждало вдвойне. Память о вечерах ее до сих пор греет остывающее из-за всего пережитого, но еще не остывшее сердце. И молодая мать наша с Мариной пела низким печальным редко-чудесным голосом — должно быть предчувствуя раннюю смерть...

Со всем этим в душе я шла об руку с моим спутником, ценителем Анны Герман. Где был ее концерт? Не помню. Я запомнила только — ее.

Мы входили в зал. Я уже любила Анну — не за ту высокую радость, которую она нам подарит, а за то страшное прошлое, через которое она прошла, чтобы пробиться к нам, вновь стать певицей. От моего спутника я узнала, что годы назад она, в Италии, пережила катастрофу: в машине, с шофером, по пути с записи своих песен, ночью на большой скорости потерпела аварию, так разбилась, что ее, почти как Ландау, — собирали. Три года лежала она в гипсе — то одна часть тела, то другая. Долго было неизвестно, не будет ли она калекой... Искусством врачей, и еще больше — своей жаждой жизни, голосом, хотевшим петь, упорством человека и женщины, чудесами массажа и лечебной гимнастики она возвращала — и вернула себя жизни, движению и — чудо чудес! — пению! ее голос звучит не хуже, чем до катастрофы. Говорят — лучше...

В волненье, на которое способна старость при встрече с такой судьбой, в трепете материнства и преклоненья, я входила, опершись на руку моего молодого спутника, в переполненный шумной радостью зал. Еще не взошло из-за гор солнце, но уже лучи золотой пылью легли на вершинах. Еще нет ее — ни шага, ни шелеста платья, — но самозабвенно лицо моего спутника. Очарованность? Преданность? Страх, что концерта не будет, отменят? Ожиданье зала уже накалялось, перерастая в нетерпение, в усталость, и все-таки она вошла неожиданно. Стройная, очень высокая, волосы, лучами ее окружившие, не в изыске парикмахерского искусства, темнее или светлее соседок. В несравненном цвете природы, повелительном, пленительном, польской нации, польской панны — только Гоголя перо бы могло ее описать! О этот миг — кратче мгновенья, неучитываемый миг тишины перед взорвавшимися рукоплесканиями зала! Эта отрава славы, за которую “продают душу”, — не она ли терзала тебя годами больниц, Анна? Не еще ли нежней стал голос? Томленье, до катастрофы тебе не знакомое? А может, предчувствие беды, в тебя проникавшее, тогда томило людской слух уже переносимым очарованием?

...ЗАПЕЛА! Половодьем — берега, ты затопила и нетерпение зала, и рукоплесканье, — все... Ища помощи в отклике, я взглянула на спутника — увы, это было как сорваться с обрыва! Он был “бледен, как полотно”. Его — не было. Только чуть дрожали ресницы остановившихся глаз. Так человек глядит — один раз. Так — решает. Ее голос — лейтмотив его жизни. С нею он должен жить Жизнь! Она — или никто.

Мой спутник отсутствовал. И все-таки я сжала его руку — в легком, за него, страхе, — чтобы вернуть его к нам. И, добр, как всегда, он опомнился, улыбнулся, золотые глаза потептели. Но не его лет

усталость пронизала все его существо. Так, именно, захватывает такая любовь — жизнь человека. Этим путем, если не разомкнуть его звенья, — проходят до конца. Им шел Вертер. Но им шел и Рогожин... Мышкин, своей жизнью, перечеркнул этот путь...

Закрыв глаза, я вслушиваюсь в своеобразие интонаций, тихое тонкое скольжение от низкого тона — в высокий, в грацию и печаль этого голосового полета, перелета через глубины и тишину, *glissando* через эту игру, ей одной свойственных звуков, легких и длинных, ускользающих, догоняющих, встречающихся в теснотах смычка и широком разливе рояля, выныривающих из-под объятий аккомпаниатора и вновь овладевающих темой, — прощания в этой песне, прощания, темно сжавшего встречу такой неотвратимой властью, что ничего уже нет в мире — одно Прощанье, и им, им одним захлебнулась душа певицы, познавшей в нем больше, чем дано человеку, невозвратно ушедшей от радости — в неутолимую тьму.

“Она колдует,— размышляла я, вырываясь на миг из-под обвалов печали, — колдует или она заколдована? Но ведь нет такого вопроса — она тем и колдует, что заколдована, тем и безысходно колдовство музыки, что оно пропало в себе, в этом без дверей царстве! — тем и убедительно прощанье — с человеком, молодостью, с судьбой, — с жизнью в последнем полете — Анна, Анна, для того ли тебе возвращена эта жизнь — чтобы ею играть в последнем-то счете? Колдунья, заколдовавшая зал...”

А она стояла — высокая, нежная и печальная, портрет, со стены сошедший, — выше всех, стройнее всех, нежней всех, светлей всех, в платье небывшего цвета, и, чуть протянув руки в зал, допевала свою песню, и ее волосы, как тот отсвет зари на вершинах гор и дерев, обведали ее лицо, начавшее улыбаться, освобождаясь от печали смычка...

И вдруг — улыбнулась, и уронила руки, невинная и бессильная перед своей прелестью, одинокая среди иноплеменности. Она стояла и улыбалась, опустив руки, неуловимо повела плечами и вдруг сгорело все, что было ею наколдовано, — стройная девочка была перед нами, выколдованная из ее пропавшей печали, улыбкой нас пустившая на волю... В какой-то, никем нежданый час юности, ничего не зная ни о какой печали, в первый раз увидевшая зал!

“Тоголя нет, — подумала я снова, — только он так воспевал панн-колдуний — мглу очей их из-под стрелок бровей, этот смех, разбивший — в хрусталь горе жизни, все горе всех, все, что было, и все, что будет, заручившись на век и за всех — сумасшедшей прелестью песен, музыки, их обнимающей, мощью счастья, которое не проходит, которым дышит земля... Но что-то и злое тут есть, — продолжаю я бороться с Анной, счастливо верить ей (и я уже забываю о рядом со мной сидевшем), — я сейчас, сейчас очнусь и брошусь ему на помощь! — но я должна допонять тут что-то, чтобы ему помочь”.

Аплодисменты рушили зал. Анна кланялась.

И пошли концерты за концертами — годы и годы, в каждый приезд Анны в Москву — мы не пропускали ни одного, были случаи, когда подруга ее, тоже Анна, сообщала нам, что будет слушаться новая пластинка вблизи улицы Герцена, и мы шли туда и слушали новые песни Анны, предвосхищая ее приезд. В ее репертуар входило все больше русских песен, романсов. Анна все больше входила в душу русского певчества, все охотнее и увлеченнее пробовала свой голос на русских мелодиях.

Однажды, после того, как я услышала ее на пластинке в звуках Скарлатти, я сказала моему молодому другу: “Мне не хочется, чтобы Анна ограничивала себя — эстрадой, ей надо менять путь, делаться камерной певицей”. И не успел меня удержать от этого верный поклонник Анны, как я, в антракте, ей поверила мою мечту.

Легкое смущение пробежало по ее чертам. Ока хотела его скрыть, явно. Покрывая его улыбкой, она ответила мне, нагнув лицо и сильно склонившись (ее рост настолько превосходил мой!): “Когда поста рею...”

Ошибка, русская, в ее нерусских устах, сделала еще милее смущение. Кто-то подошел, я не успела сказать то, что просилось в ответ.

Но неожиданна была реакция моего друга!

“Жаль, что Вы ей это сказали! Разве Вы не замечаете, что она после катастрофы — не может дать целый концерт? Она еще недостаточно окрепла — потому она и возит с собою свой джаз. Чтобы занять публику во время ее передышек...”

“Ах вот оно что! Как жаль! Я ей сделала больно... Вечный эгоизм — не подумать о другом, а говорить то, что тебе хочется...” И все же, думаю, было лучше поздно покаяться, чем...

Весной 1977 года я слегла в больницу с воспалением легкого. Это была хорошая больница, в центре Москвы, и многие друзья, беспокоясь, — мне шел уже 83-й год — меня навещали. Как же я обрадовалась, когда однажды мой молодой друг, тот самый литературовед, что познакомил меня с Анной Герман, часто меня навещавший в положенные для того часы, приехал не один — а с Анной! Странно было мне видеть ее в непривычной обстановке, не нам передавать ей цветы, а из ее рук принимать горшочек земли весенней, с украсившим ее и больничным покоем — необычайным, как все, что от нее исходило, — пышным и легким, густым и стройным, зеленеющим воздушным созданием, пустившим в стороны щедро узорчатые ветви, коронованные цветами, причудливыми и грациозными, какого-то несказанного цвета... Это был и терракот, и сгущенная алость, бледневшая от завязи к концу лепестков. Обрадованно вздрогнули мои руки, приняв подарок, слышала тоже непривычные слова приветствия: “Я желаю Вам так же скоро поправиться, как скоро расцвели эти цветы!”

Она улыбалась, и я отвечала ей что-то, но меня охватила тревога, — что дело тут не в цветке, к не в этом подарке — а чем-то рядом, другом! Не теряя и мига общения с Анной, я жарко анализировала происшедшее — и, должно быть, именно этот жар одолел тайну так встревожившей меня ситуации: в сложных конфигурациях и красках протянутого мне ее руками растения было волшебство сочетания с пением Анны, с неповторимой грацией оттенков ее голоса, с дремучим — пойдика, выйди из него! — лесом ее певческих интонаций. Драгоценностью мне предстал Аннин подарок — и как же бережно я его поливала, стремясь не перелить, не недолить нужную здесь влагу — и как долго он жил, после больницы, у меня на окне — и сколько же в кем было бутонов, расцветающих и певших! Как возможностей, рождавшихся в ее голосе...

Прослушав пластинку, где Анна пела Скарлатти, — я запросила сведения о нем. И вот что я получила: музыкант 17-18-го веков. Служил при римском дворе польской королевы-изгнанницы Марии Казимиры, для театра которой писал оперы. “Любопытно, — думаю я, — еще тогда столкнулся он с Польшей, а теперь польская певица исполняет его музыку...”

Стиль Алессандро Скарлатти. Читаю дальше: “Мелодика Скарлатти совсем не та, большого дыхания, величаво и покорно льющаяся кантилена, которая свойственна итальянской музыке. Диапазон широк, размашистый и оживленный контур, линии разнообразны, иногда гибки, округлы, текут, когда, рассыпаясь в фигурациях, взбегают или

скользят вниз... Любит композитор ритмически острый, ломкий рисунок с короткими, остро выразительными фразами, шаловливыми, вызывающе-дерзкими бросками на широкие интервалы и в удаленные друг от друга крайние регистры”. “Вот ему и потребовалась такая исполнительница, как Анна Герман!” — думаю я.

“Ритмическая изобразительность Скарлатти — беспредельна. Сотни изящных вариантов. Он никогда не сковывал ими мелодического движения и не впадает в манерность”.

“Поразительно! Так же, как Анна!..”

“...Фактура... хрупкая вследствие захвата крайних регистров, всегда отделанная с совершенством и изяществом, требует от исполнителей отличной техники, культуры звука, блеска, тонкого вкуса”. (“В ком он мог встретить все это, как не в Анне?” — говорю я себе.) “Когда посреди стремительного *allegro* в ритме танца какие-нибудь несколько нот вдруг резко и звонко забрасываются в светлый верхний регистр — ”поднебесье” инструмента, — они звучат ликующе или реют, как птицы над широким солнечным ландшафтом. ...Стихия эмоций живет и трепещет в них”. (“Не все ли это можно отнести к манере петь — Анны? Вот они и встретились в музыке почти через 300 лет...”.)

Вновь приехала в Москву Анна Герман! А я — это редко бывало — болею. Мне не пришлось пойти. А она пела веселые польские песенки — не услышу — должно быть, мои польские гены? — так люблю звук неведомого мне языка! Пропущу разлив ее голоса.

Как жаль!..

Я ждала нашего общего с Анной друга — он-то уже не пропустит ее выступления!.. И он пришел, сразу после концерта. Но он мне показался новым, каким-то отчужденным. Не рассказывал — точно не было что рассказать о пении на ее родном языке! Помолчал, походил по комнате и, остановясь передо мной:

“Анна — замужем. Она меня познакомила с мужем”.

“Замужем? — отчего-то замерло сердце, — ну, расскажите, какой он?..”

“Большой, полный. Его зовут Збышек. Он был давно поклонник ее пения. Он сделал ей предложение, когда она лежала в гипсе. Было неизвестно, выживет ли или, может быть, будет калекой”.

Больше он ничего не сказал. И я не спросила. В его тоне глубокого уважения к этому человеку я почувствовала, что ему тяжело.

На следующий концерт мы пошли вместе.

“Я слышал, — сказал спутник, — что кто-то из ее начальства ей сказал, что она слишком скромно ведет себя с публикой, что это не подходит эстрадной певице”.

Мы посетовали на эту вест и всматривались в Анну.

... Да, видимо, так: что-то чужое вкралось в ее движения, нам было тяжело смотреть. Она протягивала к залу руки, повертываясь, демонстрируя россыпь белокурых волос... Но голос был тот же — ее, ни на чей не похожий.

Затем она долго не приезжала в Москву.

Года через полтора, в ответ на мною посланную ей мою книгу “Воспоминания”, я получила от Анны письмо. Поблагодарив, она сообщала, что у нее родился сын. “Он большой, тяжелый. Я очень устала носить его на руках. Не могу во всей Варшаве найти няню”, — писала она.

Маленького Збышка я увидела много позже, на фотографиях. На первой Анна держит его, прижав, столбиком, и счастливо, самозабвенно смеется, а малыш, столбиком, спит. Воплощение безмятежного сна. На второй фотографии — плотный, лет трех, на мать не похожий, он держит мандолину и улыбается.

И снова в Москве концерт.

Первое, что заново поражает, — рост. Выше всех чуть ли не на голову! Платье до полу. Русалочьи волосы. И при росте таком — сама душа Женственности! В каждом движеньи! В неуловимом опускании головы, действующем, как начало улыбки. Тенью за ней — тайна ее катастрофы. Тайна ее возрождения. (Страх за нее. Страх будущего...) И вот она слегка развела руками — и вот она начинает петь...

И, пересекая эту победу над всем бывшим, — с первых же звуков, длинных, низких, почти альтовых до сопрано — ее, казалось бы, — веселая? песнь получает странное подкрепление — печалью, задумчивостью над тут же рядом звучавшим весельем — она голосом пишет по воздуху как бы двойным пером по бумаге — голос и его тень — миг! сейчас погаснет! И я вдруг вспоминаю одного из моих друзей — возразившего мне, что в прощальной песенке она поет саму Душу Прощанья. “Как раз обратное! — сказал он. — Никогда до конца не отдает она свой голос — ни Грусти, ни Радости — что-то матовое, ее, особенное — именно не до конца себя предает теме...” Она владеет каким-то подъемом ее: “С птичьего полета?” — я тогда спросила, но согласия с этим не получила, собеседник ушел от моей готовности принять его мысль — и я не пошла за ним. “Пусть так!..”

И вот ее знаменитая песня “Надежда”, stacatto, сияющими каплями по началу мелодии, призывок заунывности, крепнувший, перерастающий в тему радости. И кажется, что ты эту мелодию слышал давно, всегда, с детства, где-то она звучала в соседней комнате рядом с той, где ты засыпал, — где родился? Тема продолжала парить. И снова stacatto и снова протяжный задумывающийся звук в Первозданность — и светлая попытка преодолеть, выскользнуть — и она вновь стоит перед нами, Душа звуков — и по чьему-то приказу (она бы сама не стала) тянет руки в замороженный зал...

А зал кричит “Би-и-с-с” оглушительно, криком руша теплоту и тишину ее певческих строк, но она соглашается, волшеббно стихает зал — и над мигом начавшейся тишины — вновь уже тянутся светлые заклинания Надежды — звуками, качающими, колыбельными, греющими, наполняющей нас отвагой предчувствия... И вдруг закружила нас Анна, победно, в дионисийской пляске, в летящей — да куда же мы летим в этой, с горы сорвавшейся, опьяненной жизнью мелодии? Но голос Анны летит плавно, уступами, грациозно поворачивая легкую связующую ноту, и рядом, как всегда у нее, светится неуловимое сопровождение, как сказал возразивший мне друг, — призрак печали в надежде, призрак надежды в печали? Как трудно разобраться в этом потоке звуков — в первичных вязях поэта и музыканта, в своеобразии “подачи” певца!.. — когда тебя уносит с собой этот голос... “Где границы прав исполнителя?” — думаю я, и уже не помню своего ответа, потому что, отделенная ее поклоном и минутой дыхания, — звучит уже другая песнь, наново нас заливая иным ритмом, иным цветом звучания, — и бубен, ударами, отчеканивает новую игру ритмов — а голос неистовствует в спешке погони, озорством юности, счастья, догоняя беспамятство звуков, и вьется, смеется, берет в плен — “мой бубен, мой бубен, мой бубен”. И внезапно длинный, медленный, отчаянием захлебнувшийся крик — “Мой бу-у-у-бен-н...”

Задумчиво склонена каштановая голова моего соседа и спутника, покорно внимая чуду, тайне звуков, — о чем он думает в этой смене песен, — о том ли, что так же сменяется в жизни путь человека, годы юности, зрелости, — или о ней он думает, о судьбе певицы, так сродненной с тайной музыки, с трагической радостью композитора, из хаоса звуков вызвавшего гармонию этой мелодии, этого часа певца? Опущены веки его над каре-золотыми глазами — сейчас он подымет их, и глаза улыбнутся, и им отзовутся губы, счастливо...

Уже откланивается Анна, смолкла, но звучит вся она, черты — и улыбка, движенье, и шаг ее, ее платье, и светлый поток волос...

“Гори, гори, моя звезда”. Этот романс почти эпоха в моей зрелости. Его пела певица-друг в струе мощной романтики у рояля над морем в неумирающем Коктебеле, по моей просьбе — чередуя с другой звездой — Анненского (ей неведомой, мною ей лет 20 назад напетой, ею подобранной и в нас вселившейся), Анна поет его, еле касаясь. Это — воспоминание, прощание, налетевшее, пролетающее! Где слова — окисать ее, этот сверху вниз наклонившийся звук — словно кто-то берет, нажав, струну гитары, скользит ею *glissando* по грифу этого печального, гулкого, в наш век испорченного модой, таинственного инструмента — ее голос скользит и сдержанно, и прихотливо, по грифу печали, и задерживается внизу, на повороте молчания — и, перед тишиной, медлит, еле уловимо кружась над *pianissimo*.

В зале совершенная тишина...

Песнь, следующая, завлекает ее в игривый, ей не свойственный шепот — но она и в него рождается, разменяв себя на шутливость, на шутки, на смех, и уже закупалась она в смешках шалости, в новизне неожиданностей, в неожиданности веселья!..

Как коротки польские песенки! Слова — звук слов — на мой слух — заглушены музыкой, но их щебет птичкой перепорхнул в голос Анны — это же ее родной, ее детства язык! Которым она укачивает маленького Збышека, в этот звук сын рождается все шире, звучнее, слухом своим — каждый день... Стараясь войти в язык, не понимая, закруживаясь в его круженье, радуясь птичьим вскрикам иноземного веселья, — в нем жила наша с Мариной бабушка до 28-го года ее, — прерванной смертью, весны — в первые дни жизни нашей матери. И мать наша не узнала родного — наполовину — родного своего языка. Зная столько языков других стран, она не спела — ни под рояль, ни наклонясь над гитарой — ни одной польской песни... Вот их поет одну за другой Анна, и я всею мощью воображенья, всею страстью так и не воплотившейся мечты изучить польский — впиваю прелестные, таинственные своей непонятностью тайны чужой — моей же — страны, отраженье ее сказок, легенд, традиций, ее истории — все это живет сейчас и протянуто нам — а мы не умеем взять. Не оттого ли Анна учит наши русские романсы, русские песни — старинную “Гори, гори, моя звезда” — и мы еще сегодня услышим знакомое с детства тарусское “Из-за острова на стрежень”... ей, может быть, также хочется до конца проникнуть в русскую музыку (но ей легче,

она хорошо говорит по-русски), как мне — сколько раз начинала, но жизнь отрывала, — учить польский язык!

Я кончаю мои воспоминанья о покинувшей нас Анне Герман. Птицей в польском золотистом оперении влетела она в русскую музыку — и недолго погостила у нас!

А на другой день я получила от друга-поляка перевод текста пластинки, читаю:

Анна Герман “Так это май”, музыка Анны Герман, слова — Ежи Фицовский.

1. Самый шальной из шалых; 2. Возвращающиеся вальсики; 3. Без тебя нет меня; 4. Такая малая птичка; 5. Рождественская песенка; 6. Мой оловянный генерал; 7. Что дает дождь; 8. Дай мне радугу на воскресенье; 9. О-ле-ле-ей; 10. Мы живем в красочных снах; 11. Роковая девчонка; 12. Мой дядя разводит моль; 13. Так это май.

“Интересно... Совсем все иначе, чем наше”, — говорю я себе.

Так это май? Да, это, конечно, май! Нам захотелось еще раз вздохнуть песенкой “Без тебя нет меня”, помечтать в “Новогодней песенке”, раскрыть над головой зонт, заштопанный весенним дождем, пособирать круги с воды на серебряные браслеты, поискать самого шального и проведать дядю, разводящего моль, или оловянного генерала, которому не надо отдавать честь...

“И юмор другой, чем наш...” — думаю я.

А если встретим по дороге старомодные вальсики, то затем, чтобы наша улыбка встретила с юной улыбкой бабушки, всматривающейся в нас со старой фотографии, и чтобы пригласить ее на танец. Ее тоже!

“И не наше изящество, совсем иное...”

Май стиснул в горсти вчерашние печали, май — сорванный, как букет сирени!

“Хорош образ”... — люблюсь я.

Май — настоящий автор, мы писали под его диктовку. Удалось ли нам это? Это покажут песни. Приглашаем! если будет вам хоть немножко более по-майски, чем было без наших песенок, — поставьте нам улыбку с плюсом!

В последние годы я больше не слышала о концертах Анны Герман. Но от того друга и спутника моего, с которым я слушала ее пение, я услышала! Анна болеет... Это упоминают в польских газетах — но, поболевав, полежав в больнице, она вновь появляется, там, на концертах.

По болезни ли — или потому, что растет сынок и трудно летать на гастроли с ребенком, — но давно уже смолк ее голос в наших концертных залах... Жизнь идет. И приносит весть: Анна Герман больна — неизлечимо. Эта страшная весть — протянутая в прошлое рука, указывает тот день в Италии, когда она и шофер, везший ее с записи ее песен, ночью, на большой скорости потерпели аварию. Об Анне мы знали, что жизнь победила смерть, мы приветствовали ее торжественно, потрясенно. Она радовалась жизни, она снова пела и пела, и мы слушали ее, слушали, никогда бы не перестали. Но пришел ее час.

В мои руки передана драгоценная россыпь фотографий Анны Герман. Вот первая фотография. Наклонено в шаловливой ужимке, в шаловливой улыбке лицо — личико! Сколько лет ей тут? Угадайка! Четырнадцать? Двадцать четыре? Если и 24, то ее 14 кроются здесь, скрылись годы назад, и кроются, и смеются, а годы мимо летят, юность бессмертна на земле, как вечность — над жизнью, юность — этот следующий за детством шаг, еще ничего не поняв, кроме счастья жить, — как тот жаворонок! Узкое ее личико, радующееся вашему взгляду, в него опустил свой...

А вот — позже — прибавилось лет — уже не личико, а лицо, и в красоте его черт, в замороженной гармонии глаз и губ, чуть, только чуть начинающих улыбаться — и замерших, потому что столько печали на свете, что это познание невозможно снести, и она этим делится с нами, она просит помощи, просит участия, — с ним, может быть, можно вынести жизнь?.. Это вопрос неявный, только начавшийся, завлекает неосознанно, в свою тень, в эту мглу спокойно и кротко, и тон властно раскрытых глаз, в них нет цвета — потому что все цвета в них рождали вопрос и в них же, не легши в слова, зазвучал ответ — всею собою она спрашивает и отвечает, веки чуть-чуть начали опускаться на горькую мглу задумчивости, дыханием

тронув ноздри, опустились на встречную тишину сомкнутых, тихо, губ, вопрошающих, зовущих, поверяющих и отпугивающих — сомнением... Какая мука в лице! Его обвили волосы, густотой прихотливо легких волн света, света и тени, и целый мир будто влажных, легких и сухих волн — и уже невозможно стерпеть это горестное великолепие, вы уже отданы ей — навсегда...

Это моя любимая фотография Анны. Какой высокий лоб у нее...

И вот третья: тут все просто: Анна стоит во весь рост своего стройного тела, в до полу ее обнявшем шелку. В опущенной руке букет — и смеется, безмятежно радуясь славе. Радует, делится радостью, благодарит и дарит...

— А вот это, — и подруга помедлила, — это последняя карточка. Тут она — знает, что будет с нею...

Гляжу — первая фотография — и последняя — где Анна не встанет. Села.

С надеждой — конечно. Она нам ее не споет. Она смотрит на нас прямо. Левая рука оперлась на ручку соломенного кресла, согнув кисть, пальцами касаясь, встречно, пальцев правой руки.

Полная мгла взгляда.

Будущего нет. Смерть подошла и ждет своего часа. В этом ее промедлении мука души и тела. Кто ей сейчас друг...

Я гляжу в ее взгляд, в который нельзя наглядеться, — и мне, как и ей, в безнадежности этой начинает прорываться надежда — на что-то. Как сказала, почти умирая, моя сестра Лера: “Я начинаю понимать: не может все так кончиться...” Умудренность предсмертья начинает проникать в немыслимость смерти и, ее телесно предчувствуя, принимая, духом ее отвергает. Отплывает в неведомость, с ней сродняется. Остановив свой взгляд на наших взглядах, перерастая нас, себя, все, она смотрит вверх. В то, что будет: будущему не быть — невозможно. Анна смотрит будущему — в глаза...

Эта моя любимая фотография...

И вот, после всего, у меня в руках пластинка Скарлатти в исполнении Анны Герман с надписью: “Дорогой Анастасии Ивановне с любовью — Анна”.

СКАЗКА О СКРИПАЧЕ ЯГЬЕ ЭФЕНДИ

Снова Отрадное... Из низкой двери маленькой теплицы, выбрав дыню, с ней подмышкой, со скрипкой и смычком в руках, высокий и как-то не по-мужски, а по-детски сложенный, желто-смуглый и черный, в низкой барашковой шапочке, сияя навстречу смеющимся черными глазками, выходит человек. Он — смотрит — молчит — улыбается.

В эту минуту, как нагретая стеклянная трубка, перегибается под углом вся жизнь.

Это вошло не страстью, конечно, и не любовью, ясно — чем-то гораздо более веселым и детским, без имени. Скрипач был совсем как дитя. Он любил больше всего свою скрипку и бился над вопросом новой и старой музыки. Его душа была неуловима, потому что заключена в его скрипке. Она пела из скрипки, и пела такое свое, простое и ни на кого не похожее, в ней отдыхалось от всех других душ, сложных, перепутанных, трудных — и эта душа пела о детстве маленького татарского Паганини, у кого, обратно жизни того, слепцы-родные отнимали скрипку, чтобы он обычным татаринном-хуторяном, женился бы на татарочке и имел бы много маленьких татарчат.

Ягья не хотел татарчат! Он не хотел — совсем не хотел жениться, он сам еще был — так недавно! мальчиком-татарчонком, с шести лет начавшим играть. Но этого не хотели родные. Ни мать, ни отец, ни братья, ни сестры, ни дед, ни даже бабушка, добрая бабушка... Один дядя, толстый и хитрый Курты, прищурился, стал слушать игру мальчика — и вдруг сделался ему другом и купил ему хорошую скрипку, стал увозить к себе — и у Ягьи стала новая жизнь... С победами, с радостями, с гармонией и мелодией, с контрапунктом, с прошлым татарской музыки, с будущим Ягьи. Но ему нужно опору! Может быть, он найдет где-то в большом мире — родную крепкую душу. Он не знает людей, он так мало их видел, у него, кроме дяди Курты, не было друга, он еще никогда не полюбил даже ни

одну девушку, девушки не понимают музыки, они могут только под музыку танцевать, и то не всегда в ритм! Он сделает революцию в музыке!

Ягья опрокидывает старые каноны и создает новые, он победит или умрет, и ему ничего не надо, только “родная душа”!

В этот величавый и жалобный бред, в его — *как он играет ее!* — Хайтарму — Ника вступает твердым и радостным шагом и пылким (оно еще живо?) сердцем. Они уже неразлучны.

Улыбается матерински Анна. Пристально смотрит Андрей, чуть сузив глаза, потом закидывает знакомым движением голову, схватись ладонью за лоб, и такое опьянение горечью в его сжатой челюсти, в миг закрытых глазах.

Но Ника уже в другом кругу, в огромном кругу свободы, куда он ей открыл дверь... Она там *нужна!* Нота откликнулась камертону... Выпустили птицу — летит...

Еще только Ягья увидал, как она хороша, еще только *начали* его чаровать ее речи, а уж Ника видит, как в глухой татарской деревне она с ним в сакле, объясняя его сумасшедшим родным, что играть на скрипке — не грех, что грех — не играть на скрипке с таким даром, Аллахом данным, как у Ягьи!

А затем вместе, всем домом, сев на мажаре, провалясь в свежее сено, едут они по всем хуторам окрестности (это не во сне — наяву... И скрипка и смычок с ними!) Анне захотелось узнать окрестных людей. Андрей, Анна, муж ее — “Дон Педро”, Людвиг, Ягья, Сусанна и Ника ночуют в большом чужом доме: Анна с Андреем в одной комнате, а рядом Ягья Эфенди, а дальше Сусанна и Таня. А Ника — да она не ночует вовсе, она уже трое суток не спит! Она пишет о Ягье и читает ему, он дивится, радуется — не она попала в татарскую сказку, это он попал во что-то огромное, без названья, об этом можно только сыграть, он сыграет, о, он играет! И все услышат про Нику — и русские и татары, это будет революция в музыке!.. И он играет везде, куда они приезжают, и татары слушают, качая головами в барашковых шапках, а русские говорят непонятные слова о нем и его скрипке, но они тоже радуются!..

Они едут дальше (как ездили в “Мертвых душах”). Людвиг неверно указал дорогу — и все (ночью!) летят с мажары, которая наклонилась, как корзина, и все — кто под мостик в маленькую речку, кто на землю — смех, крики, черная сажа вокруг — (это по-английски так зовется черная ночь без луны!).

Ника, уцепясь, усидела, схватила вожжи, и, подражая Андрею, натягивает изо всех сил их, но лошади испугались, она несется с ними во тьму — и кричит... Но уж Андрей вскочил на мажару, выхватил вожжи и, рывком прислонив к себе Нику, мастерским движением останавливает коней — а сзади бегут, кричат, веселятся...

— Никогда не забуду, как раз в Старом Крыму, — кричит Андрей, — нас в тумане понес с Никой Конь! Я смирял его, а он все несся, а впереди был столб! Мы неслись *на него*. Ника (я схватил ее за *руку*) — мне сказала очень обыкновенным голосом: “Ничего, он же остановится, он же *устанет*...” Ох, Ника!..

Ягья слушал с ребяческим восхищением (но чье восхищенье звучало Нике — пусть скажет сама...)

..Жара, миражи, татарский праздник, Кайрам Байрам, дом Курты.

Матрацы, покрытые коврами, стены в цветных тканях, гости возлежат, как в Шахерезаде, блюда с виноградом, кувшины с напитками — кто не хочет вина.

Пляска с ножом, пляска с бубном, девушки с девушками, и все как-то в профиль, движенья тихие, как оживший барельеф (думает Ника).

Словив ее мысль, Анна:

— Как на египетских барельефах, правда?

— Я непременно это напишу! — восклицает Андрей, не отрывая глаз от танцующей татарской девочки, он знает ее: сестричка Ягьи, Зарэ. Она *для него* танцует! В этом танце это очень трудно, но она *ухитряется* не сводить с него глаз!

Маленькая, в косичках, в монистах, крашенные ногти, рыжие сверкают, как коготки птички! И вместе с ней — Фатма, выше, стройней, личико уже, он уж на нее перевел взгляд — тотчас уследив это, Зарэ загорелась, как бабочка в луче солнца — запорхала, *затмевая* Фатму!

А зурна звенит тихим, звенящим гудком, рвет души на части! Вторящий ей давл, инструмент из натянутого пузыря овечьего, спорит со скрипкой, а скрипка — нет, уж про скрипку не рассказать!

Дядя Курты счастлив. Ковры уставлены блюдами: дыни, брынза, шашлык, чебуреки, барашек... Так гуляют три дня.

На коврах между кофейников медных с длинными ручками, в маленьких чашечках кофе татарский: с гущей.

...Дальше! Степь, жара. Чужой дом, “экономия” чья-то. Люди, яства, стихи, Хайтарма, “Татарин плачет на могиле матери” (последнее сочинение Ягьи). Ника пламенеет к его музыке почти страстью, удержанной и осмеянной ею же, пока Ягья еще только раскачивается увидеть о ней — первый сон...

Коктебель близится. Увидеть Макса — как напиться в жару из источника! Друг еще девичества ее, какой друг! Он держал ее головой о свое плечо, когда умирал ее маленький сын, он — все знает! Одинокое дерево треплется в ветре на самом краю землю...

И человек играет на скрипке.

На следующую ночь они опять в новом месте. Этот вечер они провели вдвоем — все ушли бродить по огромному саду, а Ягья остался играть.

Он восхищался своей спутницей, как музыкальным произведением, но — как сам он сказал про слушавших его симфонию о татарине на могиле матери, что только очень красивые звуки им кажутся, симфонию — не понимают! (Но сам в Нике не понимал ничего. И это его, по-своему, мучало).

— Бы так умны, что ни в одном мужчине я не встречал такого ума. Я только встречал в книгах. Вы все видите, как сквозь человека. Я ничего не говорил про себя, а вы мне всю мою жизнь рассказали... И про музыку все поняли, про струны скрипки, а ведь Вы не учились на скрипке, только на рояле учились...

— Я колдунья, Эфенди, — отвечала Ника, улыбаясь, как ребенку, — я напишу сказку про молодую колдунью Зарэ и про старую — Азиаде, да? И в сказке будут решать, кто сильней из них...

— Молодая! — сказал Ягья, и в веселой нежности он бросается обнять ее, но она отклоняется, и, склонив его голову властно, как старшая, и — чтоб губы его не нашли ее — целует его в лоб.

— Слышите, как море шумит? Идите спать, Эфенди, детям пора спать...

Он играет и слушает, как играет, и слушает какие-то новые звуки, а она довыдумывает его подарок — татарскую легенду о богатыре Тангрыг-Арслане и о Злодее Тэнджале, который явится при конце мира — “и он будет великий музыкант, Тэнджал, но только тогда будет все поздно, и музыка тоже будет стоять перед Аллахом — так говорила моя бабушка, которая не хотела, чтобы я играл...”.

И так как вся эта полудетская блажь ее — по-своему глубокая и святая — тоже просится в сказку, то Ника приоткрывает ей дверь, и Ягья (уже впрыгнув в нее несколько дней назад) творит в ней все новые и новые чудеса на скрипке, беспечный, смешной, упрямый. Он не умеет говорить — только смычком. Он отрицает все старое... Зарэ, чье имя должны отгадать женихи, сидит в сказке на кровле, и так как Ника (а значит, и Зарэ), тоже новаторы, то татарская сказка пересыпана искрами английского юмора, и о сказке, в ней же, ведут разговор два читателя, а Зарэ смеется над ними, а Тангрыг-Арслан едет высоко в небо, у него черный, сказочный конь, только этому всаднику он покорен... А слоны с дарами, непринятыми, уходят обратно в свои страны, и потухают бархатной пылью — о самый край горизонта...

— По-моему, это очень красиво! — пробегает по струнам смычок. И вместо: “Идите спать, Эфенди” — Зарэ говорит другое: “Не уходи, Эфенди...” (что значит: “Не уходи, господин...”).

Ночь. Ничего не надо, луна! — говорит автор сказки. — Мне не надо живых людей! Сколько их было, и они все прошли, как сны! Я буду писать сказки о них! В сказке Зарэ любила Эфенди, а наяву никто никого не любит, и мы с ним тоже не любим друг друга, мы просто любим любовь.

Ягья сказал:

— Ваши европейские женщины часто берут на два, на три дня в мужья наших проводников-татар! — (он не знал, что это его “горькое”, горячее уверенное “давно уж”, как сказал Борис Пастернак, “висит на стене Третьяковской галереи”, для Ягьи все — в первый раз!)

Она ему про это сказала:

— “Ваши” женщины? Это не мои женщины, Эфенди, они — глупые! Разве *это* человеку надо?

Он понял:

— Нет, не это! Это я знаю! Надо, чтоб в сердце играла музыка!

“Это висит, — думает Ника с улыбкой, — в Третьяковской галерее на *соседней* стене...”

Ника смеялась, ей казалось, она отдыхает. Как трогательно он это сказал — и какая простая в его сердце, верно, играет музыка — она бы *могла* такое сыграть на его скрипичных струнах! А Ягья (тот, в сказке), досказав свои смешные слова о сердце, вдруг стал совершенно серьезен, его брови нахмурились, глаза из золотых стали — черные, вдруг обозначилась его квадратная азиатская челюсть — и он заиграл Хайтарму...”

Сказка была — кончена?

* * *

В закатный час скользнула она через порог низенькой сакли, по-татарски убранной. Жили там Ягья и его брат. С нею была Таня. Братья встретили их неожиданный приход — восхищенно, позвали двоюродную сестру Зарэ и Фатиму.

Вино развеселило всех. Ника пила много. Вскоре Таня встала, обещав идти по делу куда-то с матерью. Ника пошла проводить ее. Над морем длинным блеском, разрезая его тихую синеву, стояла луна.

Ника вернулась назад. Не помнила, как ушли девушки, куда исчез брат. Они остались вдвоем с Ягьей. Но запомнила, как над ковром, где они по-татарски полулежали, свешивался со стены широкий золотой шелковый пояс, как полыхала свеча, и как при свете свечи она прочла ему все, что о нем написала. После чудесного описания наружности, слов, поведения — в неслышанной им рамке ее прозренья в него, в его музыку, в его музыкальную судьбу. Это бросилось ему в голову сильнее, чем выпитое вино, вино люди пьют постепенно, а Это... В томленьи он потянулся к ней, но он знал, что она ускользнет, рассмеется... Подчиняясь ей, музыкально, он рассмеялся сам, а свеча, догорев, гасла, и, вдруг склонив голову, умерла. Но во мгле, волшебной окутавшей ковры, окно, пояс, их, стал быстро рождаться рассвет. Он был совершенно зеленый.

Они вышли из дому как брат и сестра, незаметно прожив вместе ночь, солнце вставало над морем.

Они за руку взбежали на крутой холм. Высоко над морем!

— Око муаровое, видите? — сказала Ника, — “муар” — эта такая материя, переливами, узором, как хвост павлина.

Он не слушал. Он не понимал. Он смотрел на нее и потом на разводы, серебряно-синие, бледно-розовые, облака под светлым жаром солнца, и снова смотрел на нее.

Он еще не знал, что на свете так бывает, такое, он сейчас будет играть новое, совсем *новое*, он уже чувствует — оно пришло!

Если бы кто-нибудь посмел сказать про русскую молодую женщину, которая у него ночевала, что она сама принесла сладости и вино и читала ему — такое! если бы кто-нибудь осмелился ему — *он* — он...

Когда заиграла где-то музыка и это зачем-то был вальс — она встала, пошла прочь от звуков, этот вальс звучал — игла по черной пластине — когда Андрей приходил к ней на горку, они слушали молча, друг друга пронизывая взглядом. Куда это все ушло?..

Ко дню рождения Ники в дом съехались гости. Андрей украсил дом осенними цветами — золото-зелень-пурпур. Сад предложил Нике, третий год его посещавшей, — дары.

Цвели стихи — лица — смех, вино в стаканах, остроумие на губах, горели, как в Анин день, костры, иллюминация удалась даже лучше! А когда все утихло, гости — кто разъехались, кто — уснули, Ника, с сердцебиением войдя к Андрею и Анне, сказала им, что завтра она уезжает из Отрадного — так надо — время пришло.

— Не отговаривайте, *не* отговорите! Я много месяцев была у всех вас на поводу, мне было *трудно* здесь, я хочу в мой родной Коктебель, к Максусу, к морю, к Алеше, в мое прошлое, в мое будущее. Я буду у Вас под рукой и по первому требованию, если я буду нужна, *вернусь*. Но не уговаривайте меня, я — уеду, вам надо остаться вдвоем, и мне *надо* остаться *одной*!

Что началось! Они оба бросились в бой, но она не уступала. И к утру победа все-таки осталась за ней. Но она почти обессилила за эту ночь.

— Позовите меня — я вернусь. Но дайте мне одно обещание: ПЕРЕД тем, как послать за мной, — *пожалейте* меня... И если уж *тогда* нельзя будет не звать — я приеду!

Она бросилась укладывать вещи. Побарывая лихорадку отъезда, Таня помогла ей. Она выехала, как и сказала, 15 сентября в жаркий час (что-то помешало выехать утром), и с нею вместе из Отрадного выехала, не захотев остаться, протестом против Андрея Павловича за нее, — Таня.

Все вышли проводить ее по главной аллее: друзья и слуги и серебрившиеся по горизонту миражи, и собаки еще долго слышались, пока не угасло миражом Отрадное.

Андрей ехал с ней до Старого Крыма. Анна осталась. Лошади бежали по белой дороге, увозя мешки белой муки, картофеля, всякой снеди. Ника взяла денег. Когда кончатся, даст знать. Андрей даст еще.

— Не дам знать... молчала и улыбалась Ника.

В Старом Крыму Таня рассталась с ними, поехала в Феодосию, к матери. Из богатства — в бедность. По велению сердца! Да благословит судьба Никину дочку! за этот отъезд!

Даже теперь, через почти два десятилетия, у Ники не подымалась рука написать ее расставание с Андреем. Пусть оно так там и останется под упавшим занавесом, — за ним.

Шум моря утихал в согласии с таянием очерка гор. Коктебель остался позади, как мираж...

Полулежа на сене мажары, глядя на мальчишеское лицо дремлющего Ягьи, она думала о том, что у всех ли “оттачиваются” чувства одно об другое (из чувств вторичных, но все поглощающих) или это только у нее, в ее, оставленной любимым, ищущей забвения опустошенной душе?

А над степью начинается вечер, терпко пахнет полынью и еще какими-то травами, что-то тихо стрекочет в траве, цикад уже нет, что-то другое, легонький трезвон! Первые звезды...

Эфенди спал, и над его сном, забыв о нем, глядя в смеркающееся небо, Ника думала о человеке с лицом Паганини (но нежнее, светлее, моложе), которому давно наскучило влачить с собой свое превосходство, как спадающий с плеча плащ. От облика этого человека в нее канул опаляющий уголек. Да, он еще напоминает того, из немецкой сказки, кто увел крыс из Гаммельна пеньем волшебной дудочки, а затем, за невыполненное обещание увел дудочкой всех гаммельнских детей...

* * *

Подъезжая к ночи к Коктебелю, самозащитой, может быть, чтобы не думать об Андрее, она вспомнила свое прощание на Феодосийском вокзале с Эфенди — он хотел через неделю приехать в Отрадное — приедет, бедняжка! милый ребенок... а ее уже там — нет...

В поезде, которым она тогда, перед днем рождения возвращалась к Андрею, не было мест, и народ садился на крыши вагонов. Ягья ее провожал. Посадили и Нику. Разместились даже уютно, полулежа. Были какие-то загородки, низенькие, у края, позволявшие не бояться упасть.

Стоя внизу на чем-то, облокотясь на край крыши, на которой, как Зарэ на кровле в ее сказке, лежала Ника, Ягья говорил с ней.

Она, уже решившая свое будущее, как бы в шутку спросила его, что было бы с ним, если б она вдруг исчезла из его жизни, то есть, как бы он ее помнил — как кого, как что?

— Я *не могу* себе этого представить, — отвечал Ягья, — этого не может быть! Но *если б* это случилось, мне показалось бы, что как бывает буря промчится, так *это* надо мной пронеслось... Но Вы должны обещать мне, что Вы не исчезнете, что если куда-нибудь решитесь уехать, — Вы все можете сделать, я знаю, то Вы мне напишите, что не забыли меня, что хотите меня видеть — и я к Вам приеду!

Потому что если не приеду, если не позовете... Я не глупый, не думайте, я знаю, что я не то для Вас, что Вы для меня, я знаю...

Поезд трогался. Она приподнялась, он схватил ее в объятия, и она смеялась, по-матерински поцеловала его — он не умел целоваться. Но этот первый спешный поцелуй своей освобождающейся жизни она приняла как символ своей горькой свободы.

ОБ ЭСТОНСКОМ ХУДОЖНИКЕ ОЛАВЕ МАРАНЕ

Знаю этого художника и человека много лет и давно хочу сказать о нем свое слово — выразить то, что давно уже звучит во мне. Что я прежде всего могу сказать об Олаве Маране? Совершенно простую вещь: что он, как никто из всех, кого я видела в моей долгой жизни (а мне уже 95 лет, и я была в картинных галереях Германии, Франции и Италии), утверждает и освящает то, что преданно следует за человеком по земле, то, что так часто отбрасывает от себя презрительным жестом средний человек (мня себя сверхчеловеком): быт нашей жизни, служащий нам в наших земных потребностях, помогая нам от себя отрываться — ввысь.

Выбираю слова: слово “старинное” о живописи Марана падает само собой (и это слово с улыбкой напоминает нам, что и оно могло зваться в свое время новаторством, а затем, как и человек, старея, отошло за предел возраста, стало в отношении сегодняшнего дня “старинным”). Тут нужны другие слова.

Быт в натюрмортах Марана перерос понятие старины и шагает тихим шагом к понятию вневременного, вечного — отсюда удивительный покой этих картин. И еще одно чувство в нас зарождается перед полотнами художника: одушевленность всего, что он пишет; священность, спущенная к нам в них, их первозданное дыхание, чистота первого дня сотворения мира. И тогда понимаем мы всю нищету, всю ошибочность термина “nature morte” — мертвая природа, ибо многое можно сказать об изображенном, вернее, воплощенном Олавом Мараном, вместо покоя мертвости — тут дышит именно жизнь, покой жизни в этой живой натуре.

Цветы Олава Марана. Его букеты! Трудно о них сказать... Как добивается он стереоскопичности этих волшебных букетов? Тайна художника. Мы стоим перед чудом: лепестки отделены друг от друга — воздухом; передние — словно совсем возле нас; задние отодвинуты осязательным пространством. И тени живут меж них. Взгляд прикован восхитившимся изумлением: миг — и лепестки встрепенутся!! Чувство, что каждый цветок — живой, что мы присутствуем при некоем чуде воплощения, и чувство это не покидает нас и после того, как насильно пришлось отвести глаза от картины: зовут, надо идти, но словно уже хлебнул живой воды и тебе легко, светло, празднично. И все еще видишь — оком памяти — тот луч солнца, что скользил где-то позади букета астр, лишь задев отдельные лепестки, ту тень, которая поглощала уходящие вбок стебли с драгоценной ношей этой густоты, этой легкости, неповторимых оттенков колорита, ту единственность зрелища, словно первое воспоминание детства, которое молча подарил художник. Он и сам будто нехотя сменяет свои “экспонаты”, ведь это страдание: оторваться от астр, перейти к тюльпанам, от тюльпанов к розам, оторваться от благоухания роз, розовых, бледно-янтарных, но уже пышные белые пионы берут нас в плен...

И вот натюрморт: темный фон, слева чуть светлей, чем справа. Над этим миром, этим спокойствием вековой домашности, озаренной светом, светло-желтый — жбан? ковш? белый внутри, чуть отступя, — медная ступка, двухручная, с пестиком, той же тусклой меди; возле нее пустая яичная скорлупа. Еще две скорлупки яичные, пустотой зияют кротко, выполнив свой яичный долг. В глубине — налитый водою графин, мягко блестящий, чуть отсвечивая желтизной жбана. Между предметов — тени, делающие все выпуклым. Тишина...

Как передал художник в своих натюрмортах удивительное чувство тишины?

И вот неожиданно оказались рядом на этом пути одушевления предметов быта и растений Олав Маран и сказочник Метерлинк. И вправду — разве не сказочен тихий дом на краю Таллина, где

живет творец этих картин? Разве не сказочна художница, жена его, Сильвия, из-под чьей руки выходят тончайшие графические листы, тонкопись украшенных, перерожденных букв?

Портрет Сильвии. Прозрачность, хрупкость, неизъяснимое очарование этого женского облика, густота волос, окутавших это лицо, улыбчивая серьезность взгляда глаз, одновременно темных и светлых... Рядом со статным, мужественным Олавом не могла встать иная, кроме Сильвии. И не мог защитить ее от всех трудностей жизни иной, кроме Олава. Да, библейский рассказ о том, как Бог создал подругу Адаму из его собственного ребра... Но, если Маран может быть сравнен с Адамом, ускользнула от сходства с Евой Сильвия, с Евой, увы, искусившейся... И вот на портрете воплощена Сильвия — и Сильвия, взглянув, говорит: “Жаль, что я не такая. Но я хотела бы такой быть!”

..А за окном дома художника о чем-то шепчут ветви: уходит в бесконечную высь береза и, прильнув к окну, видишь, что она обнимает небо, а гуща ветвей превосходит обычное дерево — береза ждет кисти живописца... Та Лазурь, в которой утонуло дерево Марана, которая небесным шатром зовет людей к миру, освящает их земной путь. До последнего дня маленькой вечности на земле человека, до Последнего Дня.

Ответ Сильвии о портрете доказал правоту Олава. Ту великую скромность, которая обитает в их доме, с которой едут его картины на выставку. С которой он, прочтя эти мои слова, улыбнется, не согласится с ними.

Морские пейзажи. Один из них висит в моей квартире: широкая полоса песка, водная бесконечность с тусклыми водорослями и узкая полоса серо-синеватого моря, у берега шумящего длинной волной; отчетлива черта горизонта, поднявшая над собой очень бледно-серое небо. Слышно, как звенит тишина. Глядя на эту картину, вспоминаю ту, далекую, первую встречу с морем Италии. Далеко и плоско, крошечно зажата между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевой узенькая полоска. Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина.

— Я могу писать природу только Эстонии, — сказал мне Маран на предложение поехать к другому, южному морю, попробовать себя на Коктебеле. — Я мог бы им любоваться. Но писать бы его я не мог... Писать надо не с любованием, а с любовью. А любить можно только родное, близкое.

И опять натюрморты, бессловесный разговор вещей. Хлеб и яйца. Маленькая тяжесть яиц ощущается как драгоценная полнота, ненарушенность, таинственная в природе цельность, через всю скромность их назначения. Низкая коричневая тяжелая миска рядом с мерцающей медью пирожницы с лунками для пирожков, зовущий к еде свежий срез рижского хлеба, Как свидетель всего этого — молчание высокого медного кувшина, может быть, страждущего по воде. И все эти светло- и темно-коричневые оттенки зажжены блеском белой эмалированной кружки. Ей откликается, как звук в оркестре, белая скатерть. Фон? Серо-голубоватый.

Амариллисы с серебряным сосудом. Что за грация! Это внезапный звук флейты. Яркий блеск серебристого стеклянного кувшина. Цветы, сходные с лилией, неожиданно алые; на каждом лепестке — белая полоса! И внизу — матовый блеск из серебра сделанной корзиночки для сахара.

А напоследок — *le comble du bonheur!* Сказала бы по-французски: верх счастья. Нежданность! Поглядите! Над крышами встала луна. Вплыла и — стала. Полнолуние. Золотое — неверно сказать, — рыжее, ибо тусклое. Но странно: снег на крышах не мерцает в его свете. Это не белизна, это почти синева... Почему синева, когда луна рыжая! Она стоит в небе выше своего отсвета, безучастно, беззвучно. Если в некоторых натюрмортах Марана был музыкальный отзвук — тут полнейший покой, тишина, с которой мир вещей, природа глядит на нас, беззвучно повествуя о чем-то самом важном в жизни.

ИРИНА БРЖЕСКАЯ

Ирину Владимировну Бржескую я знаю примерно 20 лет — и, бывая на ее выставках, я не могу нарадоваться росту ее работ. Мне хочется определить, что особенно ценно в ее сверкающем творчестве.

Задача трудная, ибо этого “особенно ценного” — много, а разнообразность ее таланта не умещается в даже обдуманном глубоко — определении. Но попробуем.

Начнем с того, что зримо каждому, — ее отношение с — светом. Улавливание и закрепление самых неожиданных, мгновенных, осужденных на трепет исчезновения, бросков освещения. В них, в этой тайне дыхания исчезающего луча, она рождает полупрофиль, лоб, пряди волос... И та вечность, на которую способно искусство, дарит, ответно, ей возвращенность на полотне, мгновения того, что художником властно схвачено, того, что хотело исчезнуть.

Но рядом со светом — его порождение: цвет. Как простым словом “богатство” назвать сложнейшее пылание красок, поражающее своей первородностью, смелостью сочетания с равным себе цветом, празднующим единственность рядом с другой единственностью.

Мастерская Ирины Бржеской была и есть — подобие родного мне дома. За огромным окном ее — Таллин, маленький средневековый город... Пути мастерства Ирины заслуженно подарили ей через перепаху непонимания, может быть — зависти, справедливость признания и, на эстонской земле, — прекрасную мастерскую ей, приезжей, привлечшей сердца к себе неотразимостью своего мощного и веселого дарования. Ирина берет в плен тем, что идет в плен — к натуре. Она загорается ею и, жадно впитав, дарит ее нам, увековечив сущность природы — на веки веков.

Ее картины — это дыхание жизни, фейерверком красок брошенное на полотно. Ее метод *al prima* кидает на палитру густые заросли масляных красок, застывающие, как лава на Геркулануме.

...“Стиль — это человек” — слова Стендаля. Кто возьмется оспорить их? Но вот из строгого слова “стиль”, как из коня Олега, медленно выползает змея: Стилизация...

Где укрыться ей в мастерской Бржеской, пылающей полотнами столь жаркими, как сон ребенка, чуть приоткрывшего рот?.. Как библейская старость “Старика со своею старухой” — (картина старухой переименована “Старуха со своим стариком”) — не вползти змее в зоркую сухость маленькой и уютной старушки, в печной хруст хвороста, в жар деловитости, весь век опекавшей высокого длиннородного моряка, по земле ходившего как младенец, бурей правившего, бредившего...

Еще: — Две светлоголовые девочки подружки — эстонки, обведенные у окна последним огнем заката — крупно и светло, одна пятнадцати лет и поменьше ее, бледней и худей — задумавшаяся, открыв глаза, — подружье четырнадцатилетие...

Выставка Бржеской положила недругов на лопатки — сокровенным пыланием душ, разных как и в первые дни сотворения — еще до грехопадения в раю, только там пылали так краски, змей еще прятался, не осмеливаясь искушать... Вот оно, нужное слово — ИСКУШЕННОСТЬ! — искушенность многих современных художников — отравленность, непылание тайной природы, смакование горбоносости, длиннолицисти, толстошеести — еще горбоносей, еще длиннолицей, еще толстошей — обострить, подчеркнуть — подтолкнуть к самому краю.

“Сходство!”, “Натура!”, “Сходство с натурой?” Идите к фотографу! Художник не следует “рабски за настроением природы”. “Так видит художник!”, “Художника нельзя учить!”, “Художник видит по-своему!”, “Художник создает стиль”...

Так выражено лукавое утверждение, что его опровергнуть нельзя. Но если взглянуть в туман сумерек — там таится и тлеет звезда сомнительной конфигурации: кривляясь, как демонята, рождается у матери стилизации младенец — карикатура...

А теперь откроем том Андерсена. Мальчик Кай любит девочку Герду, но его полюбила Снежная Королева... Сильно мела метель, и что-то попало з глаз Каю... Искорка зеркала демонского, кривляясь и кувыряясь, высывая языки, несли его демоны — в тучах, и от хохота, а как не хохотать, когда зеркало хохотало! — уронили его, хохоча, демонята, и, ударясь о землю, оно стало мириадами искр... И их понесло метелью.

Стало смешно Каю жить на земле, Герда стала смешная, все, искривясь, засверкало по-новому. Искривленно — по-новому!

По пути “нового” Кая и пошло течение живописи, противоположное живописи Божеской. В манере Бржеской отмечаем — прямо противоположное.

Вижу изумительный портрет. Певица Вивийка Вассар. Крупно. В черной мужской шляпе. В профиль. Все в тени. Свет — на тулье, по краю ее, по линии носа, подбородка.

Клубящаяся седина кудрей над плечом.

Жизнь в прошлом.

Зал, слушающий. Тишина замершего внимания. Ее воздух — успех. Голос, конечно, низкий. По неперенности успеха — знание себе цены. Горечь утрат (молодости, человека?). Многих утрат! От них рост самооценки (За всю жизнь, может быть, голову не осенило сомнением, только ли в этом — Жизнь человека?.. Невзирая на одиночество, могущее — научить...). Неисцелимое упоенье самосознания (могла бы быть героиней одной из новелл Андрэ Моруа). Веки опущены, на них — тень.

А рядом — женщина, молодая.

Прямо смотрят темно-карие, *мимо* Вас глаза. Широкие грубые черные брови; тяжелый подбородок оперся о нежданно — тонкую руку. Сжатые, тонкие пальчики служат как бы подставкой для головы. И, продолжая вниз, тонущий во тьме черного платья стебель руки в светлом меркнувшем рукаве. Чернота прямо пролившихся тяжелых волос сливается с черным платьем.

Дальше Ваше внимание целиком поглощается чередой портретов мужских. Они перемешаны с детскими и семейными, но я иду мимо них — к поразительному проникновению художницы в мир мужских душ, мужского интеллекта, мужского характера.

Мужественность — вот что, видимо, заняло дар воссоздания — художницы — череда этих мужских душ, брошенных на полотно, — это перлы. И со всей честностью, на которую способен писатель, я попытаюсь их описать, чтобы не только на полотне они жили, для увидевших — чтобы на страницах они остались — процвели.

Портрет скульптора Юхана Раудсепп (Автор знаменитой статуи на кладбище в Кясму. К ней — экскурсии: на могиле Сигне Тидмен, в 24 года умершей от туберкулеза. Красивая, веселая, скакавшая, помнится, верхом, одна дочь у родителей. Обнаженное тело сестры ее, склоненное над тишиной смерти, в протянутых руках — годы уже — держащая всегда свежие цветы. Целомудрие позы останавливает любование красотой). Портрет скульптора в рост. Ему 80 лет. Он сидит на теплогеленоватом фоне с просветами. В позе покоя, устало опершись левой рукой, согнутой в локте о что-то неясное, правую уронив на ручку кресла. Берет очки — их призрачный и воздушный блеск. Императивная усталость жеста диктует позе безразличие к впечатлению глядящего.

А на следующем простенке — он же на 10-летие позже. 90, мой возраст. По грудь. На холодном синеватом фоне, а впереди коричневый, теплый. Постарел. Исхудал. Горечь одиночества, смесь застенчивости и надменности. О если бы подойти с добрым словом — кто знает, не вспыхнула ли бы улыбка в ответ? Грация старости...

Но Ирина стоит рядом, рассказывает, что другой вариант портрета на сложном фоне с просветами — на холодно-зеленом фоне. Он же в рост, тоже в позе сидящего — у окна и за ним — башки Таллина...

Шаг — и на узком простенке — поясной портрет академика Спартака Баляева. Худое длинное лицо поднято, иронией превосходства пронизан даже блеск очков, чернота оправы, мотыльковая хрупкость стекол. Или это горе, что уже всему — поздно?

Поворачиваю и иду.

Композитор Виллем Рейнман. Блещущий тяжелый взгляд, усмешка самоутверждения через властную горечь и старость. Длинный нос благородного очертания. Тень улыбки над всей этой прожитой жизнью, ибо еще горит сердце... И не отвращается, взгляд великолепных еще карих глаз. Покой седины вокруг лба и бородки. Это, конечно, друг, жизнь поднявший на плечи. И не хочется отойти. Все на теплом коричневом фоне.

А рядом — тот же возраст, одно поколение и — несовпадающий лексикон. Вся невозможность общения. Левый полупрофиль — навстречу правому полупрофилю композитора, безволосая голова,

утяжеленный, выдвинутый низ лица, безбородая розовая нижняя челюсть, очень большой рот. Оратор? Нет, крупный физик. Академик. Писан на светлом фоне. Брезжится неудача судьбы — но верой в себя судьбу борящая привычка: не сдавать бой. И — контрастом со сдержанностью композитора — этот вот заговорит.

Но от всего виденного нас спасает отличная от всего тональность человеческой личности: Калью Кийск, народный артист Республики, кинорежиссер. На оранжевом оттенке фона, откинувшись, утверждая свои достижения, чуть презрительно смотрит на мир. Скрещенные пальцы крепко сцепленных на груди рук. Распахнутые створки блеклой рабочей куртки, под ней голубоватая блуза. Неинтерес к одежде — выше метим! Невосприятие споров: преисполненность верой в себя, в свой труд. И нацело — как волна на волну — смывает дотоле виденное — крупный портрет Яан Кросс — писатель, на холодном синем с зеленым фоне крупный портрет мощного, но мягкого человека. Правый профиль. Лицо жизнелюбца. Красавца. Волевого лица. Светом обведенный профиль. В почти улыбчивой властности выражения — сладость. Только так надо видеть мир! Остальное все — ошибается... В грации единения — победность. Половина лба, нос и щека — в тени. Свет озарил край лба, крутой подбородок (в нем усугубление сладости), сдержанный человек страстей, побед, опыта. Сластолюбие Благородством борет его. Глубоко! Таинственный блеск левого стекла очков, круто облитого светом. Под темным краем костюма побежалых тонов — жилет? Привычка к элегантной одежде, невосприимчивость ее. Любопытно, какие книги пишет этот писатель Яан Кросс...

Последний портрет зала (может от входа 1-й) — известный критик. Возраст? Еще молодой — уже старый? Говорят, прозвище — маг. Еще не тронутый старостью, тяжелый, жадный покоряющий и недобрый взгляд. Темный. И по темноте — блеск. Ноша страстей схороненных. Вынужденный покой. Земной, не духовный.

Тяжелый нос, чуть длинней нормы. Горбоносость, не резкая. Широкий невнятный лоб. Под полуседыми усами тьма верхней губы, неустойчивая алчность нижней. Седина бородки, обнятый подбородок. По черному широкому галстуку — две полосы острой белизны. Темное серебро (тьма) белоснежной сорочки погасает о мастерство кисти. Многомысленного смутного человека великолепный портрет. На светлом фоне.

Кончается 10-й листок записей о выставке Ирины Владимировны Бржеской. Я о многом ничего не сказала.

Говорят, в Таллине, где я ежегодно бываю, была выставка ее детских портретов. Жалею, что ее не застала: я бы написала о детях Ирины. О разных возрастах их и о разных их уровнях. О днях и ночах детских. О свете, играющем за их головами с улицы, из сада, по краю окна. О их ночном дыхании. О их спящих ртах. Нехотящих-никак просыпаться... Я навек запомнила свою вину перед правнучкой (спасая ее от прихода матери во время так нужного ребенку дневного сна — а уроки не начаты! Спасая от грозы материнской (вдруг раньше придет?!)) на Олю, — я резко с нее сорвала одеяло — а она на меня крепко обиделась, боролась за свой сон,,)

Но Ириных детей не будили, они были счастливы во сне. И по английской пословице: “Where is life there is hope” (“где жизнь — там надежда”) — я ведь могу дожить до следующей выставки Бржеской и еще, может быть, напишу.

Из-под желтого, наброшенного как маленький шатер, платка — на меня, уходящего посетителя, смотрит художник Ирина, уклонясь в желтоватую тень. В чертах ее, мужественных и женственных, — ожидание радостного ей восхищения — увиденным; слабость, вероятно, простительная! Особенно — если строже всего отнестись к автопортрету. Как же не en bean (приукрасила) она себя, написала — точно не в зеркало на себя глядела! До чего же en laid (лбезобразила). Только тут я вспомнила, что у входа висел другой автопортрет, мимо которого входившая посетительница, отвернувшись, сказала: — “Тьфу ты! Я же ее знаю — ничуть не похожа! Крыса какая-то, в лупу увеличенная!”

Рядом с тем в этом портрете — от солнечности платка — хоть какое-то благообразие...

Чуть нахмуренные брови, чуть улыбается рот, — и радуется она и смущается, — вся сложность противоборствующих чувств в этом лице...

19.XII. Николин день 1984 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания составлены И. С. Исаевой и Ст. Айдиняном при участии автора книги А. И. Цветаевой.

1. Мейн Александр Данилович (1836-1899) — дед сестер М. И. и А. И. Цветаевых по матери; крупный государственный чиновник.

2. Цветаева (урожд. Мейн) Мария Александровна (1868-1906).

3. Бернацкая Мария Лукинична (1868-1906) — бабушка сестер М. И. и А. И. Цветаевых по материнской линии.

4. Цветаев Иван Владимирович (1847-1913) — крупный русский ученый, филолог-классик, профессор Московского университета, основатель Музея изящных искусств им. императора Александра III (теперь Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

5. Герцык (Лубны-Герцык) Аделаида Казимировна (1874-1925) — русская поэтесса.

6. Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877-1932) — поэт, критик, художник, тепло откликнулся на первый сборник стихов М. Цветаевой, с тех пор ближайший друг обеих сестер.

7. Герцык (Лубны-Герцык) Евгения Казимировна (1878-1944) — переводчик, критик.

8. Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938) — поэт; дружил с сестрами, встречался с ними в Москве, в Крыму; гостил у них в Александрове в 1916 г.

9. Парнок София Яковлевна (1885-1933) — поэтесса.

10. Тараховская Елизавета Яковлевна (1895-1968) — детская писательница.

11. Чурилин Тихон Васильевич (1885-1946) — поэт.

12. Трухачев Андрей Борисович (род. 1912) — сын А. И. Цветаевой от первого брака; инженер-строитель. Арестован в один день с матерью в Тарусе в 1937 г., реабилитирован в 1972 г.

13. Эфрон Ариадна Сергеевна (1912-1975) — дочь М. И. Цветаевой, литератор, переводчик. Репрессирована в 1939 г., реабилитирована в 1955 г.

14. Ланн (наст. фам. Лозман) Евгений Львович (1896-1958) — поэт, прозаик, переводчик.

15. Минц Маврикий Александрович (1886-1917) — второй муж А. И. Цветаевой; инженер-химик и инженер-технолог.

16. Антокольский Павел Григорьевич (1896-1978) — поэт.

17. Завадский Юрий Александрович (1894-1977) — актер и режиссер.

18. Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967) — писатель, поэт, публицист.

19. Эфрон Сергей Яковлевич (1893-1941) — муж М. И. Цветаевой. Репрессирован в 1939 г., расстрелян в 1941 г.

20. Зубакин Борис Михайлович (1894-1941?) — поэт, импровизатор, мистик; друг и духовный наставник А. И. Цветаевой. По ее словам, сослан в Архангельск в 1937 г. и погиб в лагере.

21. Каган Софья Исааковна (род. 1902) — геолог, друг А. И. Цветаевой. В годы репрессий С. И. Каган переписывалась с А. И. Цветаевой. В 1959 г. пригласила ее приехать в Москву из Павлодара, где та жила у сына, и начать хлопоты о реабилитации после тюрьмы, лагеря, ссылки. В 1960 г. ездила вместе с А. И. Цветаевой в Елабугу разыскивать могилу М. И. Цветаевой. Каган Юдифь Матвеевна (род. 1924) — филолог, литератор, преподаватель, переводчик-латинист. Автор книги “И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность”. М., Наука, 1987, на которую отозвалась положительной, теплой рецензией А. И. Цветаева (см. очерк А. И. Цветаевой “Семья Каган”).

22. Дьяконова Галина Дмитриевна (1894-1976) — гимназическая подруга А. И. Цветаевой, переписывавшаяся с ней до конца своих дней.
23. Кукина Евгения Филипповна (род. 1898) — поэтесса, переводчица; друг А. И. Цветаевой с 1962 г.
24. Рукавишников Иван Сергеевич (1877-1930) — поэт, прозаик.
25. Цветаева Валерия Ивановна (1882-1966) — сводная сестра А. И. и М. И. Цветаевых, дочь И. В. Цветаева от первого брака; балетмейстер.
26. Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920) — отец первой жены И. В. Цветаева; историк, публицист.
27. Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — поэт; друг А. И. Цветаевой с 1923 г. С 1945 г. щедро помогал ей в ссылке.
28. Цветаев Андрей Иванович (1890-1933) — сводный брат сестер А. И. и М. И. Цветаевых, сын И. В. Цветаева от первого брака; юрист по образованию, работал экспертом по живописи.
29. Мещерская Надежда Александровна (1899-1966) — музыкант, друг А. И. Цветаевой и Б. М. Зубакина; мать мужа старшей внучки А. И. Цветаевой.
30. Романов Пантелеймон Сергеевич (1884-1938) — писатель.
31. Эртель Александр Иванович (1855-1908) — писатель демократического направления.
32. Цветкова Зоя Михайловна (1901-1981) — филолог, педагог-новатор; многолетний друг А. И. Цветаевой.
33. Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982) — писательница.
34. Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1938) — поэт; с 1922 г. — в эмиграции. Очень поддержал А. И. Цветаеву, когда в Коктебеле умирал ее младший сын Алеша.
35. Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888-1946) — писатель, литературовед, библиограф, переводчик. В юношеской книге А. И. Цветаевой “Дым, дым и дым” (1916) его имя скрыто под литерой “Т”. О нем также создано ею отдельное произведение «Об очерке моей сестры Марины “Жених”».
36. Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич, 1880-1934) — поэт, писатель, теоретик символизма, антропософ.
37. Каган Матвей Исаевич (1889-1937) — философ, последователь Марбургской школы неокантианства. Вернулся в Россию из Германии в 1918 г. Автор работ по философии истории, литературоведению (см. примеч. 21).
38. Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — философ, литератор. В 1921-1922 гг. был дружен с А. И. Цветаевой.
39. Фейнберг Илья Львович (1905-1979) — писатель, пушкинист.
40. Фейнберг-Самойлова Маэль Исаевна (род. 1925) — литературовед.
41. Волошина (урожд. Заболоцкая) Мария Степановна (1887-1976) — вторая жена М. А. Волошина, хозяйка Дома Поэта в Коктебеле.
42. Шадрин Алексей Матвеевич (1911-1972?) — переводчик, поэт.
43. Мейн Сусанна Давыдовна (?-1919) — вторая жена деда сестер Цветаевых А. Д. Мейна. В детстве они ее называли по-домашнему — “Тьо”.
44. Эфрон Елизавета Яковлевна (1885-1976) — сестра С. Я. Эфрона; режиссер Театра одного актера. По словам А. И. Цветаевой, “не побоявшаяся ежемесячно в течение десяти лет заключения посылать мне в лагерь посылки и деньги”.
45. Эфрон Вера Яковлевна (1888-1945) — сестра С. Я. и Е. Я. Эфрон; актриса.
46. Иловайская Варвара Дмитриевна (1859-1890) — первая жена И. В. Цветаева; дочь историка Д. И. Иловайского.
47. Нахман Магда Максимилиановна — художница.
48. Эфрон Георгий Сергеевич (1925-1944) — сын М. И. Цветаевой, по-домашнему Мур; погиб на фронте.
49. Шевелёв Леонид Федорович (1912-1936) — строитель; друг А. И. Цветаевой и духовный ученик Б. М. Зубакина.

50. Мещерская Н. А., в кругу друзей — Нэй (см. примеч. 29).
51. Трухачев Борис Сергеевич (1892-1919) — первый муж А. И. Цветаевой.
52. Кузнецова Мария Ивановна (литературный псевдоним Гринева, 1895-1966) — актриса Камерного театра, писательница.
53. Нилендер Владимир Оттонович (1883-1965) — поэт, переводчик с древних языков.
54. “Прометей” — драма Б. М. Зубакина, не опубликована, сохранилась в рукописи.
55. Карлейль Томас (1795-1881) — английский мыслитель, философ публицист. А. И. Цветаева создала на английской языке стихотворение-посвящение — “To Thomas Carlyle”.
56. Об одном из представителей семьи Горбовых см. предисловие, с. 6.
57. Цветаева (урожд. Пшицкая) Евгения Михайловна — жена А. И. Цветаева; агроном, библиограф.
58. Цветаева Инна Андреевна (1931-1985) — дочь А. И. Цветаева; агроном, канд. биологических наук.
59. Патти Аделина (1843-1919) — итальянская певица. В 1869-1877 гг. неоднократно бывала в России с концертами.
60. Лодий Зоя Петровна (1886-1975) — камерная певица.
61. Доливо-Соботницкий Анатолий Леонидович (1893-1965) — камерный певец, педагог, профессор Московской консерватории.
62. Кунин Иосиф Филиппович (род. 1904) — брат Е. Ф. Куниной, литератор, музыковед, издательский работник, литературный помощник А. И. Цветаевой при составлении первой авторской редакции ее воспоминаний о детстве и отрочестве.
63. Андерсон Мариан (род. 1902) — американская негритянская певица.
64. Сараджев Константин Константинович (1900-1942) — в семье и среди друзей “Котик”; московский звонарь, обладавший уникальным слухом, ясновидящий и яснослышающий. О нем — произведения А. И. Цветаевой “Сказ о звонаре московском” (1977) и “Мастер волшебного звона” (1986) в соавторстве с Н. К. Сараджевым, братом звонаря.
65. Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970) — пианистка, профессор Московской государственной консерватории.
66. Герман Анна (1936-1982) — польская эстрадная певица.
67. “Сказка о скрипаче Ягье Эфенди” — часть “Жизни Ники” из автобиографического романа А. И. Цветаевой “Амор”.
68. Бржеская Ирина Владимировна (1909-1990) — художница-портретистка, с 1952 г. жила в Эстонии. Автор нескольких портретов А. И. Цветаевой.



Мария Александровна Цветаева. 1903 г.



Иван Владимирович Цветаев.



Анастасия Цветаева с собакой Тюрком. Санкт-Блазиен, 1905 год.



Андрей Иванович Цветаев. 1909 г.



Валерия Ивановна Цветаева.



Анастасия Цветаева, Коктебель. 1911 год.



Борис Сергеевич Трухачев, 1911 год.



Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Свадебная фотография, 1912 год.



Комната Марины Цветаевой в Трехпрудном переулке.
Макет-реставрация Э.М.Борисовой.



Комната Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.
Макет-реставрация Э.М.Борисовой.



Марина и Анастасия Цветаевы с мужьями Сергеем
Эфроном и Маврикием Минцем и детьми Алей и
Андрюшей. Александров, 1916 г.



Анастасия Цветаева с сыном Андреем. Крым, 1919 г.



А.И. Цветаева с сыном А.Б.Трухачевым в своей квартире на Большой Спасской. 1979 г.



Евгения Казимировна и Аделаида Казимировна Герцык в доме Евгении Антоновны Герцык. Судак, 1904 г.



Максимилиан Александрович Волонин в своей мастерской. Коктебель, 1928 г.



Мария Степановна Волошина и Анастасия Ивановна Цветаева. Коктебель, 1967 г.



В день 85-летия М.С.Волошиной. В темных очках и с бородой — А.И. Цветаева. Коктебель.



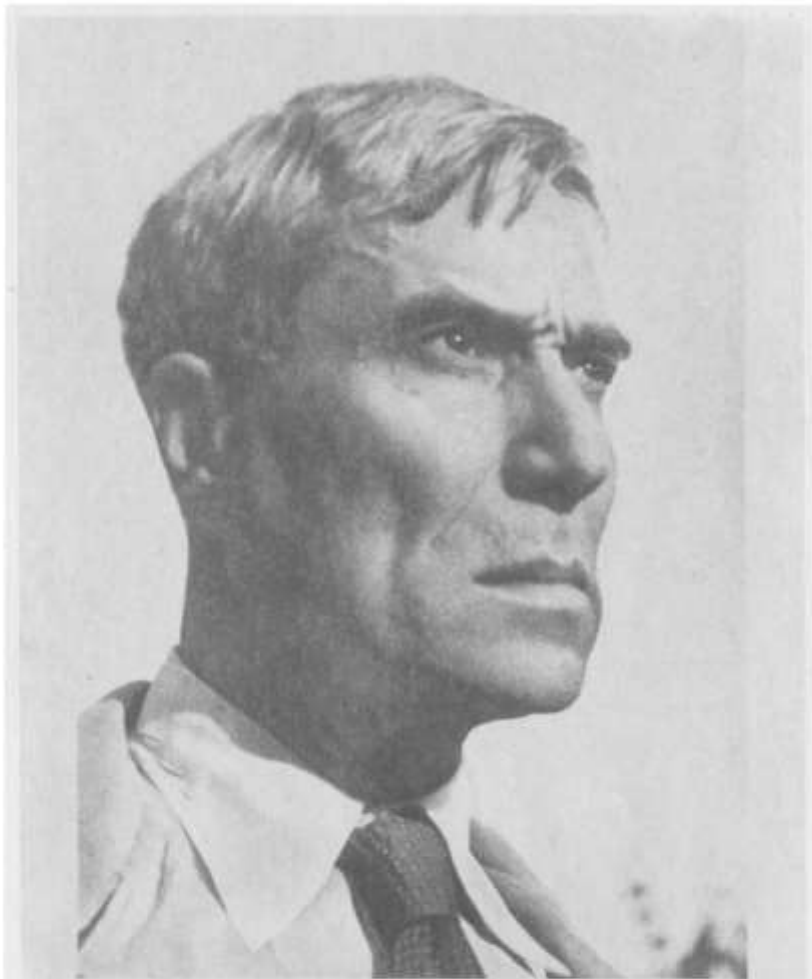
Мария Степановна Волошина у могилы Максимилиана Волошина. Коктебель, фото А.И. Цветаевой.



Дом Максимилиана Волошина в Коктебеле. Фото А.И. Цветаевой, 60-е годы.



Елизавета Яковлевна Эфрон.



Борисов Асе увелает на
памят о кеверомичи: о ча-
ше востро 29 мая, 1959 года, тече
бесконечной разлуки. БН.

Борис Леонидович Пастернак



Павел Григорьевич Антокольский



Пантелеймон Сергеевич Романов



Мариэтта Сергеевна Шагинян



Борис Михайлович Зубакин.



Леонид Федорович Шевелев.



Матвей Исаевич Каган.



Софья Исааковна Каган с дочерью Юдифью.



А.И. Цветаева, М.И. Фейнберг-Самойлова, Е.Ф. Кунина.



Аделина Патти.



Инна Андреевна Цветаева.



Ирина Бржеская



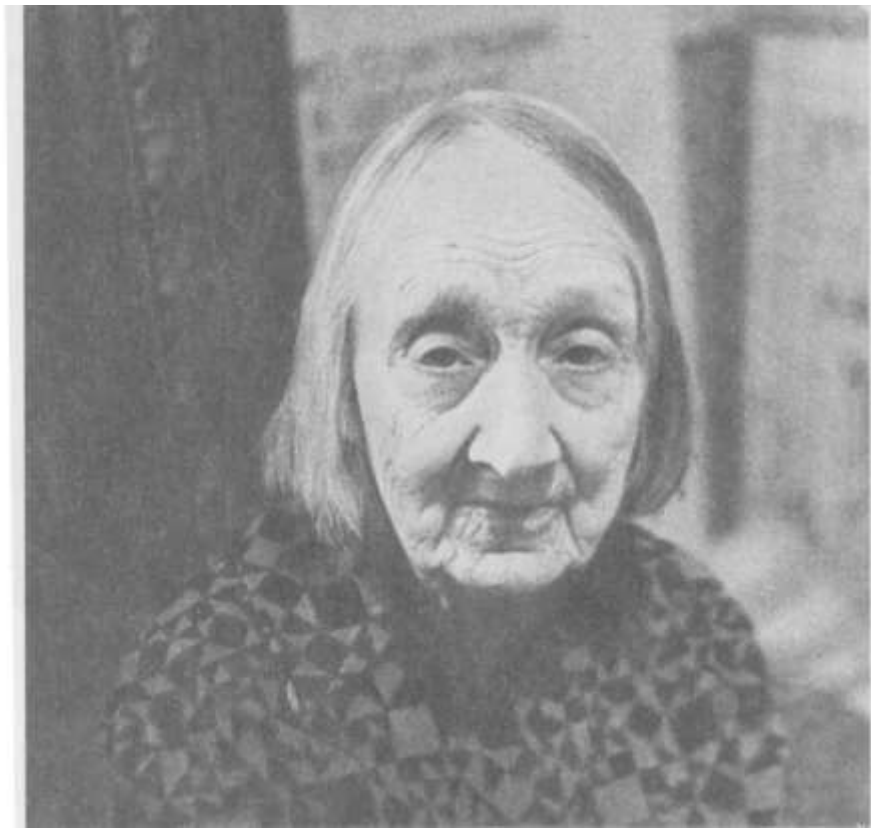
И.С.Исаева, Рина Зеленая, А.И. Цветаева.



А.И. Цветаева на Ваганьковском кладбище у могилы
А.Д.Мейна и М.А.Мейн.



А.И. Цветаева в своей квартире на Большой Спасской. 1989 г.



А. И. Цветаева, 1989 год.



Когда версталась книга, А.И. Цветаева стала лауреатом
Литературной премии Дворянского собрания Юга
Украины.

Литературно-художественное издание
Анастасия Ивановна Цветаева

НЕИСЧЕРПАЕМОЕ

Ответственный за выпуск Э. Г. Юрга
Редактор Э. Г. Юрга
Технический редактор В. В. Соколова
ИБ N 7

Подписано к печати 02.10.92.
Формат 60x84/16. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. псч. л. 20. Уел. кр.-отт. 18,85. Уч.-изд л. 18,6.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 7936. С 11.

Издательство „Отечество" 127238, Москва, 3-й Нижне-Лихоборский пр., д. 3.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ордена Трудового Красного Знамени
ПО „Детская книга" Мининформпечати РФ.
127018, Москва, Сушевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм „Целлофот"